

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Павел Уваров



МЕЖДУ «ЕЖАМИ»

И «ЛИСАМИ»

Заметки об историках

Научное приложение. Вып. СXXXIV

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Павел Уваров

МЕЖДУ «ЕЖАМИ» И «ЛИСАМИ»

Заметки об историках

Москва
Новое литературное обозрение
2015

УДК 930
ББК 63.0
У18

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. СXXXIV

Уваров, П.Ю.

У18 Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках / Павел Юрьевич Уваров. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 280 с.

ISBN 978-5-4448-0225-0

«Лис знает много, еж — одно, но важное» — это высказывание Архилоха сэр Исаяя Берлин успешно применил для классификации писателей и философов. Такое противопоставление стало популярно и у историков науки, и у теоретиков менеджмента. На «трудяг» и «креативщиков» можно разделить, наверное, любое профессиональное сообщество; однако создается впечатление, что особо применимы подобные этикетки к историкам. Но насколько взаимосвязанными оказываются эти группы? Как они относятся друг к другу? Как реализуются их характеристики в профессиональной деятельности историков? Предлагаемая книга представляет собой рассуждения вокруг этой темы.

УДК 930
ББК 63.0

© Уваров П.Ю. 2015

© ООО «Новое литературное обозрение». 2015

Hamaue

ПОПЫТКА ОБЪЯСНЕНИЯ

Я люблю называть себя «практикующим историком». Занимаясь вполне конкретными сюжетами, в основном связанными с историей Франции XVI века, я с известной иронией (хочется надеяться — добродушной) относился к профессиональным историографам и специалистам по методологии истории. Позволю себе процитировать мой же текст десятилетней давности; речь в нем шла о посвященных судьбам социальной истории работах, которые

«...в основном написаны “извне”: либо профессиональными знатоками историографии и методологии истории, либо историками, некогда практиковавшими на ниве эмпирических исследований, но затем с головой ушедшими в распутывание хитросплетений когнитивных наук, в бездны эпистемологии. В любом случае рассуждения — порой в высшей степени интересные и познавательные, — о природе исторического знания, о судьбах того или иного исторического направления, слишком быстро и слишком далеко отрываются от серых будней работы с конкретным эмпирическим материалом. Конечно, рефлексия по поводу особенностей работы историка вполне естественна и закономерна; она, как всякое самопознание, чрезвычайно привлекательна для всякого исследователя и весьма востребована обществом. Но определенная опасность состоит в том, что? раз вступив на этот путь, историки зачастую уже не возвращаются назад, к практике. Это явление англоязычная публика назвала бы *one way ticket*, а тюркоязычная — *барса-кельмес*. И дело, надеюсь, не только в видимых выгодах, сулимых на пути эпистемологических или историографических исследований, но и в “эффекте сороконожки”. Раз задумавшись над механизмами и правилами чужого, а тем более своего творчества, историк перестает работать с источником — подобно сороконожке, парализованной вопросом о том, что делает ее тридцать восемь ног, в тот момент, когда она шагает своей двенадцатой парой лап. Все это вполне оправданно, закономерно и вызывает уважение. Но вот только уводит размышления от эмпирической реальности источника

все дальше. Не потому ли в нашей стране, да и не только в ней, все меньше и меньше становится “практикующих” историков и все больше историографов, методологов и эпистемологов? Но если перспектива того, что число людей, изучающих историков, может значительно превысить число людей, изучающих историю, характерна лишь для некоторых областей исторического знания, то разрыв между историками-практиками и “эпистемологизирующими” историками представляется делом вполне реальным. Вторые образуют свою субкультуру, свой язык и свою ценностную иерархию и, занятые интенсивной полемикой друг с другом, не замечают того, что первые их в лучшем случае перестали понимать, а в худшем — понимать не желают. Причем оба семейства, похоже, вполне довольны такой ситуацией...»¹

Из этой длинной самоцитаты нетрудно догадаться, что мои симпатии были на стороне «практиков», к каковым я себя и причислил. Однако теперь, десять лет спустя, приходится признать, что многое изменилось. В архивах я появляюсь реже, труднее даются исследовательские тексты, зато накопилось немало статей, посвященных историкам и анализу историографической ситуации, рассуждениям о ремесле историка. Это происходит само собой: статьи для юбилейных сборников, некрологи, предисловия, интервью, тексты, адресованные широкой публике, — все это нарастает, как ракушки на днище корабля. И вот теперь их столько, что стоит задуматься, не приобрел ли я ненароком тот самый «билет в один конец»? Посмотрев свой индекс цитирования в базе РИНЦ, с удивлением обнаружил, что на мои статьи об историках набралось ссылок значительно больше, чем на «настоящие» исследования.

Что же касается «пресловутого» билета, то, думаю, что нет, не приобрел. Профессиональным историографом я не стал, и предлагаемые тексты не соответствуют критериям историографического исследования. Они не носят научно-аналитического характера, с трудом поддаются верификации и уж вовсе не претендуют на исчерпанность.

Решив собрать их воедино, я столкнулся с проблемой критериев отбора текстов. Понятно, что я не включил в список собственно исследовательские работы. Отложил до лучших времен

¹ Уваров П.Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. М.: Наука, 2004. С. 17—18.

и популярные статьи, посвященные конкретно-историческим сюжетам, а также главы из обобщающих исторических трудов, вроде «Всемирной истории».

Но отложил также и историографические обзоры специальных проблем (посвященные, например, современным трактовкам Варфоломеевской ночи, изучению французского дворянства, концепциям французских Религиозных войн), рецензии на монографии. Они написаны более или менее по правилам, оснащены сносками, все как полагается. Но, приведи я их, тогда и остальные статьи пришлось бы переделывать, придавая им более научный вид, ведь жанровое единство — великая вещь.

Речь идет именно о заметках историка об историках, некие наблюдения, сделанные «изнутри профессии». Так к ним и следует относиться.

Редактировались ли эти публикации? Не особенно радикально. Потому заранее прошу прощения за повторы. В некоторых случаях в этом нет ничего страшного, благо *repetitio est mater studiorum*. В других — за повторы приходится краснеть, ведь что может быть постыднее остроты, повторенной дважды? Но, убери я ее из второго текста, он — посыплется, его придется в лучшем случае сильно редактировать, а то и переписывать заново, а я твердо решил этого не делать.

Стоит помнить, что заметки написаны в разное время. Я не менял их. Порой прогнозы, сделанные в них, — не оправдались или же, напротив, оправдались в полной мере. Какие-то пассажи утратили остроту, контекст забылся и намеки стали непонятны, другие — что еще хуже — стали банальностью. В таких случаях я решил составлять концевые примечания и каждому тексту дать небольшую справку об обстоятельствах его публикации. Первоначально я даже думал пояснять непонятные слова. Но потом подумал, что сегодня, благодаря всезнающей «Википедии», каждый сам может посмотреть, что такое «Касталия», «аллод», или «Институт красной профессуры». Иначе — зачем было бы откликаться на просьбы Джимми Уэйлса о пожертвованиях?

АПОКАТАСТАСИС, ИЛИ ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ ИСТОРИКА

Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что, вот: ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский... Да если эдак и государю придется, то скажите и государю: в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Н.В. Гоголь. Ревизор

Всех людей можно разделить на две группы. Одним от слов, приведенных в эпиграфе, хочется плакать. Другие — или посмеются (комедия все-таки), или пожмут недоуменно плечами (комедия, а не смешно). Но почему же для Гоголя так важно, чтобы мы узнали об этих интенциях Бобчинского и, главное, — о нем самом, о пустом, в сущности, человеке?

Когда долго препарировать исторический источник (дневниковые записи, актовый материал, полиптики) и стараешься сделать его пригодным для сериальной истории, загоня сведения в графы таблиц, готовя их для банка данных, то сталкиваешься с нарастающим сопротивлением материала. И вдруг делаешь открытие, что перед тобой — живые люди, со своими судьбами, своими неповторимыми особенностями — добродетелями, пороками и маленькими недостатками. И тогда внезапно возникает удивительное и незабываемое ощущение первого живого контакта — перед тобой реальный человек, и сейчас произойдет что-то очень важное. Затем продолжаешь работу, и возникает множество проблем, связанных чаще всего с оценкой репрезентативности материала («Нет, вы скажите, а сколько процентов от этой выборки думали и поступали именно таким образом?»), с механизмами генерализации (как, перейдя к общему, сохранить и передать ценность уникального/частного и, с другой стороны, как из этой уникальности можно вообще извлечь что-либо общее?). Но за всеми хлопотами остается незабываемым изумление от первого контакта. И по здравому размышлению непонятно, чему удивляешься больше:

самому ли контакту или своей реакции на него. Ведь, в сущности, что здесь необычайного — разве историк не знал заранее, что за источником стоят конкретные люди?

Не осмелился бы делать предметом рефлексии свои эмоции, если бы опыт многолетнего общения с историками, составившими авторский контингент альманаха «Казус», не показал, что нечто подобное испытывают некоторые (однако далеко не все) из моих коллег. На заседаниях³ часто можно было услышать фразу: «Что может быть для человека интереснее, чем другой человек», или термин «Оживление бумажных человечков», или декларацию: «Моя задача — увидеть французов XVI века во плоти», а то и крик души одного из самых уважаемых наших участников: «Да вы что, не понимаете, что перед вами живые люди!» И в ответ на этот «оживительный пафос» — неизменный и резонный вопрос другой части участников: «А зачем?» Вытаскивать из небытия, материализовывать и сообщать Петербургу и миру о существовании в истории Петра Ивановича Бобчинского можно и даже должно (с этим теперь согласны почти все мои коллеги), но только если за этим стоит какая-то видимая исследовательская цель. Можно на его примере реконструировать тип мелкопоместного провинциального дворянина николаевской эпохи или можно порассуждать о норме и отклонении в поведении личности в ту же эпоху; на худой конец, включить полученные данные в обширное просопографическое исследование.

Но если же последующей генерализации не происходит, если усилия по реинкарнации Петра Ивановича являются самоцелью, если историк будет лишь набирать побольше информации о каждом встреченном им персонаже, то под угрозой оказывается сам метод микроисторического, да и всякого другого исторического исследования. Тогда лучшим образцом для историка может считаться телефонная книга.

И это разговор «среди своих». Когда же приходится выходить на более широкую аудиторию, пусть даже состоящую из коллег-историков, не вкусивших еще плода от древа микроистории, то здесь недоумения будет куда больше; и даже в альманахе «Казус» увидят в лучшем случае коммерческое предприятие, популяризацию, потакание вкусам толпы.

Возражать на это можно долго и со вкусом. Сослаться на сенсационный успех у публики «Песни о Волге» Резо Габриадзе: Сталинградская битва на фоне трагедии муравья, потерявшего

своего муравьенка в бомбежке!^b Указать на возрождение биографического жанра — как нового, обогащенного методологическими находками последних лет, так и вполне традиционного, проверенного веками. Напомнить о таинственном «мормонском проекте», о котором вполголоса судачат архивные работники во всем мире (зачем это предприимчивым американцам из штата Юта понадобились «мертвые души» наших предков?)^c. И наконец, сослаться на пространную библиографию всевозможных *Gechichte von unten, microstoria, personal history*. Последний ряд аргументов, как правило, оказывается решающим, ведь историографическая ситуация, историографическая мода — это то, что магически действовало на коллег еще в советские времена.

Итак, разочарование в глобалистских моделях, привлекательность «человеческого измерения», конец великих идей и идеологий, повлекший за собой неизбежное мелкотемье. Все это верно, но в данном случае недостаточно. Ведь «комплекс Бобчинского» (назовем так этот шок, вызванный осознанием, что перед тобой — живой человек, и рождающий стремление к максимально полному восстановлению этого человека) возникал и у меня, и у моих коллег независимо от знакомства с трудами Карло Гинзбурга и, возможно, был свойствен нашим предшественникам задолго до микроисторических парадигм.

Весьма поучительно обратиться к поискам, которые вел в этом направлении столь чтимый ныне Л.П. Карсавин. В монографии «Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках преимущественно в Италии» (1915) он декларирует свою задачу: «...выделить, а затем изучить объект религиозности в XII—XIII веках. Он останется в вере за вычетом ее окаменевших формул, с одной стороны, за вычетом результатов чисто богословской работы над нею, с другой... При этом изучению подлежит не религиозность того или иного представителя названной эпохи, великого или малого, а религиозность широких кругов, которая проявляется и в великих, и в малых»¹.

Это дало возможность говорить о его приоритете в изучении «ментальности»². Конечно, видеть в нем провозвестника шко-

¹ Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках преимущественно в Италии. СПб., 1915. С. 6.

² См., например: Ястребицкая А.Л. Историк-медиевист Лев Платонович Карсавин (1882—1952). М., 1991.

лы «Анналов» и соратника Марка Блока не более обоснованно, чем в случае с творчеством Эрнста Канторовича¹, — слишком различными были методологические и мировоззренческие установки. Однако ориентация на изучение коллективных религиозных представлений вполне очевидна. Этому же способствует введенное Карсавиным понятие «средний человек», перекликающееся с «идеальными типами» Вебера. Любопытный парафраз модному ныне «исключительному нормальному» можно найти в карсавинском понятии «типический человек». Сюда относятся выдающиеся личности, которые оказываются особо полезными и удобными для познания среднего. «В них та или иная черта достигает высшего напряжения и развития, а следовательно — и наглядности». Подобное замечание повторялось и повторяется сторонниками микроисторических подходов — но трудно не заметить, что и в данном случае Лев Платонович отнюдь не склонен увлекаться уникальностью чьей бы то ни было личности. У гения «есть и некоторые только ему присущие черты. Но такие черты нас не занимают и не входят в область нашего изучения»². И как бы ни оценивать взгляды и методы его в тот период, ему вполне можно переадресовать те упреки в обезличенности, которые бросают сейчас не только социальным историкам, но и историкам ментальностей.

Прошло всего пять лет (но каких лет!), и во «Введении в историю», являвшемся, по замыслу автора, руководством для начинающего историка, акценты уже расставлены иначе. Карсавин не отказывается от своих любимых детищ — от «среднего человека эпохи и типического человека», но они занимают в его новой системе положение явных аутсайдеров. О них упомянуто буквально на последних страницах этой брошюры и говорится вскользь, с глухой отсылкой к книге 1915 года.

Автора в первую очередь занимает мысль совсем иного рода: «История изучает единичный процесс развития во всей его конкретности и единичности не как экземпляр развития родового и не как родовой или общий процесс, проявляющийся в частных и являющийся для них “законом”... Объект исторического исследования всегда представляет собою некоторое органическое

¹ Эжле О.Г. Немцы не в ладу с современностью. «Император Фридрих II Эрнста Канторовича в политической полемике времен Веймарской республики // Одиссей, 1996. М., 1996. С. 212—235..

² Карсавин Л.П. Основы... С. 13.

единство как таковое, отличное от окружающего и в своеобразии своем незаменимое — неповторимо ценный момент развития»¹.

Иными словами, г-н Бобчинский мог бы быть ценен для Льва Платоновича сам по себе, а вовсе не как частный случай действия глобальных законов и не как объект для генерализации. Более того, начинающему историку так прямо и рекомендуется заняться изучением тайн его души в первую очередь: «...предметом истории является изучение социально-психического процесса. Понимание его, как и понимание чужой души возможно только путем сопереживания или вживания в них»². Вчувствование (*Einfuhlung*), сопереживание лежит в основе исторического мышления. Подкрепляя эту декларацию ссылками на мнение самоновейших по тем временам Зиммеля и Дильтея, Карсавин категорически не согласен с субъективизмом последнего. Субъективные переживания и самоощущение историка никоим образом не должны отвлекать от главного: «Речь идет не только и не столько о субъективном переживании исследователя, но о реальном проникновении в душевный процесс, подлинное слияние с ним, как бы ни называлось такое вживание в чужую индивидуальную или коллективную душу. Несомненно, что, изучая данный конкретный процесс, мы постигаем строение единого исторического процесса как единства. И постигаем не путем отвлечения от данной конкретности, а путем вживания в само это единство»³.

Как организовать это «вживание», можно только догадываться. Возможно, то была дань интуитивизму — ведь коллега Карсавина П.М. Бицилли записал его в заядлые сторонники Бергсона⁴. И действительно, интуиции историка Карсавин отводит большую роль. Но это не какое-то врожденное качество. Тем Лев Платонович и привлекателен для нас, что он не был чистым методологом или историософом. Проведя много времени в архивах, он понимал, что мастерство историка и его интуиция рождаются от того, что он уже «кончиками пальцев» знает материал, погружен в него. И подробные инструкции о том, как писать историю, ему, в сущности, не нужны. Отсюда его скептическое отношение к пу-

¹ Карсавин Л.П. Введение в историю (теория истории). Пг., 1920. С. 33—34

² Там же. С. 15.

³ Там же. С. 26.

⁴ Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки. Прага, 1925.

ризму «французских методологов, пытающихся спасти научность истории предъявлением ригористических и зачастую невыполнимых требований»¹.

Но для «вживания» в социально-психическое единство одного упорного труда и протертых в архивах брюк недостаточно — нужно еще некое озарение: «При понимании чужой душевной жизни как целого, при постижении чужой индивидуальности в ее единстве накопление наблюдений само по себе дает еще очень мало — можно знать о другом весьма большое количество фактов и все-таки его не понимать. Напротив, часто одна какая-нибудь черта, даже незначительная частность: тон голоса, движение, поворот головы и т.п. — позволяют сразу охватить и понять всю личность, всю индивидуальность этого человека, почти чудесным и неожиданным образом постичь необходимость его внутреннего развития, подлинно понять его. Такое понимание другой индивидуальности возможно и при малом с нею знакомстве, по “первому впечатлению”, но, как правило, оно появляется в процессе наблюдения, освещая и объединяя познание дробно и отрывочно...»²

Уверен, что многие из моих коллег с энтузиазмом согласятся с подобными наблюдениями. Причем Лев Платонович вполне осознанно балансирует на той грани, что отделяет историка от литератора. В 1920 году он опровергает Дильтея: «Конструирование иного душевного процесса по аналогии с моим и только из моего... сближает историю с поэзией, но не дает возможности серьезно отнестись к выводам истории и обосновать ее как науку»³. Но три года спустя, в фундаментальной и уже куда более сложной «Философии истории», он охотно делает шаг навстречу литературе, поясняя вводимое понятие «момента всеединства»: «Хорошим и вдумчивым художникам-романистам, историкам и даже читателям написанных теми и другими произведений не трудно пояснить взаимоотношение моментов во всеединстве — мы познаем человека не путем простого собирания сведений и наблюдений о нем: подобное собирание, само по себе, совершенно бесполезно, или полезно лишь как средство сосредоточиться на человеке. Во время этого собирания, а часто и при первом знакомстве “с первого

¹ Он ссылался при этом на перевод широкоизвестной книги: *Ланглуа Ш., Сеньобос Э.* Введение в изучение истории. СПб., 1899.

² *Карсавин Л.П.* Введение в историю... С. 25.

³ Там же. С. 16.

взгляда” мы вдруг, внезапно и неожиданно постигаем своеобразное существо человека, его личность. Мы заметили только эту его позу, эту его фразу и в них, в позе или фразе, сразу схватили то, чего не могли уловить в многочисленных прежних наблюдениях, если таковые у нас были. И не случайно любовь, которая есть вместе с тем и высшая форма познания, возникает внезапно. Определить, передать словами схваченное нами “нечто” мы не в силах»¹.

Разрыв, который наметился между ним и сообществом коллег-историков уже в 1915 году, стал, таким образом, необратимым. Признаться в том, что историк должен полюбить объект своего исследования, чтобы понять его, — такие откровения не прощаются учеными².

Но, рассорившись со всеми (и с нахрапистыми марксистами, и с чопорной петербургской профессурой), автор, наделенный от природы едким критическим умом, по-прежнему снисходителен к бывшим коллегам. Декларируя необходимость методологии, системы четких исторических понятий, он признает, что у большинства историков (и блестящих историков) нет не только системы понятий, но и системы мировоззрения, но это им нисколько не мешает. Ведь историк довольствуется интуицией, называя ее чутьем, «девиацией»³.

Упорное нежелание историков определять исследуемую историческую индивидуальность, будь то «французский крестьянин», «немецкий народ» или «Япония», «может побудить теоретика истории к весьма решительному шагу. Он скажет, что история не должна считаться наукою, а если хочет быть ею — должна усовершенствовать свой метод. Он, может быть — теоретики вообще отличаются категоричностью и смелостью своих действий — выдумает новую науку... Историки же теоретика и слушать не станут, а будут продолжать свое дело»⁴. И такую беззаботность Карсавин не осуждает, поступая с собратьями куда великодушнее, чем его современник (и во многом единомышленник) Коллингвуд, настаивавший на том, что всякий историк должен быть еще и хорошим философом⁵.

¹ Карсавин Л.П. *Философия истории*. СПб., 1993. С. 65.

² Так, археологи, за редчайшим исключением, никогда не признаются в своих монографиях в том, что они очень любят ездить в экспедиции.

³ Карсавин Л.П. *Введение в историю*... С. 29.

⁴ Карсавин Л.П. *Философия истории*. С. 115—116.

⁵ Киссель М.А. Р.Дж. Коллингвуд — историк и философ // *Коллингвуд Р.Дж. Идея истории*. М., 1980. С. 424.

Пока все сказанное, как представляется, вполне понятно читателям, близким к «Казусу», где мы обсуждаем примерно те же проблемы. Но что же все-таки произошло между 1915 и 1920 годами: почему Лев Платонович вдруг уверовал в приоритеты изучения неповторимой индивидуальности; почему он отныне не боится того, что история рассыплется на мозаику несвязанных фактов и фактиков; почему он, знаток средневековой философии, не опасается теперь номиналистического искуса? Дело в том, что в этот период ему открылось величие идеи Абсолюта как всеединства: «Чтобы могли существовать развитие и наука о нем, субъект развития должен быть всевременным и всепространственным единством. Единство субъекта должно совмещаться с многообразием его проявлений, быть многоединством... Мы познаем и всеобщую значимость данного процесса, не в смысле причинной его связанности с другими, а в смысле укорененности его в общеисторическом»¹. Поэтому индивидуальность — личная или коллективная — является лишь моментом всеединства. Но это не мало, это придает любому объекту огромную ценность. «В истории всякое, даже самое частное исследование взаимоотношений между несколькими рукописями одного источника само собою будет исследованием общеисторического характера и возможно только на почве его связи с познанием целокупности социального развития»².

Достаточно подняться до осознания этого всеединства, и историк освобождается от груза неразрешимых ранее проблем, снимая противоречия общего и частного, объективного и субъективного. «Через постижение самого частного и ограниченного процесса происходит приобщение наше к нему и в нем к единому общеисторическому процессу развития или, вернее, опознание нами нашего с ним и в нем единства. Этою живою связью нашей со всем прошлым и со всем социально-психическим развитием и объясняются обогащение нашего сознания в исторической работе и тот интерес, с каким мы относимся к фактам минувшего»³.

Не знаю, как моих коллег, но меня, например, все это вполне устраивает. Да и путь к постижению этой истины вполне понятен и достоин уважения. Творческая работа в архивах вызывает у молодого исследователя неудовлетворенность господствующими

¹ Карсавин Л.П. Введение в историю... С. 10.

² Там же. С. 26.

³ Там же.

позитивистскими и нарождающимися неопозитивистскими интерпретационными моделями. Предвосхитив интерес к ментальности и к «исключительному нормальному», русский историк на этом не останавливается, но в годы социальных катаклизмов и личных испытаний продолжает гносеологические искания и обосновывает собственную метафизическую систему, основываясь на традициях неоплатонизма и на средневековом философском наследии (в особенности на учении Николая Кузанского об «exglomeratio et conglomeratio centri», о свертывании и развертывании Абсолюта как Всеединства). Лежащее в основе системы Карсавина онтологическое отношение Бога и человека дает возможность обосновать исключительную ценность индивидуального для понимания органического единства исторического развития.

Какая величественная исследовательская перспектива! Историк может, отбросив всякие сомнения, заняться казусами, персоналиями и придать наконец фигуре Петра Ивановича Бобчинского подобающие ей космические масштабы в качестве момента стяженного всеединства; и теперь профессиональное мастерство заключается в том, чтобы показать укорененность его в эпохе и эпохи в нем, а не гоняться за призрачными «причинами» и «факторами». Да, лозунг, выдвинутый М.А. Бойцовым, вполне можно было бы дополнить слоганом: «Вперед, к Карсавину!»

Но историографический хепши-энд получился не слишком убедительным. Ведь сам автор, создав стройную систему и применив ее в замечательной книге о Джордано Бруно¹, повел себя затем несколько странно. Всесторонне оснащенный, этот одаренный исследователь, историк милостью Божией, казалось, должен был горы свернуть. Да и биография его сложилась счастливее, чем у большинства современников. Советская власть добралась до него лишь четверть века спустя, ему удалось устроиться профессором всеобщей истории в университете Витаутаса Великого, сложностей с работой в архивах и библиотеках у него не было. Вот только как «практикующий историк» он кончился. Его философские и богословские труды, его «Поэма о смерти», его диалоги

¹ Карсавин Л.П. Джордано Бруно. Берлин, 1923. Книга была написана значительно раньше и должна была печататься в Петрограде, но выдворение автора на «философском пароходе» 1922 года сделало ее издание в России невозможным.

и уже лагерные записи глубоки и талантливо, но историку там поживиться нечем¹.

Что же произошло: биографический перелом или органическая эволюция талантливого и ироничного историка в самобытного деятеля русского религиозно-философского Возрождения?

Проницательный М.А. Бойцов отмечает значение экспериментальных стилизаций Карсавина — «Saligia» и «Noctes petropolitanae»² — и вспоминает о страстном его увлечении театром. «Не отсюда ли и идея вживания в прошлое как главного средства его познания?»³ Но, как истинный сын своего Серебряного века, Карсавин не мог видеть в игре лишь игру, а в театре лишь театр. Ведь «оргиастические барабаны», которые, по мысли Стефана Георге (учителя⁴ Эрнста Канторовича), должны были преобразовать мир, вполне созвучны пророчеству Вячеслава Иванова — «страна покроется фимелами и орхестрами». Культурный контекст эпохи подсказывал, что игры Льва Платоновича свидетельствовали о его куда больших амбициях, чем чисто академические штудии. Хороший историк в России всегда, увы, больше, чем историк.

Но вернемся к «Введению в историю». Критикуя там теорию прогресса (что ныне также весьма популярно), он пишет, что сей идеал, т.е. полнота жизни человечества во всех ее проявлениях и счастье, несостоятелен: «Для того чтобы стать нравственно приемлемым, идеал должен сделаться достоянием всех людей, как еще не рожденных, так и нас и умерших. С другой стороны, из него нельзя устранить ни одного из достижений прошлого, которые в силу их неповторимой и конкретной индивидуальности не могут быть так же воспроизведены грядущими поколениями и должны быть реальностью, а не образами воспоминания. Все это достижимо лишь во всевременном и всепространственном реальном синтезе исторического развития»⁴.

¹ Остается, правда, надежда, что когда-либо переведут с литовского его пространный курс «Истории европейской культуры», но, по всей вероятности, и он относится скорее к историософии, чем к конкретной истории.

² Карсавин Л.П. Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о божестве, мире, человеке, зле и семи смертных грехах. Пг., 1919; *Он же*. Noctes petropolitanae. Пг., 1922.

³ Бойцов М.А. Не до конца забытый медиевист из эпохи русского модерна // Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992. С. 14.

⁴ Карсавин Л.П. Введение в историю... С. 33.

Незабвенная коллежская регистраторша Коробочка при этих словах непременно перекрестилась бы: не просто сохранить добрую память о Бобчинском, но его самого сделать реальностью? Так и слышится ее вопрос: «Да как же, я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?» Петр Иванович, выходит, не зря просил замолвить за него словечко — не только его неповторимая индивидуальность важна для нас и для наших целей, но и наш скромный труд, оказывается, очень важен и для него.

А Карсавин продолжает: «Развертывающийся ныне перед нами и воспринимаемый нами во времени и в пространстве процесс, процесс удручающий нас видимым погибанием и умиранием, должен стать для нас реальным во всей своей конкретности, во всех своих моментах. А это возможно только, если «мы изменимся», если преодолеем пространство, если “небеса совьются в свиток”, а время преобразуется в вечность. И такое понимание идеала или “прогресса” не только согласуется с принципами истории, из них вытекая, но и устраняет все отмеченные нами противоречия. Оно вместе с тем оправдывает смысл и назначение всякого момента истории и всякого индивидуального труда... Оно, наконец, позволяет понимать историческое познание как приближение к истинному всевременному познанию и приобщение ко всевременному единому бытию»¹.

Не надо было быть медиевистом, чтобы в 1920 году чувствовать, что небеса вот-вот совьются в свиток. И все же не эсхатологический ужас перед «Концом истории» (и не по Фукуяме, а по Асахаре) занимает мыслителя, равно как удручают его не ужасы большевизма, голод или тиф сами по себе, а смерть как явление, как философская проблема. Смысл деятельности историка, да и всего человечества, — в победе над смертью.

Через десять лет Карсавин написал прекрасное произведение — «Поэму о смерти». Там можно найти все старые идеи бывшего историка: и «вчувствование» — поэма открывается образом женщины на костре, и всеобщую связь людей, и важность индивидуального для всеобщего; и проклятие смерти. «Какие-то нежные тоненькие ниточки связывают всех нас, и живых и мертвых, весь мир, становятся все тоньше и не рвутся. Не ниточки — тоненькие жилки, по которым бежит наша общая кровь. Нам неслышимые

¹ Карсавин Л.П. Введение в историю... С. 33.

вздохи сливаются в один тяжелый вздох. Наши слабенькие стоны — в невыносимый вопль всего живого, в бессильные проклятия страданиям и смерти. Разве необходимо, чтобы стон человечества был одноголосым? Он может быть и полифоничным. Так еще величественнее»¹. И, конечно, в этом лабиринте любовь становится путеводной нитью, и он рассуждает о судьбе своей возлюбленной Элените после смерти:

«Нет, не существует души, которая вместе с тем не была бы и вечно умирающим телом. Тело же твое лишь один из центров и образов безграничного мира... В другом мире и в другой плоти не может быть в этот момент души. Только из этого тела сознаю я свой мир. Только в этом моем теле он так сознает себя и страдает...»

«У Элените, как у Габсбургов, несколько выдается нижняя губа, и на верхней маленькая бородавка. Найдется ли этим “недостаткам” место в “совершенном” эфирном теле? — Если захочешь, будут тебе и Габсбургская губа, и бородавка.

Хочу, чтобы она во всем была лучше других. Но хочу, чтобы она осталась и такую, какой была. Придумай-ка подобное тело! При одной мысли о нем смутится даже св. Григорий Нисский»².

Этот «великий каппадокиец» вспоминается Львом Платоновичем в наивысший момент его творчества далеко не случайно. Григорий Нисский чрезвычайно важен для мировоззрения Карсавина. В 1926 году в Париже он издает учебное пособие для русской семинарии «Святые отцы и учителя церкви». Лучшие страницы посвящены были этому отцу церкви. Вот как излагаются его взгляды:

«Все мировое развитие завершится “восстановлением всяческого” (*αποκατάστασις των πάντων*). Однако земное бытие не теряет при этом <...> своего единократного и центрального значения <...> Когда все люди родятся, но не все еще умрут, оставшиеся в живых изменятся, а мертвые воскреснут: и те и другие для возвращения в нерасторжимое единство ранее объединенного в одном целом и по разложении вновь соединившегося. Ведь, как пишет святой, если управляющая вселенною Сила даст разложившимся стихиям знак воссоединиться, душа восстановит цепь своего тела. Причем каждая часть будет установлена вновь согласно с первоначальным обычным для нее состоянием и примет знакомый ей вид...

¹ Карсавин Л.П. Поэма о смерти. Каунас, 1932. С. 15.

² Там же. С. 24.

Воскресшее тело будет телом индивидуальным. — “Что для меня воскресение, если вместо меня возвратится к жизни кто-то другой? Как узнаю себя самого в себе уже не себя?” И лишь по восстановлению и очищению всего наступит “день осьмой”, “день великий”. Истинно и всецело будет Бог “всяческим во всяческом” <...>.

Система Григория Нисского — одно из высших и самых глубоких индивидуальных осмыслений христианства, далеко еще не понятое и не оцененное», — делает вывод автор¹.

Святой отец напряженно думал над проблемами апокатастасиса, объясняя, например, каким образом возможно восстановить тело умершего, после того как оно разложилось: в посмертном рассеянии душа как бы охраняет своей метой каждую частичку бывшего человеческого единства. И подобных рассуждений у Григория Нисского немало. Но насколько важны будущим священникам эти сюжеты для «раскрытия православия»? Современник и оппонент Карсавина, оказавшийся более него удачливым в преподавании богословия парижским студентам, — В.Н. Лосский — говорит об апокатастасисе лишь в одном из своих трудов, причем очень кратко: «После воплощения и воскрешения смерть не спокойна: она уже не абсолютна. Все теперь устремляется к *ἀποκατάστασις τῶν πάντων* (“восстановлению всяческих”), к полному восстановлению всего, что разрушается смертью, к осиянию всего космоса славой Божией, которая станет «все во всем». Из этой полноты не будет исключена и свобода каждой личности, которой будет даровано божественным светом совершенное сознание своей немощи»².

И не так уж и велики расхождения его с Карсавиным, но ясно, что Лосского интересуют вовсе не подробности воскрешения, а христологические проблемы, а Григорий Нисский упоминается им совсем по иному поводу. Такая позиция канонически более оправдана. Ведь и сам Карсавин не без сожаления вынужден был признать, что учение об апокатастасисе не было «признано точным выражением христианской истины. Оно даже косвенно оказалось опорочено в “оригенистских спорах” и в канонах <...> подписанных патриархами»³.

¹ Карсавин Л. П. Святые отцы и учителя церкви: Раскрытие православия в их творениях. М., 1994. С. 138—140.

² Лосский В.Н. Догматическое богословие // Воскресение. М., 1991. С. 286.

³ Карсавин Л.П. Святые отцы... С. 138.

Почему же слова апостола Павла: «Последний же враг истребится — смерть», «Иначе что делают крепящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают...» (I Кор, 15—26, 29) — и тексты Григория Нисского производят на двух авторов разное действие? Как мне представляется, в немалой степени потому, что Лосский — логик-богослов, а в Карсавине жив еще историк-профессионал. Но насколько по-новому могут зазвучать для нас теперь его слова о «вживании» и «восстановлении по частям»? Восстановление необходимо для полноты всеобщего, для конечной победы над смертью, для осуществления конца истории, и историку, похоже, отводилась в этом деянии особая роль.

Не берусь вторгаться в эту область, но смею предположить, что Лев Платонович, постоянно нарушавший правила игры, принятые у историков и философов, и в богословии оказался несколько удален от православной ортодоксии.

Другой мыслитель, отпавший от ортодоксии, но на сей раз — от католической, Пьер Тейяр де Шарден, начиная совершенно с иных исходных позиций, приходит к выводам, почти дословно совпадающим с карсавинскими. Можно спорить о том, насколько правомерно сближение его «пункта Омега» со Всеединством, но, столь же едко критикуя теорию прогресса, как и его ровесник Карсавин, французский мыслитель уверен, что отказ от восстановления индивидуальных сознаний будет означать фиаско эволюции: «Радикальный порок всех форм веры в прогресс, когда она выражается в позитивистских символах, в том, что они не устраняют окончательно смерти <...>¹

Если послушать учеников Маркса, то человечеству достаточно накапливать последовательные достижения, которые оставляет каждый из нас после смерти: наши идеи, открытия, творения искусств... Не является ли все это нетленное лучшей частью нашего существа? Но таким вкладом в общность мы передаем далеко не самое ценное. В самых благоприятных случаях нам удастся передать другим лишь тень себя. Наши творения? Но какое из человеческих творений имеет самое большое значение для коренных интересов жизни вообще, если не создание каждым из нас в себе абсолютно оригинального центра, в котором универсум осознает себя уникальным, неподражаемым образом, а именно нашего “я”, нашей личности? Более глубокий, чем все его лучи, сам фокус

¹ Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 210.

нашего сознания — вот то существенное, что должен вернуть себе Омега, чтобы действительно быть Омегой»¹.

Роль двигателя на пути к Омеге Тейяр де Шарден отводит любви — «ключевой космической энергии». И ссылается он на любимого Карсавиным Николая Кузанского. Кстати, оба исследователя начинали свой путь с общего увлечения Анри Бергсоном.

Представляется, однако, немаловажным, что Тейяр де Шарден — палеонтолог с солидным стажем полевых исследований. Родство его с Карсавиным в том, что оба начинали генерировать свои метафизические теории только после того, как долго трудились над восстановлением исчезнувших особей и индивидуумов по фрагментам.

Но помимо некоей внутренней логики творчества Карсавина, продиктованной его изначальной профессией, в его взглядах с легкостью можно обнаружить мощное влияние того самого «культурного фонда», расхожих идей, к изучению которых он сам и призывал в своих ранних работах.

Для русской культуры, в том числе и для культуры Серебряного века, оказалась чрезвычайно значимой идея, наиболее полно сформулированная в «Философии общего дела» Николая Федорова.

Легко было Карсавину и Тейяру де Шардену критиковать моральное несовершенство теории прогресса — ведь они занимались этим тогда, когда XX век уже явил свой оскал. Федоров же пришел к этому в самый разгар позитивистского оптимизма, еще в 60—70-х годах позапрошлого века: «Прогресс состоит в сознании сынами своего превосходства над отцами и в сознании живущими своего превосходства над умершими. Но в то же время он является сознанием своего полного ничтожества пред смертью, пред слепую, бесчувственную историей. Цель прогресса — развитая личность служит лишь еще большему разъединению людей... Подлинный прогресс требует воскрешения»².

Для воскресения мертвых не нужно ждать конца времен. Оно должно стать результатом сознательной деятельности человечества, сплотившегося в этом единственно великом «Общем деле», где «все живущие должны быть историками, а все умершие — предметом

¹ Там же. С. 208.

² Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 81. Примечательно, что для борьбы с идеей прогресса Федоров ссылается на Эрнеста Ренана и даже на Огюста Конта.

истории, неотделимой от естествознания и естествоуправления. То будет всецельность, воскрешение и преобразование мира».

Естественная череда смертей нормальна, пока не пробудилось сознание. Но человеческое сознание начинает свое пробуждение с острого чувства своей индивидуальности и с глубокого страдания от утраты другого. Уничтожение человеческого «я», личности как неподменного и нерасторжимого духовно-телесного единства, наделенного уникальным самосознанием, ощущается человеком как трагическая катастрофа, ставящая под сомнение разумность всего порядка вещей¹.

Казалось бы, в отличие от индивидуального человека бесконечное будущее человечеству как сущности, наделенной разумом и духом, гарантировано. Однако оказывается, что онтологическая судьба человечества в целом никак не может быть отделена от судьбы единичных людей. И, не решив проблемы их восстановления, человечество неизбежно погибнет в результате энтропии, всеобщего рассеивания.

Опираясь на Священное Писание и на патристику, на громадный пласт философского наследия и на естественнонаучные данные, Федоров разрабатывал всесторонний план преобразования мира — рисует вполне конкретные пути к реальному воскрешению, к размещению воскресших, к организации новой жизни в преобразованном обществе. Самое удивительное, что большинство неразрешимых проблем материального плана, на которые указывали Федорову скептики, современной наукой вполне решаемы, если уже не разрешены.

Величие идей «Общего дела» зачаровывало Достоевского и Толстого, Владимира Соловьева; как к родному к нему отнеслись символисты, русские космисты, Вернадский, Чижевский, Циолковский, футуристы — первый среди них Маяковский, и столь разные люди, как Андрей Платонов и Борис Пастернак. Этот список можно продолжать, подверстывая в него все новые имена и деяния, вплоть до бальзамирания вождя мирового пролетариата.

В этой блестящей перспективе Петру Ивановичу Бобчинскому суждено было воскреснуть не под пером историка, не в конце времен, не в пункте Омега, а в самом скором будущем, в лаборатории геной инженерии под наблюдением доктора Збарского. Брр!

¹ Семенова С. Николай Федоров: творчество жизни. М., 1990. С. 151—152.

Но для нас важно другое. Федоров не просто всему роду человеческого сулил овладение профессией историка. Он и сам был «из наших», из практикующих историков. Начав с преподавания истории и географии в школе, он прославился как бессменный библиограф Румянцевского музея. Он был гениальным библиографом, лучшим не только в России, но, по всей видимости, и во всей Европе, намного опередив время в области науки о сохранении информации.

Продумывая целесообразную систему организации письменных памятников прошедшего и происходящего, расставляя тома, он задался целью увидеть живых людей, создавших эти книги, гениев и бездарностей, талантов и посредственностей, умных и неумных, благородных и низких. Он планировал организовать работу библиотек календарным порядком по дням смерти авторов «по принципу ежедневного поминовения». Он пропагандировал сухую науку библиографию и архивоведение: «Ведь что такое на деле библиография: в случае смерти автора на книгу должно смотреть как на останки, от сохранения коих как бы зависит самое возвращение к жизни автора <...> Представьте себе, что встали из гробов творцы, и каждый из них, указывая на свое сочинение, как бы демонстрируя его обложку, призывает всех к его прочтению и исследованию <...> Если хранилище книг сравнить с могилой, то чтение, или, точнее — исследование, будет выходом из могилы, а выставка — как бы воскресением»¹.

Таким образом, «профессиональная компонента» в его учении была достаточно сильной. Но, как учил все тот же ранний Карсавин, значение выдающейся личности («типического человека», по его терминологии) в том и состоит, что он сказал то, что от него хотели услышать; выразил те идеи, которые были разлиты в обществе. Каждый, кто сталкивался с идеями Федорова, поражался их созвучности неким сокровенным своим чувствам. И действительно, идея обретения всеединства человечеством, любовно занятого Общим делом — рукотворным апокатастасисом, казалась укорененной в массах в не меньшей степени, чем другая часть апокалиптической программы — борьба со злом и построение рукотворного Тысячелетнего царства.

Приведу лишь один пример. В цикле рассказов Горького «По Руси» есть один, носящий характерное заглавие — «Кладбище».

¹ Семенова С. Николай Федоров: творчество жизни. М., 1990. С. 65—66.

Именно там чудаковатый провинциальный поручик Савва Хорват сбивчиво увещевает молодого Пешкова: «Представьте, что каждый город, село, каждое скопление людей ведет запись делам своим. Так сказать — “Книгу живота”. И — пишется все. Все, что необходимо знать о человеке, который жил с нами и отошел от нас... Жизнь вся насквозь — великое дело незаметно — маленьких людей, не скрывайте их работу, покажите ее... Я хочу, молодой человек, чтобы ничто, достойное внимания, не исчезло из памяти людей. А в жизни — все достойно вашего внимания. И — моего! Жизнь недостаточно уплотнена, и каждый из нас чувствует себя без опоры в ней именно потому, сударь мой, что мы невнимательны к людям...»

Но что там пролетарский писатель, когда такие титаны, как Толстой и Достоевский, стремились завязать контакт с Федоровым — настолько высказанная им идея соответствовала тому, что они чувствовали и писали задолго до того, как прослышали о чудаковатом московском библиотекаре. В лице этих глыб сама классическая русская литература спешила засвидетельствовать свое почтение «Общему делу».

Вот и настала пора вернуться к Гоголю, огласившему сокровенное желание Петра Ивановича Бобчинского в самый, казалось бы, неподходящий для того момент. Все это не случайно. Ведь не пеньку, не ворвань, а именно мертвые души скупает Чичиков. Торжественно он извлекает их на свет Божий из заветной шкатулки: «Когда он взглянул потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особый характер, и через то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами... Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностью — ни одно из качеств мужика не было пропущено: об одном было сказано “хороший столяр”, другому приписано было “смыслит и хмельного не берет”. Означено было также обстоятельно, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: “отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор”. Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря

долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии, это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке...»

Далее следует незабываемая серия восстановлений жизненного пути Степана Пробки, Максима Телятникова, Елизаветъ Воробья и многих других.

Можно было бы вспомнить о начальных шагах Гоголя на историческом поприще и на этом основании счесть его еще одним «из наших», да совесть не позволяет. Дело в том, что воскресительный пафос неотделим от его писательского дара и той величественной задачи, которую он уже давно поставил перед собою. По мнению Абрама Терца, «его поэма — это купчая крепость, заключенная на освобождение человечества от смерти, на овладение миром с помощью слова. Жаль, сделка не состоялась...». И еще: «В Гоголе явлена забытая современной словесностью связь с изначальной магией, чем некогда промышляло искусство, чем долго оно оставалось и, быть может, еще остается где-то в глубине души по скрытой, внутренней сути, представленной так наглядно в творчестве Гоголя. В нем сильнее, чем в ком-либо, проступала темная память о волшебном значении ныне безвредных и никчемных процессов. Отчего и художник в нем без конца раздирался страхами и обязанностями потерявшего управление над своими чарами знахаря, действовавшего в условиях, когда его наваждения рассматривались всеми по классу эстетики и фантазии»¹. И по классу истории, — добавим мы *pro domo suo*. Впрочем, нельзя же во всем верить Терцу! Это, может быть, XIX век забыл о связи слова, литературы и истории с магией, а XX век о ней очень даже вспомнил. Но не спорить же сейчас о постмодернизме...

Возьмем новейший пример. Андрей Макин², «писатель земли французской», описывает переживания отрока из глухого заволжского города, созерцающего трех красавиц с пожелтевшей газетной вырезки: «Вот тут-то мне на ум, вновь обратившийся к трем красавицам, пришла эта мысль. Я сказал себе: но ведь было

¹ Снявский А.Д. (Абрам Терц). В тени Гоголя // Он же. Собрание сочинений. М., 1992. Т. 2. С. 290—291. См. показательное для нас название последней главы: «Мертвые воскресают. Вперед — к истокам!»

же все-таки в их жизни это ясное, свежее осеннее утро. Эта аллея, усеянная опавшими листьями, где они остановились на какое-то мгновение и замерли перед объективом, остановив это мгновение... Да, было в их жизни одно яркое осеннее утро... Эти немногие слова совершили чудо. Ибо внезапно я всеми пятью чувствами ощутил мгновение, остановленное улыбкой трех женщин. Я очутился прямо в его осенних запахах. Ноздри мои трепетали... Да, я жил полно, насыщенно жил в их времени!»

Герой и дальше использует этот механизм: «Преображение трех красавиц позволяло надеяться, что чудо можно повторить. Я хорошо помнил ту простую фразу, которая его вызвала...» И он с успехом применяет этот прием, задумавшись после и о роли языка в «оживлении картин»... «Шарлота говорила по-французски. А могла бы и по-русски. Это ничего не отняло бы у воссозданного мгновения. Значит, существует что-то вроде языка-посредника. Универсальный язык! Я снова вспомнил о том межъязычье, которое открыл благодаря оговорке, о “языке удивления”. Тогда-то впервые мой ум пронизала мысль: а что, если на этом языке можно писать? Я сел на пол и закрыл глаза. Я ощущал в себе вибрирующую вещественность всех этих жизней...»¹

То ли доверчивые французы пленились экзотикой истин, для русских литераторов вполне банальных, то ли вспомнили, что о чем-то подобном писал некогда Марсель Пруст, но, во всяком случае, Макин собрал беспрецедентный урожай литературных премий, начиная с высшей, Гонкуровской. Для нас же важно почти полное его совпадение с рассуждениями Карсавина о «вчувствовании» и «сопереживании» как о необходимых шагах на пути к постижению Всеединства.

Подведем итоги. Я не призываю историков гнаться ни за Гонкуровской премией, ни даже за Букеровской. Более того, ни в коем случае я не призываю их во всем следовать примеру Карсавина, Тейяра де Шардена и Федорова. Ведь стоило прекрасному историку Карсавину сформулировать свою метафизическую систему, как он покинул нашу науку. Талантливый палеонтолог, открывший синантропа, Тейяр де Шарден после публикации своего «Феномена человека» оставшуюся жизнь потратил на споры с Римом. Румянцевская библиотека осиротела, как только гениальный библиограф Федоров сформулировал наконец свою «Философию общего дела»,

¹ *Makine A. Le Testament français. P., 1995. P. 168—169, 251.*

приступив к ее пропаганде. Нет, мы и так потеряли достаточно своих коллег, эмигрировавших в область чистой эпистемологии.

Но, быть может, приведенные примеры и рассуждения помогут нам лучше понять себя. Понять, что помимо историографической моды и внутренней логики науки существует еще и естественная тяга историка к оживлению прошлого⁶, уходящая в седую древность нашей профессии, в те времена, когда мы действительно еще не отделились не только от литературы или от богословия, но и от магии. И помнить, что желание откликнуться на призыв Петра Ивановича Бобчинского чревато серьезными последствиями, манящими перспективами и возможными потерями. Но в любом случае — это «основной инстинкт» историка.

Комментарий

Впервые текст был опубликован в сборнике: Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999. С. 184—206. А вскоре — в очередном выпуске альманаха «Казус», с некоторыми дополнениями: «Казус — 2000. Индивидуальное и уникальное в истории». Вып. 3. М., 2000. С. 15—32.

Уже «Историк в поиске» вызвал неоднозначную реакцию, но там «Апокатастасис» как-то терялся на фоне более ярких статей — манифеста М.А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!» и полемичной реплики Н.Е. Копцова: «О невозможности микроистории». Когда же мой текст был в несколько более развернутом виде опубликован в альманахе «Казус», он вызвал отклики: критичный Л.М. Баткина, совсем-совсем критичный А.Л. Ястребицкой и достаточно доброжелательный Б.Е. Степанова. На что я написал ответ: «О невозможном и плодотворном» (Казус — 2000. С. 118—124). К сожалению, сейчас мне пришлось отказаться от публикации материалов полемики — получить согласие авторов критических замечаний показалось трудной задачей, а издавать один лишь мой ответ было бы уж совсем нелепо. Помимо того что с материалами этой дискуссии можно ознакомиться на страницах альманаха «Казус», она подверглась историографическому анализу: *Сवेशников А.В., Степанов Б.Е.* История одного классика: Лев Платонович Карсавин в постсоветской историографии // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: НЛЮ, 2009. С. 225—227.

А.Л. Ястребицкая очень на меня тогда обиделась за Карсавина, я же отвечал довольно-таки задиристо, впервые примерив на себя личину воинствующего историка-эмпирика. Милая Алла Львовна! Мы, конечно же, вскоре помирились, и она со свойственной ей непосредственностью спрашивала: «Паша, у тебя остался тот номер “Казуса”, где мы ругаемся?»

^a Речь шла о заседаниях семинара по истории частной жизни и повседневности, начавшего действовать в Институте всеобщей истории под руководством Ю.Л. Бессмертного с 1994 года. Одним из «побочных результатов работы семинара стал как сборник «Историк в поиске», так и сама идея альманаха «Казус».

^b В конце 1990-х годов в Москве прошли гастроли театра марионеток Резо Габриадзе с его «Сталинградской битвой» (в первом варианте — «Песня о Волге»). Там, конечно, повествовалось не только про муравьев; но в финале муравьях голосом Лии Ахеджаковой причитала по погибшему муравьенку...

Вот, кстати, вопрос об изменении времени: сейчас был бы возможен такой спектакль?

^c Тогда, в 1990-е годы, мормонская Церковь Иисуса Христа святых последних дней через основанный ею Центр семейной истории активно заключала договоры с обнищавшими восточноевропейскими архивами для микрофильмирования метрических книг и другой генеалогической документации. Микрофильмы свозились в особое хранилище в Скалистых горах. Дело в том, что для блаженства мормона в следующей жизни ему надо обеспечить правильное крещение для как можно большего числа людей, причем не обязательно живых. Первоначально «задним числом» крестили в основном своих предков, а затем круг «обращаемых посмертно» расширился.

^d В первом издании вместо слова «учитель» стояло — «гуру», несколько более емкое слово. Но редактору это показалось неуместным. Можно, конечно, было побороться за «гуру», но это потребовало бы дополнительных экскурсов в биографию Э. Канторовича, и древо повествования рисковало превратиться в ветвистый куст.

^e В ту пору еще жива была память о сенсации, когда русский писатель Андрей Макин за свой роман «Русское завещание» (написанный по-французски) получил сразу две литературные премии — Гонкуровскую и Медичи. Вот здесь мне вновь придется извиняться. Я читал «Le Testament français» по-французски. Но русская цитата, равно как некоторые мысли взята мною из эссе Татьяны Толстой «Русский человек на randеву» (2000 год). Когда ты увлечен какой-то идеей, то подверстываешь под нее почти все, что читаешь в это время, в той или иной степени присваивая и приспособляя к себе чужие мысли. Никакой «Антиплагиат» меня в данном случае не поймал бы, но факт остается фактом — получается, что это я перевел пассаж Макина такими словами. Надо было написать: «Цит. по: Т.И. Толстая...» Но я уже так перегрузил к тому времени сноски и текст уже слишком отходил от первого издания, что дополнительный «завиток»

смотрелся бы совсем безвкусно. Все равно неудобно получилось. Увижу Татьяну Ильиничну — извинюсь перед нею.

[†] Тогда я еще не наткнулся на знаменитый пассаж Жюль Мишле о том, как он приходит в Национальный архив и начинает слышать ропот минувшего. «Эти бумаги были не бумагами, но жизнями людей, провинций, народов <...> все жили и разговаривали, они окружали автора стоязыкой армией <...> Спокойнее, господа мертвецы, будем соблюдать очередь, пожалуйста. Все вы имеете право на историю. Индивидуальное хорошо как индивидуальное, общее — как общее <...>. И по мере того, как я вдыхал их пыль, я видел, как они пробуждаются. Они поднимали из могилы кто руку, кто голову, как в «Страшном суде» Микеланджело или в «Пляске смерти». Этот наэлектризованный хоровод, который они вели вокруг меня, я попытался воспроизвести в своей книге» (*Michelet J. Histoire de France, Livre IV // Œuvres complètes. Paris, 1974. Т. 4. Р. 613—614*).

ИСТОРИЯ, ИСТОРИКИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ВО ФРАНЦИИ

Приехавшего из Франции обычно спрашивают: «Ну, что теперь носят в Париже?» Не знаю, что ответите вы. Мне, например, всегда хочется сказать, что зимой в одежде парижанок преобладают черные и темно-зеленые тона, что африканки одеваются ярко, барышни из Магриба носят хиджабы, но в сочетании с мини-юбкой, что мужчины не носят головных уборов, хотя явно мерзнут, — только изредка встречаются пожилые арабы в меховых шапках-пирожках.

А вообще носят разное, как кому удобнее и привычнее.

Но ваш собеседник хочет иного: он знает, что французы одеваются от Кардена и предпочитают духи «Шанель № 5», и ожидает подтверждения именно этой информации.

Примерно такого же предсказуемого ответа ждут на вопрос о французской историографии: французы, мол, поголовно занимаются историей ментальностей, постмодернистскими интерпретациями или историей памяти. На самом деле кто-то во Франции по-прежнему занимается историей ментальностей; кто-то сочиняет биографии великих личностей, веря в то, что история пишется по источникам и оперирует раз и навсегда установленными историческими фактами; кто-то объясняет, что история — это литературный вымысел; кто-то (их большинство) вообще не склонен рефлексировать по поводу того, как нужно писать историю, а просто ее пишет.

Словом, пишут кто как, как кому удобнее и привычнее.

Но такой ответ мало кого удовлетворит.

Поэтому стоит рассказать о том, как сложилась современная историографическая ситуация. Это может быть бесполезно — ведь Франция во многих отношениях остается для нас (и не только для нас) образцом, предметом для подражания.

Историю во Франции писали очень давно, как минимум со времен Григория Турского, сочинившего в VI веке от Рождества

Христова свою «Историю франков». Но к нашей теме удобно приступить начиная с первой половины XIX века, с эпохи романтизма — периода, когда общество, вступившее на путь индустриализации, впервые осознало, что старый мир исчез окончательно и больше не вернется. История была тогда чрезвычайно популярным чтением: зачитывались историческими пьесами, романами и «хрониками» (тем, что позже будет называться *histoire romancée*). Историю преподавали в Высшей нормальной школе — заведении, которое, по замыслу Наполеона, было призвано готовить школьных преподавателей, но в конечном счете стало питомником интеллектуальной элиты. В то время на лекции по истории в Сорбонне собиралась самая широкая публика, не только студенты. После разрушительной революции французы осознали необходимость сохранения памяти нации: была создана система Национальных (а также департаментальных и муниципальных) архивов, система публичных музеев, появилась сама концепция «национального культурного достояния». Для обслуживания этих институтов были нужны специалисты; и в 1821 году возникла знаменитая Школа хартий, готовившая архивистов-палеографов, которые могли датировать и разбирать любые рукописи не хуже старорежимных монахов из конгрегации св. Мавра^а. Это занятие оказалось престижным — для отпрысков дворянских родов описание деяний великих предков считалось не менее достойным делом, чем военная карьера. В провинциальных городах как грибы росли свои исторические общества, где тон задавала местная традиционная элита, включая духовенство, сохранявшая свои традиции историописания. Но наибольшей популярностью пользовались все же либеральные историки из бывших журналистов: Огюстен Тьерри и его брат Амадей, Франсуа Гизо, позже Жюль Мишле, Эдгар Кинэ, Адольф Тьер. Они писали историю французской нации, причем понимали ее как историю государства или историю успехов третьего сословия.

Определить единые принципы, которыми руководствовало это поколение историков, трудно. Одни, как Гизо, писали сухо, стремясь прочертить основные событийные линии и вывести некие исторические закономерности, у других стиль был сугубо пафосным. Мишле призывал опираться только на источники и черпать в них вдохновение (ему, директору Национальных архивов, это было особенно легко). Однако его описание исторических событий, в частности событий Французской революции, изобилующее поэтическими метафорами, трудно назвать научным в более

позднем смысле этого слова. В большинстве случаев он цитировал документы лишь для того, чтобы украсить свое сочинение яркими иллюстрациями.

Некоторые авторы (например, Виктор Кузен, чьим именем названа улица, на которой расположен главный вход в Сорбонну) ориентировались на философскую традицию Гегеля. Но по большей части историки не выказывали своих философских предпочтений открыто. Им мог imponировать призыв Леопольда фон Ранке: выяснять, как «было на самом деле». Сколько саркастических замечаний впоследствии вызвала эта фраза! Но никто так и не доказал, что историк должен стремиться к обратному. Тем более что слова Ранке были направлены не против тех историков, кто хочет исследовать более глубокие проблемы, а против философов, предписывающих истории играть роль «учительницы жизни» или же иллюстрировать метафизические истины^b. История ценна и важна сама по себе. В этом сходились большинство французов первой половины XIX века, видевших в истории и развлечение, и оружие для защиты одной из политических позиций: роялистской, бонапартистской, орлеанистской, якобинской или какой-нибудь иной.

Во второй половине XIX века французы еще глубже осознали важность истории. Но в это время она стала уже не столько аргументом в партийной борьбе, сколько средством обретения и укрепления национальной идентичности.

Еще во времена Второй империи говорили, что историю надо сделать настоящей наукой, как в Германии. Там ей обучали на особых семинарах, тогда как во Франции история была традиционно представлена лишь открытыми публичными лекциями. В 1868 году в Париже была основана особая Высшая школа практических исследований, в составе которой имелась историко-филологическая секция. Ее создатели противопоставляли свой подход пустому красноречию прежних историков-лекторов, они работали с документами на практических семинарах, в лабораториях, ставя при этом главной целью приращение научного знания. За образец были взяты методы естественнонаучных дисциплин, выводящих общие законы на основе опытного наблюдения.

Вскоре, как известно, немецкий школьный учитель, воспитанный университетским профессором по методике Ранке, выиграл сперва битву при Садове у австрийцев, а потом и у французов при Седане. После этого уже никого не надо было убеждать в превосходстве нового метода изучения истории. Университеты,

насколько это позволяли условия французской централизованной системы управления, были приближены к немецкой модели, получив определенную автономию. Истории начали учить как науке, опираясь на семинары закрытого типа. Историком отныне мог стать лишь тот, кто уже доказал, что своей работой способствует накоплению нового исторического знания. Начали издаваться профессиональные исторические журналы. Источники издавались и раньше, но теперь этому делу был придан строгий научный характер и широчайший размах государственного предприятия (показательно, что изданные в то время объемные зеленые тома документов по истории Парижа до сих пор украшают и российские библиотеки¹).

Такой была Третья республика, которую часто называют «республикой профессоров». Профессорам удалось многое.

Потеснив историков-любителей, они создали профессиональную среду, замкнутую и, благодаря кооптации и семейной преемственности, самовоспроизводящуюся. Историки, основавшие в 1929 году знаменитый журнал «Анналы», были детьми университетских преподавателей^c. В этот период была проложена столбовая дорога для французского интеллектуала: добротное домашнее воспитание; обучение в хорошем коллеже и лицее; поступление после сложных испытаний в Высшую нормальную школу, что на улице Ульм; затем годы ассистентства и защиты диссертаций; университетская кафедра (на первых порах в провинции, а потом и в Сорбонне); и, наконец, в идеале — место профессора Коллеж де Франс^d. Собственно, дорога эта практически не изменилась до сего времени. Разве что добавилось еще и признание в Америке — необходимый элемент полного успеха.

¹ Напомню в связи с этим рассказ Мопассана «Награжден!». Герой рассказа, рантье, страстно мечтал об ордене Почетного легиона. Его хорошенькая жена пустила в ход все связи, чтобы мужа включили в состав комиссии по изданию «Документов по истории Парижа», и он стал пропадать в долгих разъездах по архивам. Когда он неожиданно вернулся из командировки и обнаружил на вешалке пальто с розеткой Почетного легиона, жена несколько смущенно объяснила, что хотела сделать ему сюрприз и заказала новое пальто с орденом. Муж успокоился. А через неделю прочитал в газете, что он награжден «за особые заслуги». Отметим, что и Мопассан, и его герои, и читатели считают вполне правдоподобным, что сбор документов для муниципальной истории достоин высокой государственной награды.

Чаще всего историков этой эпохи, выработавших для своей дисциплины достаточно строгие критерии научности, называют «позитивистами». Но многие из них были бы скорее огорчены тем, что их принимают за последователей Огюста Конта. Некоторые (впрочем, далеко не все и даже не большинство) иногда уподобляли историю естественным наукам: геологии и химии (как Фюстель де Куланж), биологии (как Ипполит Тэн). Однако до построения «законов истории» или «законов общественного развития» дело не доходило. Речь шла о другом — историки, используя научные (в их понимании) процедуры, стремились получить некое позитивное знание. «Позитивное» было антонимом «спекулятивному», «умозрительному». Позитивное знание опиралось на факты, подтверждавшиеся документами, аутентичность которых в свою очередь была доказана строгими процедурами исторической критики. Такие факты и считались объективными. Профессиональному историку также предписывалось быть объективным, работать «без гнева и пристрастия», избегать всякой партийной или национальной предвзятости. В связи с этим установилось негласное правило: солидный историк не вправе изучать период, отдаленный от него менее чем на 50 лет. О более близком времени могли писать разве что журналисты.

Мы, наученные блестящими гуманитариями позднейшей эпохи, сочтем такую убежденность наивной. Нам ясно доказали, что исторического факта как объективной реальности не существует; что и теории, и факты суть лишь языковые конструкты; что субъект исследования неотделим от объекта; что история — это род беллетристики и на статус науки претендовать не может. Но странное дело: большинство историков и теперь продолжает опираться в своей работе на те же профессиональные критерии и руководствоваться теми же этическими нормами, которые были выработаны их коллегами во второй половине XIX века.

А историки того времени стремились прежде всего к тому, чтобы быть точными и осторожными в своих выводах. Пафос Мишле или Тьерри им претил, и они любили уличать своих предшественников в неточностях. Методологическим манифестом эпохи стало «Введение в изучение истории» Шарля Виктора Ланглуа и Шарля Сеньобоса, имевшее успех и за пределами Франции. Изданный в 1898 году, он уже через год был переведен — и хорошо переведен — в России. Сейчас бы такую скорость перевода! Авторы описывали необходимые этапы работы историка: отбор документов

и их классификацию, внешнюю критику (определение аутентичности) и внутреннюю (герменевтику). При этом они настаивали на отличии истории от других наук, отмечая субъективный характер исторических источников как памятников психологической реальности и призывая историка быть крайне осторожным в выводах. Не отвергая в принципе возможность обобщений, эти историки-методисты обычно говорили, что время для обобщений еще не пришло. «Задавать себе вопросы очень полезно, но отвечать на них очень опасно», — иронически цитирует Марк Блок своего «дорогого учителя Шарля Сеньобоса», поддевая при этом и его, и его коллег, опасаящихся мыслить проблемно¹.

Блок смеялся над типом сверхосторожного историка, описанного Анатолем Франсом. Английский современник и единомышленник Блока — Коллингвуд — еще более резко писал о герое Франса Сильвестре Боннаре. Этот книжный червь состарился, собирая манускрипты для своей «Истории аббатов Сен-Жерменского монастыря», так и не доведенной им до конца. Ну и что же? Да, Боннар не ставил перед собой глобальных задач, не строил смелых гипотез. Однако человеком он был добрым, охотно помогал другим, и вреда от него уж точно не было. По-моему, быть похожим на Сильвестра Боннара — комплимент, который еще надо заслужить.

Труд Ланглуа и Сеньобоса был воспринят неоднозначно. Многим он показался слишком сциентистским, слишком строгим (об этом писал и такой философски мыслящий русский историк, как Л.П. Карсавин). Молодая социология в лице Франсуа Симиана, ученика Эмиля Дюркгейма, и Анри Бера обрушилась на «историзирующую историю», описательную, ориентированную на единичное и тем самым отказавшуюся от поиска закономерностей. Действительно, в этот период наиболее ценились именно событийная, политическая история, живописавшая деяния великих личностей, а также история институтов и история права. Однако к началу XX века уже обозначился интерес к истории экономической и социальной.

В целом историкам этой эпохи, которая стала для них поистине «прекрасной» (*belle époque*), удалось ввести в научный оборот основной корпус источников, воссоздать канву всех крупных исторических событий. Если вы не владеете иностранными языками, но непременно хотите узнать, что произошло с молодым

¹ Блок М. Апология истории / Пер. Е.М. Лысенко. М., 1973. С. 14.

Людовиком IX в 1227 году, то надо обратиться к «Всемирной истории» Лависса и Рамбо, переведенной еще до революции. Из других, более поздних работ можно узнать многое и о социально-политической подоплеке тогдашних событий, и об их возможных символических истолкованиях, и о библейских параллелях в текстах, где они описываются, и даже о том, насколько историки Третьей республики уступают пронизательностью современному автору. Многое, кроме одного: что же именно случилось в 1227 году?

Жорж Дюби, писавший в 1973 году о Бувинской битве начала XIII века, оправдывался: «Все уже сказано, и сказано хорошо, между 1856 и 1914 годом. Все уже сказано, и сказано хорошо, о том, как происходила эта битва, и о той сети интриг, для которой эта битва явилась одновременно и результатом и отправной точкой развития. Это освобождает от необходимости здесь вновь в том же духе анализировать источники и предпринимать их исследование: ничего нового из этого не выйдет»¹. Нетрудно догадаться, что мэтр французской медиевистики сумел все же найти новый ракурс исследования. Но, как бы то ни было, в словах Дюби звучит невольное, а потому — высшее — признание заслуг историков периода Третьей республики, создавших фундамент для его работы.

При всем своем искреннем стремлении к объективности, эти историки, непрерывно повествуя о прошлом их главного героя — французского народа, вполне осознанно творили миф, призванный сплотить нацию. Их миссия походила на священнодействие — недаром библиотеки, архивы и роскошные учебные залы университетов той эпохи напоминают храмы. История в их описании сохраняла и даже усиливала свой целенаправленный, телеологический характер. В создаваемом мифологическом пантеоне причудливым образом сочетались вождь галлов Верцингеториг, император Карл Великий, мятежный купеческий прево Этьен Марсель, Людовик Святой и Жанна д'Арк, Ришелье и революционный маркиз де Лафайет. Эта история внушала уважение к государству и нации, приписывая им чуть ли не извечное существование; она удачно соединяла, казалось бы, взаимоисключающие традиции — монархическую и республиканскую; она была в меру антиклерикальна и рационалистична, отличалась верой в прогресс и гуманистические идеалы.

¹ *Duby G. Le dimanche de Bouvines. Paris, 1973. P. 19.*

Разоблачать мифы республиканской историографии — не особенно сложная, а приятная и в известной степени необходимая работа любого историка, занимающегося сейчас историей Франции. Но само по себе создание великой саги национальной истории было неопределимой заслугой Третьей республики. Эта сага наделяла француза своеобразным «гирокомпасом», надежным механизмом ориентирования, благодаря которому можно было отличать «реакционное» от «прогрессивного» (пусть даже прогрессивного «лишь в конечном счете»), можно было определять вектор движения истории, связывающей прошлое, настоящее и будущее.

Огромную роль в ее создании сыграл уже упомянутый Эрнест Лависс, автор и редактор 27-томной истории Франции («Большого Лависса») и других многотомных изданий, но также «Малого Лависса» — серии учебников для начальной и средней школы. За свои неоспоримые заслуги Лависс был назначен руководителем Высшей нормальной школы. Фольклор «нормальенов» увековечил его имя: золотые рыбки, живущие в фонтане во дворе школы со времен его директорства, до сих пор именуется «эрнестами».

Историкам этой эпохи удалось разрешить щекотливый вопрос сочетания патриотизма с требованиями беспристрастности и объективности. По мнению основателя «Исторического журнала» Габриеля Моно, историк является вместилищем традиций своего народа и всего человечества. Будучи ремесленником, работающим над национальной памятью, историк не может и не должен от нее отстраняться. Напротив, он «лучше всех осознает тысячи нитей, которые связывают нас с нашими предками». Любовь к Родине, поддержанная наукой, порождает не слепой и агрессивный национализм, но служит «прогрессу всего рода человеческого»¹.

Как бы то ни было, битву на Марне немецкому учителю уже не удалось выиграть: видимо, французский учитель, вооруженный «Малым Лависсом», оказался на той же высоте, что и его немецкий коллега. Кстати, и в русской гимназии или реальном училище учитель истории так же хорошо знал свое дело. Беда только в том, что нижние чины нашей армии в гимназиях не обучались, а в церковно-приходских школах истории не преподавали даже по Иловайскому. Быть может, недостаточная убежденность русских солдат в исторической справедливости войны и привела к тому,

¹ *Monod G. Du progrès des études historiques en France depuis le XVI^e siècle // Révue historique. 1876. N 1. P. 5—35.*

что на Восточном фронте дела у немцев пошли намного лучше, чем на Западном.

Все же миллионные потери оказались слишком высокой платой за победу. После Первой мировой войны старая модель истории отчасти утратила свою привлекательность. Недаром Поль Валери осудил историю за то, что она помогает национализму политиков, который оборачивается войнами, и назвал ее «самым опасным продуктом, вырабатываемым химией человеческого интеллекта». Французские историки не могли оставаться такими же, какими были до войны.

Играл свою роль и общий кризис науки, вызванный научной революцией начала XX века, а также неокантианское влияние на гуманитарное знание. В образовательных структурах наблюдался застой: новых мест создавалось все меньше, а сильно постаревшее первое поколение профессиональных историков не спешило уступать свои места молодым. Исключение составлял вновь созданный университет в только что отвоеванном Страсбурге, где правительство решило создать своего рода «витрину» современной французской науки. Там были собраны перспективные и сравнительно молодые кадры: Морис Хальбвакс (социолог дюркгеймовской школы, прославившийся исследованиями социальной памяти), психолог Шарль Блондель, историки Люсьен Февр, Марк Блок, Жорж Лефевр и другие. Именно в Страсбурге в 1929 году начал издаваться журнал «Анналы экономической и социальной истории». Его издатели стремились сделать то, что не удалось Си-миану, — превратить историю в социальную науку, отвечающую на вопросы, которые ставит время, ликвидировать трагическое отставание истории от других дисциплин, обнаружившееся в условиях научной революции. Многие авторы, публиковавшиеся в журнале, придерживались левых взглядов, некоторые находились под влиянием компартии. Движению «Анналов» было суждено большое будущее, но в 1930-х годах оно еще оставалось маргинальным явлением — подавляющее большинство историков жило по иным, традиционным законам, с которыми отцам-основателям «Анналов» приходилось считаться.

Традиционная историография продолжала господствовать, отчасти воплощаясь в фигуре престарелого Шарля Сеньобоса, опубликовавшего в 1933 году «Искреннюю историю французской нации». Этот труд, осмеянный Люсьеном Февром, сейчас оценивается французскими историками как смелая попытка создания

крупного исторического полотна¹. О влиятельности традиционной концепции истории говорит и фраза из «Введения» к «Апологии истории» Марка Блока. Он вспоминает, как в день вступления немцев в Париж один из окружавших его французских офицеров пробормотал: «Так что же, история нас обманула?» Вдумаемся: в сознании офицера, собиравшегося воевать до победного конца, явно господствовали ориентиры истории по Лависсу, и только внезапность «странного поражения» заставила его усомниться в привычных представлениях об истории и ремесле историка.

Впрочем, бастионы «истории по Лависсу» были атакованы не только «слева», со стороны «Анналов», трактовавших историю как социальную науку, но и «справа». Никогда не пресекавшаяся монархическая традиция была представлена в это время трудами Пьера Гакзота и его последователей, противопоставлявших соблазнам современного мира ценности Старого порядка. Эта программа привлекла, например, молодого Филиппа Арьеса, который позже прославился исследованиями в области истории ментальностей, а в те годы был близок к Шарлю Морассу, одному из идеологов ультраправых. Арьес даже какое-то время возлагал надежды на вишистский режим, видя в нем особый исторический проект, призванный вернуть утраченную гармонию патриархального мира² (о своеобразном традиционалистском «месседже» вишистской идеологии можно судить по любопытному архитектурному памятнику — реставрированному в 1940 году замковому ансамблю в городе Жьен на Луаре). Однако традиционализм вишистов не оправдал и самых скромных надежд; к тому же режим быстро скомпрометировал себя соучастием в нацистских преступлениях...

Итак, если в Советском Союзе и Германии (сперва Веймарской, а затем нацистской) открыли новые модели историописания, то во Франции старые традиции все же преобладали, хотя и утратили монополию. Да и после Второй мировой войны эти традиции оставались живы. Луи Альфан (давний соперник Марка Блока и Люсьена Февра) издал в подражание Сеньобосу свое «Введение в историю», не забыв подчеркнуть, что родную науку надо

¹ Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 298. Точно так же сейчас реабилитировано «Введение в изучение истории», чья репутация была сильно подпорчена остроумной, но далеко не во всем справедливой критикой того же Февра.

² *Aries Ph. Le temps de l'histoire.* Monaco, 1954; рус. пер.: Арьес Ф. *Время истории* / Пер. с фр. М. Неклюдова. М.: ОГИ, 2011..

защищать от нападков, ибо «полезность исторических исследований никогда еще не оспаривалась столь ожесточенно, как теперь».

Хотя студентов Сорбонны еще долгие годы учили писать историю по пособиям Сеньобоса и Альфана, вне школьных и университетских стен Люсьену Февру и его преемнику Фернану Броделю все же удалось утвердить свое направление в качестве доминирующего. Этому способствовали и героический ореол расстрелянного гитлеровцами Блока, и репутация «бунтарей» и «левых», подкрепленная мощным послевоенным влиянием марксизма. Вместе с тем они умели находить общий язык с властью и, что немаловажно, добились благосклонности американских фондов (в частности, фонда Рокфеллера, предложившего нечто вроде «плана Маршалла» для европейских социальных наук). Истории Броделя удалось потеснить в этой конкуренции столь серьезных соперников, как социология Жоржа Гурвича и структурная антропология Клода Леви-Стросса. Борьба велась не только за деньги фондов, но и за то, какая дисциплина станет объединять гуманитарные науки. Материальным выражением этих успехов был рост влияния и тиражей «вторых „Анналов“» (как называют их историографы), а также создание особой Шестой секции Высшей школы практических исследований, позже ставшей Высшей школой исследований по социальным наукам.

Разумеется, эти успехи базировались на солидных научных достижениях. Славу Броделю принесло его «Средиземноморье в эпоху Филиппа II». В этом трехтомном исследовании было сформулировано представление о существовании трех различных скоростей исторического времени: времени «большой длительности», почти неподвижных, медленно меняющихся структур (аграрный пейзаж, типы семейной организации), времени «средней протяженности» (торговые пути, государственные структуры) и кратковременной истории, событийной¹. Бродель использовал для объяснения метафору моря. Взор человека, впервые увидевшего море, прикован к пене на гребнях волн, но опытный моряк знает, что все зависит от глубинных течений. Точно так же историки предшествующих поколений слишком увлекались внешним, событийным рядом,

¹ Русский перевод: *Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II*. Пер. с фр. М. Юсима. Часть 1. Роль среды. М.: Языки славянской культуры, 2002. Часть 2. Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. М., 2003. Часть 3. События. Политика. Люди. М., 2004.

пенной политических катаклизмов, между тем как по-настоящему понимать события может лишь тот, кто знает их истинные, глубокие, читай — экономические и социальные, причины.

Схожим был подход и Эрнеста Лабрусса, ученика Франсуа Симиана, блестящего педагога, подготовившего несколько поколений историков. Начав с экономической истории¹, Лабрусс перешел затем к истории социально-политической, вскрыв, как он считал, подлинные причины Французской революции, заключавшиеся в совпадении нескольких конъюнктурных кризисов с кризисом структурным. Именно он предложил делить историю на три уровня: «экономики», «общества», «цивилизации». История на этих трех уровнях течет с разной скоростью. Быстрее всего — на уровне экономики; социальные структуры изменяются медленнее, лишь постепенно уступая требованиям экономики; еще медленнее трансформируются идеология и культура, выступающие чаще всего в роли тормоза, лишь задним числом реагируя на изменения, происходящие сначала в экономической, а затем в социальной жизни. Эта весьма вынятная и стройная концепция на долгие годы была запечатлена в подзаголовке «Анналов», которые с 1946 по 1992 год именовались так: «Анналы. Экономики. Общества. Цивилизации».

Таким образом разрешался спор между Сеньбосом и Симианом. История — это не группировка единичных фактов политической жизни, событий и биографий королей или президентов, а социальная наука о наиболее общих, повторяющихся общественных явлениях. Мастерство историка определялось теперь не столько способностью осуществить внешнюю и внутреннюю критику документа, сколько разработкой научно обоснованного вопросника, при помощи которого можно было бы формализовать материал, удалить все случайное, единичное, связанное с локальным контекстом, а затем построить серии данных, относящиеся к истории «большой длительности», анализировать социальные структуры, экономические процессы. Такая история, изобилующая таблицами и графиками, считалась «научной», в отличие от истории традиционной — «историзирующей», «событийной».

¹ *Labrousse E. Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII^e siècle. Paris, 1933.*

Движение, рассматривавшее историю как социальную науку и теперь уже неоспоримо возглавляемое «Анналами», совпало во времени с очередным бурным ростом численности студентов и созданием новых преподавательских мест. Вместе с тем появилась и новая, ранее почти неизвестная, разновидность историков, которые не были ни университетскими преподавателями, ни архивистами, но работали в научно-исследовательских лабораториях и центрах. Хотя многие историки все еще предпочитали писать по старинке, а «национальный миф» Лависса сохранял свои позиции по крайней мере в образовании, это был золотой век «Анналов». Тиражи журнала росли, ширилась его международная слава, а изобретательные американцы придумали термин: «школа “Анналов”». Когда же за границей произносили слова «история à la française», то было ясно, что речь идет о «социальной», то есть о «научной» истории.

Важные изменения произошли к концу 1960-х годов. Франция перестала быть колониальной империей. Стало очевидно, что она покидает клуб великих держав. Стремительно изменился облик страны: деревни обезлюдели при жизни одного поколения, студенческая революция мая 1968 года бросила вызов обществу потребления и традиционным образовательным структурам. Все это влияло на сознание историков. Главной переменной было заметное охлаждение к идее прогресса. Победа Броделя в соперничестве с антропологией Леви-Стросса оказалась в некотором роде пирровой: новое поколение историков ринулось осваивать исследовательские территории, ранее бывшие уделом антропологов. Один за другим последователи Броделя и Лабрусса обращались к изучению обычаев, сопутствующих рождению, женитьбе и смерти; предметами их исследования становились тело, сексуальная жизнь, культура еды, картина мира в сознании простых людей. Причем с этой точки зрения изучались не только общества, затерянные где-нибудь в бразильской сельве, но и сама Франция. Книга Э. Ле Руа Ладюри о Монтайю, окситанской деревушке XIV века, где пустила корни ересь катаров, неожиданно стала бестселлером¹. Это произошло вовсе не потому, что читателя заинтересовали перипетии борьбы церкви против еретиков, его привлекало к этой книге то, что автор восстанавливал полную картину повседневной жизни крестьян,

¹ *Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня. Екатеринбург, 2001.*

от их представлений о загробной жизни до содержания доверительных бесед кумушек, вычесывавших в головах друг у друга насекомых.

В то же время не слабела вера историков в количественные методы, — вера, подкрепленная стремительным развитием вычислительной техники. Оказалось, что можно не только строить графики колебаний хлебных цен, но и описывать, например, изменение представлений о смерти на основании массового анализа завещаний. Историки нового поколения Жак Эммануэль Ле Гофф, Ле Руа Ладюри, Марк Ферро, Андре Бюргьер и др., возглавившие новую редакцию «Анналов» («третьи “Анналы”»), сравнительно со «вторыми “Анналами”» больше увлекались историко-антропологическими сюжетами, изучением ментальностей, стремились безгранично расширить «территорию историка». Они усилили тенденцию, давно присущую «Анналам»: еще Марк Блок писал, что историк должен не строить для себя башню из слоновой кости, где он вдали от шума толпы будет «объективно» изучать прошлое, но, напротив, интересоваться вопросами, волнующими современников, и задавать эти вопросы изучаемой эпохе, выступать в роли переводчика в диалоге прошлого и настоящего, чтобы помочь обществу лучше понять себя. Книга о Монгайю была и реакцией на стремительное исчезновение мира французского крестьянства, и ответом на активное движение окситанских автономистов, настаивавших на особом историческом пути французского Юга, насильственно ассимилированного Севером в ходе борьбы с еретиками. Дебаты вокруг книги Филиппа Арьеса, посвященной детям и восприятию детства при Старом порядке¹, были в известной степени созвучны спорам о снижении до 18 лет возрастного ценза для избирательного права (не отдаем ли мы решение судеб Франции в руки детей? Начиная с какого возраста ребенка можно считать взрослым? и т. п.). В дискуссиях историков о контрацептивных практиках и сексуальной жизни французских средневековых крестьян можно было находить параллели к полемике левых и правых о свободной продаже противозачаточных пиллль.

Традицию «Анналов» всегда характеризовал отказ от строго научного стиля изложения, но у представителей «третьих

¹ Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 1999.

«Анналов»» эта черта была гипертрофирована, их труды изобиловали «пиротехническими эффектами», интригующими поворотами темы, броскими заголовками, неожиданными аллюзиями — все это обеспечивало внимание широкой читательской аудитории и часто определялось как «возврат к традициям Мишле». Историки все больше напоминали звезд шоу-бизнеса. Они вели постоянные передачи на телевидении (как, скажем, Жорж Дюби с его циклом «Время соборов»), к ним приходила международная слава — показательным примером здесь может служить запоздалый перевод шести^е (!) книг медиевиста Жака Ле Гоффа на русский язык. В 1980 году, во время своей триумфальной поездки по Соединенным Штатам, Ле Руа Ладюри читал лекцию в одном из колледжей Восточного побережья. В аудиторию, рассчитанную на 200 мест, набилось вдвое больше слушателей. Внезапно отказал микрофон, слова докладчика могли расслышать только сидевшие в первых рядах. Однако никто не покинул зала: ведь собравшихся привлекала не проблематика аграрной истории, а харизма знаменитого ученого.

Поколение «третьих «Анналов»» без ложной скромности нарекло себя «новой историей» или «новой исторической наукой» — впрочем, не афишируя разрыва с поколением Броделя — Лабрусса, подчеркивая, что они по-прежнему заняты написанием «тотальной истории». Однако сам Бродель в 1985 году с горечью констатировал «огромный разрыв», возникший между ним и его наследниками, полностью упустившими перспективу этой «тотальной истории» из виду.

Действительно, в 1971 году Пьер Нора возглавил основанную за год до этого издательскую серию «Библиотека историй». Непривычное множественное число указывало на распыление предметного поля «новой истории», обернувшегося теперь бесконечным множеством изучаемых объектов. Величественная река истории дробилась на очаровательные ручейки, все дальше разбегавшиеся друг от друга. Позже, уже в середине 1980-х годов, французский историограф Франсуа Досс резюмировал этот процесс в характерном названии своей книги: «История в осколках»¹.

¹ *Dosse F. L'Histoire en miettes, des Annales à la «nouvelle histoire». Paris: La Decouverte, 1987.* Название этой книги можно перевести и по-другому, например: «Раздробленная история». «Bibliothèque des histoires», изд-во Gallimard).

С историей действительно происходило что-то необычное. Успехи «новых историков» привели к тому, что национальный миф Лависса рухнул и на уровне школьного образования. История в школе перестала быть рассказом о событиях и о великих личностях, но результаты не радовали. «Нашим детям больше не преподают историю!» — так в 1979 году назвал свою статью в «Фигаро» Ален Деко, положив начало шумным дебатам о школьной истории, исчезавшей из программ и из памяти французских лицеистов.

Начался массовый пересмотр историографических мифов, и привычные «гирокомпасы» быстро вышли из строя. Французы с удивлением наблюдали, как развеиваются голлистская и коммунистическая версии истории Второй мировой войны: легенда о Франции оккупированной, но не признавшей поражения, сражающейся, ушедшей в маки. Постепенно выяснялось, что большинство населения в 1940 году если не с энтузиазмом, то с облегчением узнало о быстром выходе Франции из войны и на первых порах поддержало маршала Петена и правительство Виши. В то же время так называемые историки-ревизионисты (их еще называли «негационистами», т.е. «отрицателями») задавали вопрос: «А вообще был ли Холокост и газовые камеры? Не является ли это очередным мифом?»

Под влиянием еврейской общины менялось отношение к Холокосту. Если раньше жертвы депортации чтились как граждане Франции, погибшие за свою страну и при этом бывшие евреями, то теперь — как уничтоженные нацистами евреи, которые при этом были гражданами Франции.

Выяснилось, что история не едина, а распадается на память разных этнических и социальных групп. Французские цыгане выдвигали свою версию депортации по расовому признаку. В Вандее настаивали на своей оценке Французской революции, обернувшейся «франко-французским геноцидом». Бретонцы оплакивали битву при Сент-Обен-дю-Кормье, положившую конец независимости Бретани, и в 1970-е годы все чаще развешивали *gwenn ha du* — бело-черное бретонское знамя.

В 1978 году вышла нашумевшая книга Франсуа Фюре «Постижение Французской революции», в которой он разрушал святыню святынь французского исторического сознания — традиционное представление о Французской революции как закономерном политическом следствии социально-экономических причин, и демонстрировал идеологическую ангажированность господствующих «якобинских» версий революционной истории.

Не могли не смутить историков и эпистемологические дискуссии 70-х годов. Сначала философы, а затем и некоторые историки поставили под сомнение утвердившееся понимание истории как социальной науки. Среди критиков выделялись голоса Реймона Арона и Мишеля Фуко, стремившегося доказать, что историки наивно полагают самоочевидным существование объективных социальных структур и понятий, которые на деле являются если не творением чьей-то злой воли, то, во всяком случае, результатом целенаправленного вмешательства в социальную практику.

Исторической реальности, которую ученому только надлежит старательно описать, в готовом виде не существует. История не наука, и она никогда не сможет ею стать, если только не перестанет быть самой собой, — писал в начале 70-х годов историк-антиковед Поль Вейн, соединяя аргументы «критической философии истории» Реймона Арона с аргументами, заимствованными у Мишеля Фуко. Удел истории — не знание, претендующее на научность, а повествование и рассказ, удовлетворяющий любознательность. Историки должны налаживать междисциплинарные связи не с социологами, а с философами, задаваясь вопросами об эпистемологических основаниях своих теоретических практик¹. Все чаще говорили, что историки слишком увлеклись описанием структур, забыв об изначальной функции истории — рассказе о событиях², и даже — что история больше похожа на искусство (впрочем, это не мешало историкам громко возмущаться тем, как плохо финансируется наука).

Становилось модным утверждать, что историческая реальность не воссоздается историком, а конструируется им; причем это конструирование, как убеждали французов заокеанские адепты «лингвистического поворота», осуществляется посредством языка. Возвращались те формы, которые макросоциальная история, казалось бы, навсегда отвергла: «рассказ» вместо «количественного анализа структур», «субъективность» вместо «объективности», «событие» вместо «истории большой длительности».

Конечно, большинство историков продолжало работать по старому, опираясь на источники по рецептам Ланглуа и Сеньбоса

¹ См.: *Veyne P. Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie*. Paris, 1971; русский перевод: *Вен П. Как пишут историю*. М., 2003.

² Как показал Поль Рикёр, сам Бродель тоже не был чужд истории-рассказу — только он рассказывал биографию не человека, а Средиземного моря.

или заполняя статистические таблицы, как учил Лабрусс, и лишь изредка устремляя взор в заоблачные высоты эпистемологических споров. Но поскольку «ситуация в верхах» делалась все менее понятной, они только пожимали плечами, не без основания полагая, что гремящие там громы к ним не относятся. Впрочем, научная ситуация зримо изменилась: «время сомнений», как называют теперь рубеж 1980—90-х годов, поставило перед сообществом историков целый ряд проблем. Сейчас, спустя два десятилетия, можно сказать, что эти проблемы так или иначе были решены.

Сами «Анналы», подвергшиеся небывалой критике, во многом изменились. Новые, «четвертые “Анналы”» успешно маневрировали. От наследия Лабрусса было решено избавиться как от балласта: в 1992 году журнал отказался от «лабруссовского» подзаголовка, и историки 1950—60-х годов были обвинены в тяжком грехе «реификации абстрактных категорий» — в том, что они приписывали реальное существование «классам», «социальным группам» и иным общностям, представлявшим собой лишь технические понятия, существующие в сознании ученых. На страницах «Анналов», ставших скорее площадкой для экспериментов, чем провозвестником нового направления, теперь выдвигались и обсуждались самые разные исследовательские программы: «прагматический поворот» Бернара Лепти; микроистория, достоинства и недостатки которой внимательно анализировал Жак Ревель; «культурная история социального» (*histoire culturelle du social*)^f Роже Шартье и др.

Политическая история, даже не включенная в словарь «Новая история» (1978), менее чем через десять лет вновь оказалась в центре внимания. Правда, теперь зачастую имелась в виду обновленная политическая история, многому научившаяся и у структурного анализа, и у антропологии; да и называлась она по-новому: «новая история политического» (*nouvelle histoire du politique*), «социальная история политического» (*histoire sociale du politique*), «история политической культуры» и пр. Возрос также интерес к тому, что по французским меркам считалось «сиюминутной историей», «историей настоящего времени»¹, — отсюда освоение непривычной для французов «устной истории».

¹ Напомню, что во французских университетах «новая история» охватывает период с 1500 по 1789 год (в некоторых, наиболее новаторских, ее границы раздвинуты до 1815 года), история «современная» распространяется на XIX век и доходит до Второй мировой войны. Последующим периодом занимаются историки международных отношений. Но теперь появляется

Самой существенной новацией стало осознание историками важности проблемы исторической памяти. Конечно, с феноменом памяти историк сталкивался всегда. Но прежде его интересовало главным образом то, насколько хорошо автор исторической хроники или мемуаров запомнил события. Историк делал необходимую поправку на ошибки памяти, на непредумышленную забывчивость, а затем работал уже не с памятью, а с пресловутым «историческим фактом» как таковым. Теперь же память о событии оказалась для историка не менее, а подчас и более интересной, чем само событие.

Еще в первой половине XX века Морис Хальбвакс увидел в коллективной памяти элемент, конституирующий идентичность социальной, профессиональной или любой другой (например, этнической) группы. Начиная с 1970-х годов память различных групп все больше требовала внимания общества: каждая из этих групп предлагала рассмотреть, наконец, и ту версию истории, которую считала достоверной она. Причин такого оживления было множество. Наверное, самая главная — стремительное изменение демографического ландшафта (еще в 50-е годы XX века большинство населения составляли крестьяне, а уже в 70-е их насчитывалось не более пяти процентов). Пьер Нора настаивает на решающем значении нефтяного кризиса середины 1970-х годов⁸. Думаю, можно говорить и о более общих причинах: новом этапе глобализационных процессов, возникновении постиндустриального или информационного общества и т. п. Так или иначе, эти перемены могли привести к утрате традиционных форм передачи и сохранения памяти, а следовательно, и национальной идентичности. Не случайно Фернан Бродель в последние годы своей жизни (он умер в 1985 году) работал над трудом, посвященным вопросу о французской идентичности, о том, «что такое Франция»¹.

«Франция — это память». Так ответил на вопрос, поставленный Броделем, Пьер Нора, выступивший инициатором масштабного и одного из самых успешных исторических проектов последнего времени — семитомного издания «Места памяти» (1984—1992)².

особая специализация: «история настоящего времени» (*Histoire des temps présents*).

¹ Braudel F. *L'Identité de la France* (3 vol.). Paris: Arthaud, 1986 (рус. пер.: Бродель Ф. Что такое Франция? М., 1994—1997. Т. 1—3).

² На русском языке издано нечто вроде антологии, включающей отдельные статьи из этого коллективного труда. См.: Нора П. Франция-память. СПб.,

К его реализации было привлечено около ста историков. Уже одним этим проект был сопоставим с «Большим Лависсом» столетней давности. Пьер Нора ставил целью своего проекта вернуть память под контроль историков в условиях, когда прошлое становится непредсказуемым (заметим, что «страной с непредсказуемым прошлым» называют не только Россию) и слишком зависящим от императивов настоящего. Разделы труда удивляли своим разнообразием: «Триколор», «Эйфелева башня», «Марсельеза», «Пруст», «Жанна д'Арк», «Солдат Шовен» (имя которого дало термин «шовинизм»). В ходе работы менялась структура издания, менялся и его характер. Первые тома «Мест памяти» составлялись в разгар «эпохи сомнений» — тогда они мыслились как работа по деконструкции отживших стереотипов национального мифа путем раскрытия механизмов их конструирования и функционирования¹. Издание действительно эпатажировало публику, воспитанную на этом мифе. Неожиданным было, например, что Орлеанская дева столь же служила разъединению нации, сколь и ее консолидации. Жанна оказалась разной — и топографически, и политически. Во-первых, о Жанне д'Арк помнили в разных местах разное — в Домреми, Руане, Орлеане, Париже. Во-вторых, была Жанна — кумир роялистов и ультракатоликов, спасительница короля; но была и республиканская, народная Жанна. Была Жанна, почитаемая во время войны солдатами вермахта как борец с ненавистными англичанами (к тому же родившаяся в Лотарингии, фактически на территории Германской империи), но была и Жанна, чье имя носили отряды Сопrotивления...

Проливает ли это исследование свет на реальную Жанну? Нет, конечно. Это скорее история символических значений образа

1999. (Ср. обоснование другого варианта перевода названия капитального труда Нора — «Памятные места» — в примечании к реферату книги Ф. Артога, опубликованному в №5(20) журнала «Отечественные записки» за 2004 год). — Примеч. ред. журнала «Отечественные записки».)

¹ Смею высказать предположение, что в настоящее время этот этап в основном пройден. Из номеров «Анналов» последних нескольких лет почти исчезли «теоретические» статьи, которые предлагали бы какой-нибудь очередной «поворот». Историки пришли к осторожному консенсусу по вопросу об объективности истории. Работа по постоянному пересмотру «национального исторического мифа» стала уже привычной и выставляемой на обозрение самых широких кругов читателей. Не то чтобы кризис закончился — к нему привыкли.

Жанны, история множасьихся способов его использования. То же можно сказать и о других «местах памяти», рассмотренных в издании Нора, — Пантеоне, Версале, «триколоре»... Отсюда черты своеобразного «анти-Лабрусса», которые приобрело это издание. Однако его вполне справедливо характеризовали и как «нео-Лабрусс», ведь в нем историкам вновь, как и сто лет назад, — правда, в существенно изменившихся условиях — было предложено включиться в поиск национальной идентичности.

Поиск этот был неразрывно связан с осмыслением феномена памяти, которая живет по своим законам и, по сути, враждебна истории. Память менее всего озабочена выявлением объективной истины, подкрепленной источниками, и в любой момент готова подмять под себя историю, «меморизировать» ее (думаю, историографические процессы на постсоветском пространстве хорошо иллюстрируют этот тезис). Но и научная история, подвергающая прошлое беспощадному критическому анализу, убивает память. Чтобы разрешить эту коллизию, историк должен работать как профессионал, прослеживая процессы, происходящие с памятью, осторожно модифицируя ее в соответствии с данными науки, и тем самым трудиться над уточнением национальной идентичности, сообразуя ее описание с изменившимися условиями¹.

¹ Историк берет на себя функции «распорядителя национальной памяти». А способы его воздействия на память общества многообразны: от преподавания, изменения школьных программ и популяризации научных исследований (отдельного внимания заслуживает успех популярного французского журнала «L'Histoire», с 1978 года неуклонно наращивающего тиражи) до различного рода исторических праздников и коммемораций, использования медийных средств и выступления как эксперта на судебных процессах. Но главное не в этом. Кошмар взаимного разрушения памяти и истории может перестать восприниматься как кошмар. Те или иные формы давления существовали и будут существовать, но если ты отдаешь себе отчет в их существовании, то это уже важный шаг в сторону свободы. Важно также, что сами историки в большинстве своем не только осознали сложность взаимодействия памяти и истории, но и пытаются приучить к этому общественность. Примером может служить совсем новая книга: *1515 et les grandes dates de l'histoire de France revisitées par les grands historiens d'aujourd'hui / Sous la dir. d'Alain Corbin*. Paris: Seuil, 2005. Она построена на основе списка памятных дат французского национального мифа: воспроизводится картинка из школьного учебника начала XX века и краткое резюме из того же учебника, а следом дается комментарий современного историка, показывающего, как сегодня наука трактует это событие.

Слово, которое чрезвычайно широко употребляется в современной Франции, но не так легко поддается переводу на русский, — *patrimoine*. Первое его значение в словарях французского языка — «семейное имущество, унаследованное от предков», далее следует «вотчина» и только под конец — «национальное культурное достояние». Но уже в начале 1990-х годов последнее значение явно стало наиболее употребительным. В нашем представлении слова «Национальное культурное достояние. Охраняется государством» неотделимы от образа какого-то обветшалого здания с прибитой к фасаду табличкой. У французов такая ассоциация тоже возникает (правда, здание почище и доска поновее), но ею дело не ограничивается. Для них *patrimoine* прежде всего означает общее достояние, которое объединяет французов, делает их общностью; иначе говоря — субстрат национальной идентичности.

Эта идея прижилась и в последние десять лет находит все более ясное выражение в школьных учебниках: именно она призвана сообщить лицеистам чувство принадлежности к единому целому, наследуемому всей нацией (этим, кстати, прежде всего объясняется нежелание французского правительства допускать в школьные классы барышень в хиджабах). Согласно министерским предписаниям, преподавание истории должно приобщать ученика к национальному наследию и культуре, формируя у него осознанную память, которая даст ему возможность самоидентификации. Наверное, не так уж и плохо, если мысль о владении богатым и уникальным культурным наследием несколько потеснит мысль о принадлежности к нации, которой уготована великая историческая миссия. Во всяком случае, окружающим спокойнее.

Теоретические тексты самого Пьера Нора, где он комментирует или корректирует свою генеральную идею, достаточно сложны для понимания. Но рядовой французский историк и не пытается вникать в них очень глубоко: он давно занят практической реализацией этой идеи. А точнее — уверен, что она принадлежит ему самому. «Национальное культурное достояние» заботит буквально всех, страна уже давно живет постоянными ожиданиями очередной «коммеморации». Образовался даже слой историков-профессионалов, которые неплохо зарабатывают на организации различных исторических празднеств, составляя для них сценарии, особым образом трансформируя праздничное пространство, готовя к изданию каталоги и книги, приуроченные к памятным датам.

Впрочем, в этой работе так или иначе участвуют почти все историки. Приведу конкретный пример. В «Словаре культурного достояния Бретани»¹ наряду с многочисленными замками, церквями, дольменами и менгирами упоминаются бретонские религиозные процессии (*pardons*), или обычаи церковного благословения моря; причем авторы не боятся писать, что эти обычаи вовсе не «восходят к незапамятным временам древних кельтов», как говорится в путеводителях, а имеют весьма позднее происхождение (не ранее XIX века), равно как и многие «традиционные» блюда бретонской кухни — скажем, знаменитые блины из гречневой муки. В «Словаре» есть и статья «Кораблекрушения». Для Бретани, чья экономика зависит от моря (туризм, рыболовство, сбор морепродуктов), крушения танкеров и разливы нефти каждый раз оборачиваются трагедией. Вместе с тем эти катастрофы как никогда сплачивают население провинции: десятки тысяч добровольцев участвуют в очистке берегов от нефти, спасают прибрежную фауну, организуют сбор средств. А затем подают коллективные иски против транснациональных компаний и оказывают давление на национальные и европейские политические структуры, вынуждая их ужесточить природоохранное законодательство. Иными словами, кораблекрушения способствуют формированию бретонской идентичности и поэтому занимают законное место в издании наряду со статьями «Монастыри», «Сидр», «Революция» и др.

Этот словарь — образец удачной коллективной работы историков, занимающих самые разные политические и методологические позиции, но действующих благодаря своему профессионализму вполне слаженно, как единая команда. Может быть, поэтому Бретань, несмотря на особую этнолингвистическую ситуацию и историческую судьбу, не поддается искушению сепаратизма.

А вот о Корсике этого не скажешь. Корсиканская региональная идентичность, региональная (или уже национальная?) память строятся в большей степени по «страдательному» принципу: «французская оккупация», «колониальная эксплуатация» острова метрополией, «заклученные патриоты». Еще в 1960-х годах по этому же пути двигалось конструирование и бретонской идентичности, однако именно историки — из университетов Ренна, Бреста, Нанта — сумели изменить ситуацию (показав, в частности, что

¹ Dictionnaire du patrimoine breton / Dir. par Alain Croix et Jean-Yves Veillard. Rennes: Éditions Apogée, 2000.

«золотой век Бретани» вовсе не закончился присоединением ее к Франции).

Историки конца XX и начала XXI века проявили неожиданную солидарность в отстаивании принципов научной объективности дисциплины. Можно много говорить об относительности (релятивизме) истории, сомневаться в ее научности и посмеиваться над ее претензиями на беспристрастность. Но это дозволено лишь до известного предела. Выражающим сомнения в том, что нацистские газовые камеры действительно существовали, сообщество, сплотив ряды, указывает на дверь. С другой стороны, французские историки, изучающие Холокост и механизмы депортации, не боятся оспаривать завышенные цифры жертв. Как поясняет Франсуа Бедарида, любая неточность или преувеличение может лишь сыграть на руку «негационистам»: придравшись к ошибкам, они будут ставить под сомнение даже заведомо верные сведения¹. И хотя тот же Бедарида советует не впадать в крайности, лавировать между «Харибдой релятивизма и Сциллой неопозитивизма», историки обычно не отказываются свидетельствовать на процессах против нацистов, а теперь и других военных преступников (например, тех, кто применял пытки во время войны в Алжире). Впрочем, их приглашают туда как специалистов, выступающих от лица объективной науки, а не для того, чтобы они рассказывали судьям о сложностях эпистемологии исторического знания.

Попробую подвести итоги.

Сейчас во Франции нет какого-то единого или хотя бы преобладающего способа писать историю. Но при этом «практикующие историки» по-прежнему не сомневаются, что ее нужно писать по источникам. Они могут заговаривать о кризисе истории, но, боюсь, видят его иначе, чем эпистемологи: недостаточное финансирование, сложности перехода образования на Болонскую систему, общее падение уровня школьного образования. Действительно, в силу всех этих обстоятельств или, может быть, из-за изменения «типа исторического мышления» (*régime d'historicité*), о котором пишет Франсуа Артог², молодые французы довольно плохо ориентируются в хронологии (вопрос о том, во время какой войны

¹ *Bedarida F. L'histoire entre science et mémoire? // L'histoire aujourd'hui / coordonné par J.-C. Ruano-Borbalan. Paris, 1999 P. 340.*

² См. реферат книги Фр. Артога — *Мильчина В.А.* [Реферат кн.]. *Артог Фр. Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени // Отечественные записки. 2004. №5(20). С. 214—225.*

происходит действие «Фанфана-Тюльпана», ставит в тупик девять из десяти опрошенных).

Французские историки не обязательно станут спорить с тем, что история может подчиняться законам нарративного жанра (в конце концов, любовь к красноречию у французов в крови), но при этом они убеждены, что ее следует писать в соответствии с определенными нормами, нарушать которые позволено очень немногим. Они считают, что результаты исследований должны быть изложены так, чтобы коллеги могли подвергнуть их критической проверке. Контролирующая роль профессионального сообщества в высшей степени значима: в конце концов, именно оно выносит суждение если не об истинности, то по меньшей мере о научной обоснованности выводов того или иного историка.

Это сообщество может аплодировать изощренной интеллектуальной вольтижировке на страницах «Анналов» или журнала «Le Débat», но никогда не простит историку диссертационную работу, недостаточно подкрепленную источниковым материалом, который по общему негласному соглашению должен быть представлен главным образом неопубликованными, малоизвестными источниками. Диссертация, аналогичная нашей кандидатской, должна иметь существенно больший объем, и требования к ее содержанию тоже предъявляются куда более высокие.

Хороший российский историк вполне конкурентоспособен и как профессионал не уступает своему французскому собрату. Но посредственный французский историк, увы, заметно превосходит соответствующую категорию в России. Все-таки традиции, восходящие ко временам Третьей республики, обеспечивают сообществу французских историков профессиональную устойчивость и здоровый консерватизм. Они не в силах даже представить себе, что можно опускаться ниже определенного уровня. Я, например, так и не сумел объяснить никому из французских коллег, кто такой академик Фоменко и в чем причина его успеха. Фоменковцы просто экономически невозможны в стране, где в историческое культурное достояние инвестируются значительные деньги.

В такой стране история, переживая один «коперниканский переворот» за другим, продолжает быть полезной обществу. Продолжает созидать: если не национальный миф, то патримониальное сознание. Именно это объединяет французских историков.

А в остальном они пишут кто как, как кому удобнее и привычнее.

Комментарий

Статья опубликована в журнале «Отечественные записки»: Уваров П.Ю. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. 2004. № 5 (20). С. 192—211.

Редакция журнала решила организовать специальный выпуск, посвященный социальной роли истории в современном мире. Меня пригласили на обсуждение. Вежливо выслушав декларации о том, что я не занимаюсь и не собираюсь заниматься проблемами историографии, попросили назвать авторов, которые могли бы быть полезны для этого номера. Я дал координаты коллег, но через несколько месяцев выяснилось, что авторы по большей части или сами отказались, или не подошли редакции. Коль скоро я уже взял на себя некоторые моральные обязательства, надо было спасти положение, и я решил изложить свои представления о том, как пишут историю во Франции.

Но это только часть правды.

Другая состоит в том, что две волны подряд выносили меня к этой теме. В 2003 году я защитил диссертацию о французском обществе XVI века, в которой, согласно требованиям жанра, была пространная историографическая глава. В следующем году несколько трансформированный текст диссертации был опубликован в виде монографии, причем именно историографический аспект претерпел наибольшие изменения. Это было связано с необходимостью сделать его доступным более широкому кругу читателей.

Второй «вызов», брошенный мне в 2004 году, исходил от Российско-французского центра исторической антропологии им. Марка Блока в РГГУ. Выяснилось, что их внезапно покинул преподаватель, читавший пятому курсу предмет, именовавшийся «Историография Франции: Движение «Анналы»». К «Анналам», движению и тем более к Марку Блоку я относился с большим уважением, поэтому взялся закрывать очередную брешь. Пообщавшись со студентами, понял, что изучать особенности творчества современных историков бесполезно, но при этом хорошо бы иметь хоть какое-то представление о предшествующем развитии исторической науки и об общем историографическом ландшафте во Франции. Это потребовало на ходу перекраивать программу, обложившись французскими пособиями (мне в ту пору очень помогла книга: *Delacroix Ch., Dosse Fr., Garcia P. Les courants historiques en France 19^e—20^e siècles*. Paris, 2002).

Итак, призыв написать популярную статью о французских историках упал на подготовленную почву. Внимательного читателя может удивить, что статья, опубликованная в 2004 году, содержит указание на книгу, вышедшую в следующем году (см. сноску на С. 53.). Но в Париже эту книгу продавали уже осенью 2004 года, а текст в окончательном виде ушел в журнал лишь в декабре, и пятый номер «Отечественных записок» вышел из печати лишь весной 2005 года.

Статья претендовала на свежесть информации. Но в 2014 году вполне справедлив будет вопрос: что произошло за истекшее десятилетие с французскими историками? Как ни странно, они сталкивались с проблемами, весьма похожими на наши.

Им, как и нам, пришлось пережить реформирование образования и науки. Переход на Болонскую систему был и остается очень болезненным для французского образования, дорожающего своими традициями. При Николя Саркози в 2007—2009 годов преподаватели и студенты выражали бурное возмущение слишком резким курсом на коммерциализацию и «эффективность» образования, равнением на американские образцы. Особенно упорной и продолжительной была общеуниверситетская забастовка 2009 года. Но в итоге реформа все же была осуществлена. Коллеги жаловались мне, что теперь студентов, выбирающих профессию историка, стало намного меньше. Не знаю, насколько обоснованны были разговоры о том, что пришедшие к власти «правые» враждебно относятся к Высшей школе исследований по социальным наукам — как к цитадели «левых». Во всяком случае, «Дом наук о человеке» на бульваре Распай, выстроенный еще при Броделе, опустел. Применив к дому «антиасбестовое законодательство», посчитали, что он наносит вред здоровью. Школе временно выделили здание в новом районе на Авеню де Франс, рядом с Библиотекой Франсуа Миттерана, но ходят слухи о ее переводе в Обервилье — городок, расположенный к северу от Парижа и, говорят, полностью исламизированный.

Основные историографические процессы, о которых упоминалось в конце статьи, развивались по предсказанному в ней направлению. Словарь культурного достояния Бретани получил хвалебные отклики и в 2013 году был переиздан. Ситуация на Корсике не стала радикально лучшей, но все же в 2006 году вышел «Корсиканский исторический словарь». Французы перестали с порога отбрасывать претензии «лингвистического поворота»; получила права гражданства и «интеллектуальная история»; появились и сторонники «гендерной истории». Однако все чаще звучат слова и о возвращении обновленной социальной истории, впитавшей в себя все новые достижения когнитивных наук. Французские историки доказали, что они не утратили вкус к монументальным полотнам — в 2009 году вышла объемная «Histoire du monde au XV^e siècle» («Всемирная история XV века»).

Увы, французская историография понемногу сдает позиции на мировой арене. Все реже к французскому прибегают как к языку научного общения на международных конференциях различного рода. Французские историки, особенно молодые, теперь относительно свободно изъясняются по-английски. Они охотно цитируют англо-американских коллег, хотя те в своих работах часто склонны игнорировать труды французских современных исследователей, даже если речь идет, например, об истории французской Реформации. Это грустно, но и это созвучно российским проблемам.

Остается, впрочем, область, в которой французский приоритет по-прежнему неоспорим. Это «история-память», тема, к которой приковано теперь и общественное внимание. В 2000-х годах появились новые «мемориальные законы». Уголовным преступлением являются отрицание не только Холокоста, но и геноцида армян в 1915—1917 годов; атлантической работорговли, а также позитивного вклада Франции в развитие колоний (уступка правым). На очереди находились еще десятки подобных законопроектов.

Обеспокоенные историки создали Комитет бдительности под председательством замечательного историка Жерара Нуарьея, призванный контролировать использование истории властями (Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire). Схожие цели преследовала и ассоциация «Свобода для истории», возглавляемая Пьером Нора, направленная против «мемориальных законов» и стремления наложить законодательные оковы на профессиональную деятельность историка. Выпущенный ассоциацией манифест разъяснял, чем не является история и решения каких задач от нее нельзя требовать. Обеспокоенность ученых не была беспочвенной — не только на задворках Европы утверждалась своеобразная «политика истории», но в самой Франции, где отношения профессиональных историков и власти, казалось, давно уже устоялись, баланс оказался нарушен. Президент Николя Саркози начал чрезвычайно активно апеллировать к истории в своих речах и решениях, слишком откровенно отводя ей роль средства укрепления национальной идентичности. Особенно возмутило историков решение президента о создании «Дома истории Франции», где французам надлежало представить версию национальной истории, которой можно гордиться. Надо сказать, что такая позиция была понятна избирателям, отдававшим свои голоса за «Сарко», но прямолинейность этого решения вызвала бурю негодования у французских интеллектуалов, столь долго настаивавших как на сложности процессов познания истории, так и на сложности взаимодействия между собой различных идентичностей. Протестовали не только против угрозы создания и увековечения единой трактовки «официальной версии национальной истории», но и против того, что «Дому» выделялось место в архитектурном комплексе Национальных архивов. Сами архивы предполагалось перенести в другие места, что создавало трудности архивистам и историкам. После поражения Саркози в 2012 году и прихода к власти Франсуа Олланда проект создания «Дома истории Франции» был аннулирован. Но... ведь до новой президентской кампании не так далеко...

Однако и в 2014 году французские историки по-прежнему пишут историю так, как кому удобнее и привычнее.

^a Французская ученая конгрегация бенедиктинского ордена, созданная в 1621 году, соединяла духовные упражнения и следование монашескому уставу с деятельностью по изданию исторических памятников. Маврист

Жан Мабийон и его коллеги считаются родоначальниками — науки об определении подлинности документов.

^b Когда Ранке начинал читать лекции в Берлинском университете (1824), философию там преподавал Гегель, избранный в 1831 году ректором.

^c Отец Люсьена Февра был филологом-классиком, профессором в Нанси, отец Марка Блока — историком-антиковедом, преподавателем в Высшей нормальной школе и в Сорбонне.

^d Со времен монархии повелось так, что читать публичные лекции в Коллеж де Франс доверяют только лучшим и самым авторитетным профессорам в своей области.

^e Включая переиздания, к сегодняшнему дню на русском языке издано 15 книг Жака Ле Гоффа.

^f Моей статье выпала большая честь, ее редактировал Марк Гринберг, утонченный филолог. Никогда с моим текстом не работали столь добросовестно. Но Марк никак не мог согласиться с тем, что *histoire culturelle du social* невозможно перевести на русский язык простым употреблением родительного падежа, и настаивал на варианте «культурная история социальной сферы» (и, соответственно, — «новая история политической сферы», «социальная история политической сферы»). Доверяя чувству языка, свойственному поэту-переводчику, я согласился. Однако десять лет спустя то, что считалось сленгом франкофонных гуманитариев, стало уже привычным для всех. И мне кажется, что такими понятиями, как «культурная история социального», «социальная история политического», никого не удивишь. В конце концов, я помню времена, когда применение множественного числа к словам: «практики», «дискурсы» или «идентичности» — считалось недопустимым галлицизмом. А теперь без этого и фразы не выстроить.

^g «Война Судного дня» и последовавшее за ней нефтяное эмбарго, наложенное странами ОПЕК на Западный блок, привели к галопирующему росту цен на нефть и к первому за послевоенный период серьезному спаду экономики. Становилось ясно, что вера в безостановочный прогресс экономического и социального развития уходит в прошлое. В связи с этим менялось и восприятие истории.

ПУНКТИР НЕНАПИСАННОЙ КНИГИ

Ольга Игоревна Варьяш (1946—2003) была необычайно ярким человеком. Но говорить об этом сейчас излишне — достаточно почитать ее письма¹ или просмотреть третий выпуск посвященного ей сборника «*Historia animata*»², в котором друзья Ольги Игоревны делятся своими воспоминаниями. Важнее обратить внимание на то, что кропотливый труд составителей, или, точнее сказать, — реконструкторов, дает нам редкую возможность увидеть то, что автор научной книги, как правило, маскирует. Перед нами открывается долгий путь историка к своей главной теме: то, как он пытается отыскать источники; как один за другим пробует разные подходы и методы; как мучительно вырабатывает свой собственный язык описания; как получает различного рода «побочные эффекты», стараясь также пустить их в работу; и как в результате не успевает придать окончательную форму тому, о чем только-только начал догадываться, что уже начал проговаривать своим друзьям и коллегам. Этот сюжет вполне самодостаточен, поскольку то, как работают историки, интересно всегда, а сейчас — в особенности, бурный успех в нашей стране такого направления, как интеллектуальная история, свидетельствует об этом.

Но для классической социальной истории всегда важен был исторический контекст события, портрет той социальной группы, к которой принадлежала описываемая историческая личность. Более того, описание события или личности для того и предпринималось, чтобы глубже постичь социальный контекст или лучше описать социальную группу. Сейчас над этим подсмеиваются, но мы в это верили; верила в это и Ольга Игоревна. Поэтому будет уместно заметить, что речь в «Пиренейских тетрадах» идет не только об авторе и не только о средневековых сюжетах, но и о том, как наша дисциплина, гордо именующая себя медиевистикой, уже во второй раз на протяжении одного века неожиданно стала свидетельницей, участницей, заложницей того, что марксисты назвали бы «социальной революцией». Наша наука изменялась, стремясь остаться неизменной, и оставалась сама собой, делая вид, что стремительно меняется. И в этом размышлении над судьбами российской медиевистики пример О.И. Варьяш как нельзя более важен.

Как бы то ни было, для молодых читателей этой книги, не имеющих опыта советской жизни, надо объяснить некоторые вещи, без чего значение большинства собранных здесь статей будет непонятно.

Любое сообщество имеет свои ритуалы, ярче всего наблюдаемые во время застолья. Так, обычно существует какой-то обязательный мобилизующий тост: «За тех, кто в море!» — у моряков, «За тех, кто в поле!» — у археологов, «За тех, кто сидит!» — бывших эзков и т.д. У нас такой тост обычно провозглашала О.И., и он звучал так: «За корпорацию!» То, что его произносила именно она, было естественно, поскольку она-то и была олицетворением духа корпорации. Корпорации же помимо прочего всегда свойственно чувство гордости за самое себя. А в советскую эпоху корпорации медиевистов было чем гордиться.

Медиевистика — отрасль истории, изучающая западноевропейское Средневековье (в советское время считалось, что оно простиралась до середины XVII века³), имела несколько выгодных отличий от своих сестер. Будучи, по сравнению с другими, более актуальными дисциплинами не столь идеологически ангажированной, советская медиевистика могла позволить себе роскошь считаться «настоящей» наукой, свободной от влияния конъюнктуры. И поэтому, например, когда на пике горбачевской гласности и массового закрасивания «белых пятен» истории нас спрашивали: «Ну что, плохо сегодня приходится историкам?», — мы с гордостью отвечали: «Это смотря каким историкам! Нам, медиевистам, очень даже неплохо...» Конечно, степень идеологической свободы не стоит преувеличивать, но у советской медиевистики было еще одно важное преимущество: солидная школа, опиравшаяся на давнюю, не прерывавшуюся с дореволюционных времен традицию. Осуществив достаточно успешный синтез с марксизмом, отечественная медиевистика отличалась от большинства смежных дисциплин повышенной требовательностью к профессиональному уровню историка (добротная лингвистическая подготовка, опора на источники, их скрупулезный анализ, максимально полный учет того, что сделано предшественниками). То, что медиевистика вполне соответствовала этому образу, считали не только сами медиевисты, но и большинство их коллег.

Ценностью считалась погруженность в источники. С теорией же отношения складывались непростые. Теория была одна — марксизм-ленинизм, и представить себе в то время историка,

работавшего вне марксистской парадигмы, было непросто. Но — за редким исключением — советские медиевисты занимались теоретическими проблемами не слишком рьяно. В углубленном профессионализме, в специализации, в тяге к эмпирике видели своего рода убежище от «методологии», занятия которой в виде неизбежной дани были необходимы, но излишний энтузиазм выглядел здесь неуместным. Теоретизировать в официальном ключе было очень уж тоскливо, сказать что-то новое — небезопасно, а лавирование между этими двумя полюсами требовало слишком большого усердия и в конечном счете порицалось негласным мнением сообщества. Так, в 1950-х годах медиевисты в большинстве своем отвергли теоретические построения Б.Ф. Поршнева как слишком абстрактные. Да и позже, когда тот или иной уважаемый историк-эмпирик слишком увлекался «методологией», это могло вызвать не только настороженность идеологического отдела ЦК или иных компетентных органов, но и недоумение коллег: «Добро бы халтурщик какой-нибудь, тогда все было бы ясно — иди в методологи, раз ничего другого не умеешь. Но ведь он-то такой серьезный был историк, по источникам свои работы писал, а теперь вот занялся бесплодным теоретизированием!»

Молодым читателям надо пояснить, что обязательность марксизма вовсе не означала полной унификации. Каждый исследователь имел свои особые приоритеты в цитировании — кто предпочитал раннего Маркса, кто позднего Ленина, кто решения очередного съезда КПСС, а кто загадочного итальянского коммуниста Антонио Грамши. О.И. Варьяш, например, не без легкого фрондерства иногда именовала себя «энгельсисткой». Знакомство же с иными традициями гуманитарного знания затруднялось по цензурным соображениям. И хотя узнать, например, о неокантианстве, о символическом интеракционизме или о структурализме было возможно, однако аллергия на официальное теоретизирование приводила к отторжению вообще всякой философии. Историки в доверительных беседах любили повторять фразу знатока русского Средневековья Б.А. Романова: «Заниматься методологией — это все равно что доить козла»⁴. Считалось, что естественная для любого историка потребность в обобщении должна была удовлетворяться исключительно за счет материала источников.

Но здесь-то и была заложена величайшая экзистенциальная драма советских медиевистов, суть которой трудно понять все тем же молодым читателям. Ведь медиевист, даже самый заслуженный,

как правило, не только не имел возможности посетить изучаемую страну, но и не верил, что такая возможность ему когда-нибудь представится. Достаточно сказать, что М.А. Барг, Ю.Л. Бессмертный, А.Я. Гуревич, В.И. Райцес, чьи труды были прекрасно известны западным коллегам, стали выезжать лишь в перестроечные времена. Но и их более удачливые, «выездные» коллеги если и появлялись за границей, то чаще всего не для систематической работы в архивах, а для участия в каком-нибудь коллоквиуме.

Что же касается архивов наших, то, за исключением Ленинграда, они были весьма небогаты западными источниками. А ведь вся деонтология советских медиевистов основывалась на пиетете, питаемом к работе с источником! Они, таким образом, чувствовали себя ущемленными в самом важном аспекте своего творчества. Советский медиевист зависел от того, как его источники издавались зарубежными коллегами. Но если источник и был опубликован, судьба историка определялась еще и превратностями комплектования советских библиотек. Достаточно частой была ситуация, что из какой-нибудь шеститомной публикации документов первый том был в Москве, второй — в Минске, третьего вообще не было нигде, четвертый и пятый — «заштабелированы» в Ленинграде, а шестой хоть и имелся в московской библиотеке, но записаться в нее было невозможно⁵. Но и эта сама по себе мучительная ситуация то и дело осложнялась разнообразными сюрпризами. Достаточно вспомнить один лишь пожар в фондах ленинградской БАН в 1988 году, во время тушения которого множество книг оказались затоплены. Скольким исследователям тогда пришлось менять свои темы! Погиб тогда, кстати, один из важнейших для О.И. Варьяш источников.

Вот это профессиональное сообщество медиевистов во всем своем блеске и нищете приняло Ольгу Игоревну в свои ряды на рубеже 60—70-х годов XX века. Она стала ученицей А.Р. Корсунского, эрудированного, чрезвычайно работоспособного и очень взыскательного ученого. Уважительное «шеф» Ольга Игоревна сохранила только по отношению к нему, хотя различных начальников в ее жизни было предостаточно. Ученик, пожалуй, сильнеешего довоенного медиевиста — Н.П. Грацианского, он с предвоенной поры занимался историей вестготской Испании, затем распространил сферу своего интереса и хронологически (на период начала Реконкисты), и территориально, занявшись типологией образования раннефеодальных государств Западной Европы. А.Р. Корсунский концентрировал свое

внимание на проблемах генезиса феодализма и его региональных особенностях на Пиренейском полуострове, на изучении общины, категорий крестьянства. Вот и своей молодой ученице он дал непростую, но очень важную по тем временам тему: «Крестьянство Астури-Леонского королевства X—XII веков». Она работала над диссертацией долго, разбирая положение сервов и либертинов в Леоно-Кастильском королевстве, терминологию латинских хартий Астурии, крестьянскую колонизацию Старой Кастилии, и, наконец, защитила кандидатскую диссертацию на кафедре истории Средних веков МГУ в 1979 году. Но в то же время уже с 1977 года О.И. Варьяш работала в должности младшего научного сотрудника в секторе истории Средних веков Института всеобщей истории АН СССР.

До сих пор мы говорили о самых общих характеристиках советской медиевистики, задавая внешние рамки творческой биографии О.И. Варьяш. Теперь же остановимся на двух обстоятельствах, уже непосредственно связанных с ней самой.

Во-первых, стоит сказать об избранной ею специализации. Изучение севера Пиренейского полуострова — колыбели Реконкисты — опиралось в нашей стране на традиции А.И. Пискорского, развитые и самим А.Р. Корсунским, и отчасти — Л.Т. Мильской и другими испанистами, но в целом история Испании была гораздо менее изученной, чем история Англии, Франции или Германии, на базе которых и сформулирована классическая марксистская теория феодализма. Пиренейскому полуострову досталась репутация периферийного варианта феодализма. Советский медиевист, занимавшийся все той же Англией или Францией, сталкивался с мощными местными школами, активно разрабатывающими социально-экономическую проблематику, зачастую в духе «новой социальной истории», не говоря уже о богатейшей историко-правовой традиции. Но историки Испании, совсем недавно вернувшейся в семью европейских демократий, оставались в ту пору еще достаточно консервативными в своих методах и пристрастиях. Главная их задача виделась в том, чтобы показать, насколько самобытна их национальная история. К тому же «новейшая», т.е. послевоенная, испаноязычная историческая литература поступала в наши библиотеки из рук вон плохо. Новые веяния постепенно проникали из-за Пиренеев — в частности, сказывалось влияние школы «Анналов». Но это почему-то касалось в основном либо истории Каталонии (работы П. Виллара и П. Бонаси), либо более позднего колониального периода. Поэтому О.И. Варьяш приходилось в основном

рассчитывать на свои силы, и привычки заимствовать новейшие методы западных коллег у нее не сложилось.

Во-вторых, надо охарактеризовать поколение медиевистов, к которому принадлежала Ольга Игоревна. Люди сороковых годов рождения — те, кто пришел в науку в 1960-е — начале 1970-х годов, оказались в сложном положении. Эти годы можно назвать «золотым веком» советской медиевистики. Выходило много добротных книг, велись интересные дискуссии, кафедры выпускали много первоклассных специалистов. А вот в медиевистике удалось затем утвердиться очень немногим из выпускников тех лет. По-видимому, здесь сказывались общие для науки любой страны «мальтузианские» факторы. Первое блестящее поколение советских медиевистов составляли историки, получившие классическое образование и вступившие на путь научных изысканий еще до революции. Затем наступил длительный перерыв, и только во второй половине 1930-х годов университетское историческое образование стали восстанавливать⁶. И уцелевшие к тому времени отечественные медиевисты с успехом справились с очень сложной задачей — из студентов, уже лишенных классической гимназической подготовки, они тем не менее сформировали добротных профессионалов-медиевистов, к тому же воспитанных в марксистском духе. Это второе поколение, вступавшее в науку при Сталине, несмотря на войну и репрессии, оказалось вполне жизнеспособным и довольно многочисленным. Представители его оставались в строю по меньшей мере до конца советского периода; а поскольку новых вакансий для медиевистов в столичных вузах, в исследовательских институтах или в музеях возникало весьма немного, то их ученикам найти работу по специальности было очень сложно. Но помимо «мальтузианских» соображений сказывались и иные трудности. Медиевисты второго поколения были людьми разными, очень часто конфликтовавшими друг с другом; но все они сходились в том, что планку профессиональных требований нужно держать очень высоко. Имея пред собой величественный образец своих учителей, они и к молодым своим коллегам предъявляли подчас непомерные требования, отказываясь снисходить до них, как это, судя по всему, делали их собственные учителя. Поэтому критика сочинений деютирующих историков в то время была чрезвычайно острой, и пройти сквозь ее горнило без потерь удавалось немногим. Кандидатская диссертация по истории Средних веков, написанная и защищенная в срок, не превышавший семи лет, в ту

пору негласно считалась «скороспелкой». Как бы то ни было, очень многие из современников не выдерживали и перебирались в другие области науки. Те же, кто доходил до конца, все равно в течение большей части своей жизни оставались в тени мэтров. Следующее, и уже последнее поколение советских медиевистов, которое пришло в науку в конце 1970-х — 1980-е годов, оказалось в куда более благоприятных условиях — как в силу действия все тех же факторов «научной демографии», так и потому, что советская наука мало-помалу становилась все более открытой для новых веяний и, следовательно, все менее советской. Отсутствие или, во всяком случае, недостаточность среднего поколения медиевистов было чревато разрывом традиции, поскольку подтачивалось то, что во все времена именовалось словом «ученичество», нарушалось единство знакового и логического языка корпорации. Это было бы не так серьезно, если бы не грянувшее в конце советских времен обвальное изменение внешнего мира: эрозия марксистской парадигмы, каскад новых методологических веяний, появление новых образцов для подражания. Сегодня студенту-медиевисту легче осилить «Археологию знания» М. Фуко, чем «Происхождение английского парламента» Е.В. Гутновой, не говоря уже о специальных трудах по аграрной истории. И все же корпорация выжила, какая-то преемственность сохранилась. В этом — огромная заслуга и Ольги Игоревны.

Значительная часть ее жизненных сил тратилась именно на это — на поддержание корпоративного единства. По тем же самым поколенческим причинам на ней всегда лежала масса секретарских обязанностей. Здесь и организация советско-испанских коллоквиумов, и редактирование «Пиренейских сборников», равно как и множества ротاپринтных изданий, позже — секретарство в ежегоднике «Средние века». Были и более экзотические поручения и обязанности — от участия в коллективных трудах до неизбывных поездок на овощебазу⁷ и участия в капустниках. Не имея привычки отказываться, она еще и сама взваливала на себя многое, особенно если это касалось укрепления связей внутри своего поколения, к которому она всегда добавляла молодежь. Она бесплатно преподавала аспирантам латынь, не предусмотренную официальными программами, но абсолютно необходимую для профессии. Она никогда не отказывалась от предложения коллег: вместе переводить источник (весьма далеко отстоящий от ее интересов); написать что-нибудь для детей — про «Книгу Страшного суда» или про

восстание Чомпи; поехать на какой-нибудь немислимый коллоквиум, для выступления на котором доклад писался, разумеется, в последнюю ночь; везти студентов на практику; организовывать Летнюю школу. Ведь это все работало на сохранение той самой корпорации, за которую провозглашали ритуальный тост. Вот характерная ее фраза, адресованная молодому представителю конкурирующей научной школы в кулуарах одной конференции: «Пусть наши мэтры конфликтуют друг с другом, но мы, люди одного поколения, всегда останемся друзьями и коллегами»⁸. Слово «коллеги» она любила, и когда стала секретарствовать в ежегоднике «Средние века», то еще в доперестроечные времена сразу же поменяла обращение к читателям с «Дорогие товарищи!» на «Дорогие коллеги!». Эту коллегиальность она стремилась распространить на подрастающее поколение медиевистов, требовательно и в то же время чрезвычайно трепетно относясь к своим ученикам.

Что касается ее главной темы, то в начале 1980-х годов произошло важное событие: О.И. Варьяш «перебросили» на изучении Португалии. Здесь вновь потребуются пояснения. Институт всеобщей истории Академии наук СССР (а сектор истории Средних веков был одним из лучших его, как говорили тогда, «подразделений») еще не забыл в то время своей сверхзадачи — изучить всю Всемирную историю, причем впервые изучить ее единственно правильным образом, с подлинно научных, сиречь марксистских, позиций. Обойти историю какого-нибудь региона, какой-нибудь страны своим вниманием — значит обречь их на то, что они так и останутся достоянием буржуазной и, следовательно, ошибочной историографии; а общая картина всемирно-исторического процесса получится ущербной. Но важных регионов и стран было явно больше, чем научных сотрудников сектора. Поэтому наличие нескольких специалистов по истории одной страны (Испанией в секторе занималось в ту пору три человека) казалось его строгому и по-крестьянски обстоятельному заведующему непозволительным расточительством, в то время как история Португалии оставалась «неприкрытой». Сектором руководил тогда А.Н. Чистозвонов, который также возглавлял комиссию по изучению проблем генезиса капитализма (разумеется, возложив секретарские обязанности на О.И. Варьяш), и Португалия с ее груженными пряностями каравеллами была для него очень важна. Но ему, как истинному советскому медиевисту, было очевидно, что истоки португальского взлета следовало искать в базисе феодального общества, то

есть — в аграрных отношениях. Для этого надо было углубиться в те века, когда складывались характерные черты этих отношений. По всей видимости, это не противоречило интересам самой Ольгой Игоревной, поскольку, занимаясь Астурией и Леоно-Кастильским королевством, она наверняка задавалась вопросом, почему судьба земель непокорного Афонсу Энрикиша, разорвавшего вассальные связи с Леоном, сложилась впоследствии столь удивительным образом.

Представляется, что особо интересовало ее то, что Кастилия и Португалия, бывшие, особенно в начале своей истории, столь похожими, стали, сохраняя свои сходства, все же такими разными. Ведь Ольга Игоревна была матерью девочек-близнецов, и «близнецовый метод» в науке ей всегда импонировал. Историографическая ситуация, в которой она теперь оказалась, также была во многом подобна прежней, испанской. То же (только немного худшее) состояние источников; та же сконцентрированность историков на более позднем, имперском периоде; та же изолированность национальной историографии, долгие годы оторванной от остальной Европы и большую часть своих сил потратившей на доказательство уникальности своей исторической судьбы (только им было еще важно доказать, что и на Испанию они совсем не похожи). Впрочем, была и существенная разница — российская традиция изучения Португалии отсутствовала полностью. Поэтому помимо чисто исследовательских целей на Ольгу Игоревну падала ответственность за то, чтобы познакомить отечественную публику с удивительным богатством лузитанской истории.

С этой задачей она справилась прекрасно, о чем можно судить и по некоторым статьям из «Пиренейских тетрадей», и по книге «Португалия: дороги истории»⁹. Что же касается оригинальных научных исследований, то здесь дела обстояли сложнее.

Советского медиевиста не мог не волновать вопрос о португальском феодализме. Но для изучения португальской деревни катастрофически не хватало источников. Даже португальские историки, после «революции гвоздик» задумавшиеся над тем, были ли у них феодализм в его марксистском понимании, сетовали на скудость источников. Что же говорить об историке московском? Все, что было доступно по публикациям, Ольга Игоревна тщательно перебрала. Так, например, она постаралась выжать максимум информации из скромной публикации королевских пожалований земель. Большие надежды она возлагала на опубликованные

документы, связанные с деятельностью папы Формоза, в бытность того еще епископом Порту. Вот они — истоки португальской истории, IX век! Книга хранилась в Ленинграде, но, когда она, в вечной загруженности своей разновекторной деятельностью, освободила наконец себе время для работы в Питере, грянул уже упомянутый пожар в БАН, закончившийся затоплением фондов. На многие вопросы, связанные с колонизацией бассейна реки Тежу, с характером крестьянских поселений, могли бы ответить археологи. Но в те годы средневековая археология Пиренейских стран делала лишь самые первые шаги.

Пожалуй, единственно доступным типом источников были памятники права. К ним и обратилась Ольга Игоревна, тем более что у нее уже был успешный опыт работы с леоно-кастильскими фуэрос¹⁰.

И вновь для современного читателя необходимо сделать отступление. Никто из советских медиевистов не сомневался в ценности правовых источников. Но право считалось явлением надстроечным. Оно лишь отражало реальность, до сути которой историк надо было докопаться, отбросив камуфляж правовых формул. Право, таким образом, ценилось, но лишь как источник сведений, не более. К тому же советские медиевисты долгие годы воспитывались так, что одним из самых тяжких грехов почитался «формальный юридизм», с которым надлежало вести решительную борьбу. Конечно, в 1980-е годы часто говорили, что борьба с «формальным юридизмом» привела к недооценке роли права в средневековом обществе и что пора наконец исправить это положение. Но каким образом следует его исправлять, было не ясно.

Из статей «Пиренейских тетрадей» видно, как постепенно менялось отношение О.И. Варьяш к правовым источникам. Постепенно, эмпирическим путем, во многом за счет исследовательской интуиции шла она к признанию самоценности права, к необходимости рассматривать средневековое право как систему. Она, как всегда, была здесь абсолютно самостоятельной. Это позже она откроет для себя работы Д. Бермана или антропологов права. Она не очень умела причислять себя к какому-то методологическому направлению. И чем настойчивее к этому призывали, тем упорнее она старалась уйти в свои источники.

А призывы звучали все громче. Советская система кончалась, а вместе с ней, сама не подозревая об этом, кончалась и советская медиевистика. Кипели перестроечные собрания, все больше

напоминавшие митинги. Коллективные труды — святая святых институтских планов — публично обозвали «братской могилой», сменялось руководство секторов (заведующей сектором назначили А.А. Сванидзе, впервые поинтересовавшись при этом мнением коллектива), на альтернативной основе выбрали директора института. Триумфально прошла конференция, посвященная юбилею «Анналов», на которую съехались легендарные историки. Медиевисты, становящиеся все «менее советскими», начали издавать свой альманах «Одиссей». Историки стали ездить в изучаемые страны и вообще за границу. Вскоре отправилась на Пиренеи и Ольга Игоревна. Перевели Фернана Броделя, а затем и Жака Ле Гоффа, и это было только началом той лавины переводов, которую не остановил даже тягчайшей экономической кризис, вызванный в полиграфии гайдаровскими реформами.

Времена становились все более интересными, а жизнь — все более тяжелой. Теперь к многочисленным добровольным обязанностям Ольги Игоревны добавилась необходимость поиска приработков — в каких только диковинных местах она ни преподавала самые разные предметы!

Родной сектор пытался найти свое лицо — провели большую конференцию «Власть и политическая культура» (и Ольга Игоревна выступала с докладом о власти в пиренейском городе), затем — «Человек и общности в средневековом мире» (тогда Ольга Игоревна впервые вышла на правовой аспект сосуществования конфессиональных общностей на Пиренеях). Наконец, затеяли издание многотомной «Истории средневекового города», благо опыт работы над городской тематикой уже был — при участии О.И. Варьяш в 1987 году издали ротапринтный сборник «Городская жизнь в средневековой Европе». Коллективные труды набили всем оскомину, но ведь то были проекты, спускавшиеся «сверху», здесь же впервые шла речь о «своем» издании. Ольга Игоревна не могла не стать душой этого предприятия. У нее на кухне готовился подробнейший план-проспект. Вот оно! Наконец-то все будет как надо, ново, интересно, красиво и, главное, быстро. Ведь мы можем поднять всех «наших», всю корпорацию, всех провинциальных коллег, дадим писать статьи молодым. У нас будет как у Броделя, только гораздо лучше! Задумано было действительно неплохо, но времена менялись — деньги на проект надо было добывать самим, а *Fundraising* был тем редким искусством, овладеть которым Ольга Игоревна так и не сумела. Четырехтомный «Город

в средневековой западноевропейской цивилизации» вышел под редакцией неумоимой А.А. Сванидзе лишь через десять лет после того, как был затеян¹¹. Ольга Игоревна была в нем одним из ведущих редакторов и автором статей о пиренейских городах и большого раздела о роли права в городской жизни. Издание получилось хорошим, особенно учитывая непростые условия, в котором оно осуществлялось, но все же не таким, как замыслили.

Правила игры менялись, сообщество начинало терять свои контуры — кто-то надолго застревал за границей или вообще там оставался, кто-то уходил в политику или в гламурные журналы, кто-то становился культурологом или специалистом по эпистемологии. Для молодых медиевистов появлялись все новые центры притяжения — сектор исторической антропологии, сектор истории частной жизни и повседневности, сектор интеллектуальной истории и другие. Часто для коллег, особенно вне Москвы, формой выживания становилась работа в различных юридических вузах, которые возникали в ту пору как опята на пне. Медиевисты преподавали не только латынь, но еще и историю права. Но если многие становились «правоведами поневоле», то О.И. пришла к правовой тематике без всяких внешних принуждений.

Одновременно выяснилось любопытное обстоятельство — история права вроде бы существовала как самостоятельная, вполне уважаемая дисциплина, а в новых условиях — еще и весьма привлекательная в силу открывшихся финансовых возможностей. Но сотрудничество медиевистов с историками права никак не налаживалось — стороны говорили на совершенно разных языках.

И здесь сказались особенности жизненной и профессиональной установки Ольги Игоревны. Какую-то теорию создавать было надо — нужно было выходить на обобщения, вырабатывать язык нарождающегося сообщества историков, изучающих средневековое право. Отношения со всякой теорией у большинства медиевистов оставались сложными. Для обобщений на основе эмпирического материала не хватало одного лишь своего опыта, и не могло хватить — это уже становилось ясно. Но есть же коллеги, сталкивающиеся с теми же проблемами, на своих источниках наблюдавшие какие-то свои правовые феномены. Ясно, что нужно собраться вместе, поговорить, поднять в конце обязательный ритуальный тост: «За корпорацию!»

И вот с 1994 года один за другим пошли организованные О.И. «круглые столы», сперва в рамках работы над «городским проектом»

и потому — посвященные в основном городскому праву. Первые результаты двух «круглых столов» были опубликованы в изданном «на подножном корму» сборнике «Право в средневековом мире» с характерным для той эпохи тиражом — 150 экземпляров. Затем правовые «столы» начали самостоятельное существование, значительно расширив свою проблематику: «Преступление и наказание» (1996), «Человек перед судом» (1997), «Право как фактор социализации индивида» (1999), «Человек вне закона» (2000), «Без вины виноватые» (2002). Ясно, что это уже был долговременный научный проект, и Ольга Игоревна стала его формальным и неформальным лидером. Правда, проект этот никогда не получал никакого финансирования (это при том, что гранты выделялись тогда под самые причудливые начинания). Коллеги приезжали за свой счет, зачастую останавливаясь в квартире О.И. Варьяш на ул. Дмитрия Ульянова, затем как-то ухитрялись издавать результаты «круглых столов». Почему-то кажется, что иначе и быть не могло; не могу представить Ольгу Игоревну за составлением сметы или написанием формального отчета. Она столько всего делала на чистом энтузиазме, что и это, самое главное дело своей жизни, она не могла вести иначе.

Разумеется, ее деятельность в ту пору была все так же многообразна: она оставалась секретарем «Средних веков» до 1997 года, входила в завершающую стадию работа над изданием «Город в средневековой... цивилизации». Ольга Игоревна по-прежнему участвовала во всех начинаниях коллег — будь то проект по изучению средневековых элит или сборник по гендерной проблематике. Чувствуя угрозу распада сообщества, она удвоила свои усилия по подготовке молодых коллег. Большой радостью стали студенты ее спецсеминара на кафедре истории Средних веков МГУ. Она называла их «дракончиками» (большинство из них родилось в год Дракона) и устроила им удивительную практику в Питере. Вопреки тому что научные связи между двумя столицами становились все эфемернее, она знакомила их с коллегами, водила в музеи и отделы редкой книги. «Это же наши братья по разуму!» — любила она цитировать удивленное восклицание одного из своих «дракончиков».

Где-то в первой половине 1990-х годов наконец состоялось ее знакомство с трудами Мишеля Фуко. Как известно, «Слова и вещи» были переведены у нас еще в 1977 году, но мало кому из практикующих медиевистов пришло бы тогда в голову ознакомиться

с прихотливой мыслью автора. С началом перестройки поклонников Мишеля Фуко в нашей стране прибавилось; но это были люди, отнюдь не склонные к эмпирическим изысканиям, и Фуко в их интерпретации получался даже еще более заумным, чем он был на самом деле. А работы, написанные им на историческом материале, — «История безумия» и, главное, «Рождение тюрьмы», — появятся в русском переводе лишь во второй половине 90-х годов. К счастью, Фуко прочитал курс лекций в Бразилии, где они и были изданы по-португальски под заголовком «Истина и юридические формы»¹², причем эта книга долго не переводилась на другие языки. Вот она-то и попала в руки Ольги Игоревны как раз в тот момент, когда она накопила солидный историко-правовой материал и уже осознала самодостаточность права. Она, совсем не склонная к цитированию авторитетов, неоднократно повторяла в своих статьях фразу Фуко о том, что «изучение права изъято из монополии правоведов, включено в гораздо более широкий социокультурный контекст и — тем самым — в систему гуманитарных наук». После этого она с жадностью проглотила его «*Surveiller et punir*» (характерно, что она переводит его как «Надзирать и карать», в то время как в русском издании значится — «Надзирать и наказывать» — она не брала материал из вторых рук). По заслугам она оценила и правую антропологию, причем, кажется, и здесь знакомство с историко-антропологическими штудиями шло индуктивным путем, в типичной для Ольги Игоревны манере. В 1995 году в секторе А.Я. Гуревича готовили сборник рефератов по исторической антропологии. Аспиранты, пытавшиеся пересказать книгу Э. Коэна «Перекрестки правосудия. Закон и культура в позднесредневековой Франции», столкнулись с серьезными трудностями, и редколлегия обратилась за консультацией к Ольге Игоревне. В принципе Коэн был ей знаком, но сейчас, вникая в детали, она увлеклась настолько, что в результате всю переводческую работу проделала заново¹³.

С каждым витком своей научной биографии О.И. Варьяш охватывала все новые проблемы истории средневекового права: право обычное, право городское, право королевское, право прецедентное, правовые системы этноконфессиональных групп. Она вплотную подошла к такому тематическому Монблану, как рецепция римского права в его связи с правом каноническим, понимая, что без этого ее исследования останутся фрагментарными. Но все чаще она слышала от друзей советы издать книгу, которая обобщала бы накопленный опыт. Она соглашалась и даже начала

думать в этом направлении; но, как всегда, по заведенному обычаю, свои собственные дела отодвигала на задний план — важнее было иное: коллоквиумы в других городах, работа над переводом текстов св. Тересы, подготовка очередного правового сборника, ученики, заработки. И все чаще жаловалась она на головную боль.

В этот момент появилась возможность поехать в Португалию надолго. Правда, придется напряженно работать над совершенно новой проблематикой — историей российско-португальских связей в Новое время. Отрываться от родных и друзей ей было трудно, но все же возможность по-настоящему, изнутри прочувствовать страну — уникальная возможность, которой никогда не было у ее учителей, — выглядела слишком привлекательной, чтобы от нее отказаться.

Здоровье же становилось все хуже. Но, вернувшись после долгого отсутствия, она вместо работы над книгой с радостью откликнулась на предложение участвовать в Летней школе лета 2001 года с характерным названием «Как быть медиевистом?». Это было именно то, о чем она всегда мечтала: собрать вместе наших молодых «братьев по разуму». Ольга Игоревна взяла на себя самую важную секцию, где речь шла о том, как сегодня рассказывать о феодализме, организовала практические занятия по средневековому праву. Это была именно ее школа — веселая, умная, добрая и с неизменным ритуальным тостом.

А после этого О.И. заболела уже настолько серьезно, что так и не поправилась. И книга так и осталась ненаписанной.

Каждый историк сталкивается с этой проблемой. Как соблюсти меру в сочетании работы на себя с работой на других? О.И. Варьяш ответила на этот вопрос по-своему. Она могла бы издать свою книгу сама и намного раньше. Но она предпочла потратить свои силы на то, чтобы сохранить сообщество, создать школу. А книгу «Пиренейские тетради» собрали ученики и друзья. Разве был ее выбор ошибочным?¹⁴

Комментарий

Текст был опубликован в виде предисловия к посмертному изданию книги О.И. Варьяш: *Уваров П.Ю.* Пунктир ненаписанной книги // *Варьяш О.И.* Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в Средние века / Сост. и отв. ред. И.И. Варьяш, Г.А. Попова. М.: Наука, 2006. С. 11—24.

После кончины О.И. Варьяш в 2003 году коллеги сделали многое для ее памяти: провели в том же году мемориальные чтения (открывшиеся 1 октября, в ее день рождения); издали материалы этих чтений (трехтомник «*Historia animata*»); наконец, подготовили «Пиренейские тетради» — сборник статей, которые Ольга Игоревна могла бы включить в свою так и не написанную монографию. В память об О.И. Варьяш издательство «Наука» выпустило ее без издательского гранта, в чем особая заслуга заведующей исторической редакцией Н.Л. Петровой и редактора В.А. Токмакова.

Когда меня попросили написать вводную статью, конечно, я согласился, но был в недоумении. Различные воспоминания уже были, погружаться в пиренейскую историко-правовую тематику для меня было довольно-таки сложно. К тому же я не вполне понимал, на какую аудиторию рассчитывать. Те, кто знал Ольгу Игоревну, всегда находились под обаянием ее личности, а для остальных ее заслуги были совсем не очевидны — ни толстых монографий, ни зарубежных изданий, ни интервью в перестроечных журналах, ни выступлений в СМИ. Тогда мне впервые подумалось, что следующие поколения, не знающие контекста нашей деятельности и того, чем мы жили, не смогут, да и не захотят оценивать вклад каждого в науку: ключи для понимания будут утеряны подобно тому как нынешнее поколение утратило способность распознавать эзопов язык, столь значимый еще в брежневскую эпоху. В данной статье я впервые прибегнул к эффекту остранения.

¹ Путевые заметки и письма О.И. Варьяш были опубликованы в последней части «Пиренейских тетрадей».

² *Historia animata*. М., 2004. Т. 1—3. Три тома, изданные в «центре оперативной полиграфии» Института всеобщей истории, объединяли материалы мемориальных чтений. Первый и часть второго посвящены правовой истории Средневековья, во втором томе — статьи по проблемам пиренейской истории, в третьем — статьи на разные темы истории Средних веков, а также воспоминания об Ольге Игоревне. Оформление сделала ее дочь Анна Варьяш. Главная художественная идея оформления заключалась в том, что, когда все три тома соединялись вместе, на корешках воспроизводилось то же изображение пучка лилий, которое украшало обложку каждого из них.

³ До так называемой «Английской буржуазной революции» (1642—1651).

⁴ Эта фраза приписана известному ленинградскому историку Б.А. Романову. См.: *Каганович Б.С.* Несколько слов о так называемом позитивизме // *Одиссей. Человек в истории*. 1996. С. 167.

⁵ Приведу собственный пример. С 1985 года я начал настоящую охоту за изданием Инвентаря регистров парижских нотариальных дарений (*Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, règnes de François I^{er} et Henri II* / Ed. par É. Campardon et A. Tuetey. Paris, 1906). Я обнаружил этот увесистый том на антресолях отдела полиграфии питерской Публичной библиотеки (носящей в ту пору имя Н.Е. Салтыкова-Щедрина). Скопировать его там не представлялось возможным, ездить в Ленинград — накладно. После некоторых поисков выяснилось, что такой же том хранится в научной библиотеке им. А.М. Горького МГУ, но, поскольку я работал не в университете, а в Академии наук, меня туда записывать не собирались. Я попробовал заказать ее по межбиблиотечному абонементу в Ленинской библиотеке. Оказалось, что преодолеть расстояние в 300 метров от библиотеки, расположенной на Моховой, д. 9, до библиотеки на Моховой, д. 16, книга не может ни при каких обстоятельствах. Тогда я направил запрос в Париж, откуда ответили, что книга слишком тяжела для пересылки, но они все же запросили библиотеку Хьюстонского университета. Через несколько месяцев из Техаса пришел пакет с микрофишами. По счастью, в Ленинской библиотеке имелось два аппарата для их чтения; и весь следующий год я занимался тем, что переписывал данные с экрана на свои карточки. А сейчас PDF-версия этого источника выставлена сразу на нескольких сайтах, их с легкостью можно распечатать. Это удобно. Но романтики научного поиска поубавилось.

⁶ 15 мая 1934 года вышло постановление ЦК ВКПб «О преподавании гражданской истории в школах СССР», где предписывалось создание групп по написанию школьных учебников, излагающих события в историко-хронологической (а не логической, как прежде) последовательности. Для этого потребовались кадры учителей, а для их подготовки — соответствующие факультеты и кафедры в университетах и педагогических институтах.

⁷ Задумался, стоит ли объяснять потенциальным читателям, зачем научных сотрудников возили разбирать овощи, но все-таки решил, что пока еще объяснений не требуется.

⁸ Рассказано Н.И. Девятайкиной, представительницей саратовской школы медиевистов, возглавляемой С.М. Стамом. Последний, резко расходясь с московскими коллегами во взглядах на природу средневекового города (особенно — с А.Н. Чистозвоновым и Е.В. Гутновой), не считал его частью феодальной формации. На совместных конференциях 1970-х годов по этому поводу кипели нешуточные страсти.

⁹ *Варьяш О.И. Черных А.П. Португалия: Дороги истории.* М., 1990.

¹⁰ Так назывались своды обычного права определенных территорий и муниципалитетов на Пиренеях.

¹¹ Город в средневековой цивилизации Западной Европы / Под ред. А.А. Сванидзе. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. М., 1999; Т. 2. Жизнь города и деятельность горожан. М., 1999; Т. 3. Человек внутри городских стен. Формы общественных связей. М., 2000; Т. 4. Extra muros. Город, общество, государство. М., 2000.

¹² *Foucault M.A. Verdade as formas jurídicas.* Rio de Janeiro, 1973.

¹³ Козн Э. Перекрестки правосудия. Закон и культура в позднесредневековой Франции // История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 164—173.

¹⁴ В рукописи мой текст заканчивался традиционным Ольгиным тостом: «Ну, за корпорацию!» Однако редакторы тогда меня попросили это убрать. Хотел было вернуть тост в этой книге, но почему-то не решился.

А.Я. ГУРЕВИЧ И СОВЕТСКАЯ МЕДИЕВИСТИКА ПОРТРЕТ НА ФОНЕ КОРПОРАЦИИ

Вскоре после смерти А.Я. Гуревича редакция «Нового литературного обозрения» предложила мне написать о нем как об отечественном медиевисте; об Ароне Яковлевиче как основателе отечественной исторической антропологии и как о всемирно признанном ученом должны были написать другие. Это была большая честь для меня, и я постарался эту работу выполнить, хотя статья далась необычайно тяжело. Ведь о его творчестве уже говорилось много и точно. Невозможно соперничать с умной и, как всегда, яркой статьей Л.М. Баткина «О том, как Гуревич возделывал свой аллод»¹. Более свежие данные, дополненные интересным рассказом об особенностях стиля Мастера, содержатся в статье Д.Э. Харитоновича в юбилейном сборнике². Но главное — сам Арон Яковлевич последние пятнадцать лет своей жизни напряженно работал над написанием своей творческой биографии — сперва в виде отдельных статей и публичных лекций; затем он написал свою неподражаемую «Историю историка»³, но и после продолжал развивать эту тему в полемических статьях⁴ и интервью.

Поэтому мне не оставалось ничего другого, как попытаться дать контекстуализирующий комментарий к тем аспектам его научной биографии, которые относятся к проблеме: «А.Я. Гуревич и советская медиевистика».

¹ Баткин Л.М. О том, как А.Я. Гуревич возделывал свой аллод // *Одиссей. Человек в истории*. 1994. М.: Наука, 1994. С. 5—28.

² Харитонович Д.Э. Историк и время // *Munuscula*. К 80-летию Арона Яковлевича Гуревича. М., 2004.

³ Гуревич А.Я. *История историка*. М., 2004. Далее — ИИ.

⁴ См., например: Гуревич А.Я. Историк среди руин. Попытка критического прочтения мемуаров Е.В. Гутновой // *Средние века*. Вып. 63. М., 2002. С. 362—393; *Он же*. О присвоении прошлого. Открытое письмо Л.Т. Мильской // *Средние века*. Вып. 66. 2005. С. 408—414.

Предлагаемый для обсуждения текст не тождественен статье, которая уже появилась в последнем выпуске «НЛЮ»^а. Я попытался немного развернуть свой опус в сторону социологии научного сообщества, более подробно останавливаясь на том, как строилось взаимодействие Арон Яковлевич с его коллегами. Следует признать, что на серьезное историографическое исследование этот доклад¹ не претендует — я не использовал ни архивных документов, ни интервью с участниками событий. Опирался же преимущественно на тексты самого Арона Яковлевича, на некоторые мемуары его современников, ну и еще на столь зыбкую основу, как собственные воспоминания. Отсюда — слишком много гипотез, произвольных интерпретаций, предположений и рассуждений в духе «альтернативной истории» и весьма немного твердых «медицинских фактов», как любил говорить сам Гуревич. Однако надеюсь, это немного приблизит мой сюжет к тематике нашего семинара.

Итак.

В 1944 году двадцатилетний студент Гуревич решает специализироваться на той кафедре исторического факультета МГУ, где готовили историков-медиевистов.

И здесь сразу же необходимо сделать пространное отступление, чтобы не пройти мимо этого факта как мимо чего-то само собой разумеющегося.

Медиевистика — это наука об истории Средних веков. Но негласно медиевистами считают в первую очередь тех, кто занимается историей западного Средневековья, грубо говоря — историей католического мира². Когда Марк Блок, Аби Варбург, Фредерик Мэтланд или Умберто Эко хотели стать медиевистами, это означало, что они хотели изучать историю своей страны. С американскими историками немного сложнее, но и они — по крайней мере начиная с 20-х годов прошлого, XX века, — выбирая поприще медиевистики, понимали, что собираются исследовать историю своей культурной традиции.

¹ Прочитан автором на семинаре Института высших гуманитарных исследований РГГУ «История гуманитарных наук», 6 декабря 2006 года.

² Конечно, специалист по Ивану Грозному, Чингисхану или Константину Багрянородному также имеет право сказать, что и он — медиевист, но это скорее будет личной риторической стратегией, чем общепринятым самоназванием научной дисциплины.

Потребность изучать историю чужих или даже чуждых стран в сталинском СССР, к тому же из последних сил ведущем войну на уничтожение¹, нуждается в особом осмыслении.

Дело в том, что молодая советская медиевистика имела особый статус. До революции труды медиевистов, работавших в российских университетах², высоко оценились как отечественными, так и зарубежными коллегами. Особо славилась «русская аграрная школа» — историкам, родившимся в стране, где крестьянский вопрос был самым острым, было что поведать западным коллегам об аграрном строе Средневековья.

Когда в 1934 году после постановления властей «О преподавании гражданской истории» началось восстановление разрушенной революцией системы исторического образования, медиевистика по традиции заняла в ней достаточно важное место.

Как обосновывали советские медиевисты важность своей профессии перед лицом властей предержавших? Аргументы могли быть разными³, но главное в них сводилось к тому, что поле медиевистики лучше всего подходило для демонстрации преимуществ марксистского метода исторического познания. Только советская историография, вооружившись единственно правильным учением, могла ухватить суть средневекового общества, раскрыв основной закон феодализма. Сделать это было проще на западном примере, поскольку он был лучше изучен и лучше наделен источниками. Обретенное знание давало ключ к правильному истолкованию истории всех остальных регионов мира, вступивших в период феодализма, каковой занимал почетное центральное место в «пя-

¹ Так получилось, что и первый номер главного периодического издания советских медиевистов — «Средние века» — впервые вышел в свет в зловещем 1942 году.

² Бурное развитие отечественной медиевистики шло параллельно с завершающимся оформлением полноценной системы российских университетов. Иными словами, оно относится ко второй половине XIX века, к тому времени, когда образованная публика считала Россию неотъемлемой частью европейской цивилизации.

³ Стремясь доказать важность своей профессии, советские медиевисты отмечали злободневность своих занятий, призванных «разоблачить фальсификаторов», «дать отпор мракобесам», «разбить кривое зеркало буржуазной историографии», стремясь тем самым подчеркнуть, что они находятся на переднем крае все обострявшейся идеологической борьбы. Но это был слабый аргумент — большинство советских историков занималось куда более актуальными эпохами.

тичленке» общественно-экономических формаций. Но коль скоро и раньше медиевистика играла роль полигона методов исторического исследования, то она сохраняла эту роль и в советскую эпоху. И чем сильнее были традиции буржуазной медиевистики, тем славнее должна была быть победа над ней советских историков.

Советским историкам, достаточно органично совместившим традиции русской школы медиевистики с марксизмом, было чем гордиться. Ведь эту задачу можно было решать по-разному. Сказал, например, тов. Сталин на съезде колхозников, что Римскую империю сокрушила революция рабов и колонов, и ученые сразу же эту революцию находили в текстах позднеримских авторов. Стронники такого подхода были и в стане медиевистов. Но здесь им с большей внятностью, чем в иных дисциплинах, противостояла школа, основанная на скрупулезном изучении документов (в лучших традициях позитивистской историографии), на неспешном добывании объективных фактов, собираемых для того, чтобы на этом солидном фундаменте затем возводить крепкое здание марксистской теории. Это был путь Н.П. Грацианского, А.И. Неусыхина, Е.А. Косминского, С.Д. Сказкина и других, и именно их память корпорации записала в отцы-основатели советской медиевистики, запомнив их и намеренно забыв других. Кто, например, помнит сейчас об А.Д. Удальцове или З.В. Мосиной?

Как бы то ни было, уже к концу 1930-х годов была создана марксистская теория феодализма, которой до самого последнего времени удавалось без серьезных изменений сохраняться на страницах всех последующих изданий университетских учебников. Она основывалась на том, что феодализм — вовсе не приватизация политической власти знатью (как полагали буржуазные историки), но прежде всего — особый способ производства, определяющий всю целостную систему феодальной общественно-экономической формации. Феодальные производственные отношения предполагали монополию господствующего класса на землю (сочетание крупной феодальной собственности с мелким крестьянским землепользованием), позволяющую извлекать феодальную ренту при помощи внеэкономического принуждения зависимого крестьянства. Такой способ производства считался универсальным. Несмотря на наличие существенных региональных особенностей, через феодализм прошло большинство народов Старого Света.

Кроме этого, «поколение учителей» сумело решить еще одну сложнейшую задачу: сформировать себе смену уже из советских

студентов, не имевших гимназического образования, не знавших древних языков, не владевших философской базой, а зачастую — и не обладавших элементарной эрудицией. Те, кто заканчивали кафедру Средних веков, в итоге получали солидные знания, знали несколько новых языков и как минимум один древний, умели тщательно изучать источники. Поэтому с конца 1930-х годов и до конца советского периода медиевисты среди прочих коллег пользовались репутацией профессиональной элиты, как сказали бы сейчас, «спецназ»^b советской исторической науки.

Вот почему студенту Гуревичу, не питавшему поначалу особых пристрастий к Средневековью, объяснили, что лучшей школы исторического исследования, чем на кафедре истории Средних веков, он не получит нигде. Он пришел поучиться методам, которыегодились бы ему для исследования любого периода, но стал медиевистом навсегда.

Чтобы понять фон, на котором разворачивалась его научная одиссея, потребуется еще один экскурс в историческую антропологию сообщества советских медиевистов.

Их профессиональная этика была замешана на обостренном чувстве служения и даже подвига, благо трудностей, подлежащих преодолению, всем хватало в избытке. Медиевистам было свойственно тайное высокомерие по отношению к коллегам, более зависимым в своих выводах от политической конъюнктуры. В этой корпорации ценился профессионализм, здесь не терпели халтурщиков и бытовал особый «гамбургский счет». Это была очень требовательная среда, причем планка требований поднималась с течением времени все выше¹. Требовательность в сочетании с государственной издательской политикой приводила к тому, что советские медиевисты публиковали удивительно мало монографий. У академика Косминского опубликованы были лишь две книги²; у Грацианского — лишь одна³; а у академика Сказкина — патриарха нашей корпорации — монографий, посвященных истории Средневековья, не было вовсе⁴.

¹ В конце концов, кандидатская диссертация, подготовленная менее чем за семилетний срок, негласно стала почитаться «скороспелкой».

² По сути дела, вторая монография была расширенным переизданием первой.

³ Первая его работа, посвященная парижским цехам, была опубликована еще до революции.

⁴ Им была издана очень интересная книга о австро-пруско-германском союзе XIX века; он был автором многих глав в «Истории дипломатии»

Очень часто лишь после того, как медиевист уходил из жизни, его ученики и коллеги, собрав разрозненные труды, издавали их посмертно. В этом был даже некий особый смысл потлача: работая до изнеможения над коллективными трудами, разделами в учебниках, статьями в сборниках, всего себя отдать ученикам и корпорации, ожидая от них ответного дара на алтарь своей профессиональной славы. Во всяком случае, собственная монография была наивысшей ценностью, над ней дрожали как над любимым ребенком. В среде, где свои книги были редкостью, да и возможности публикации статей были весьма ограничены, главную роль играла устная коммуникация: доклады на кафедре, выступления на конференциях, но особую важность имело общение учителя и ученика. Медиевисты почитали своих учителей и дорожили возможностью иметь учеников.

В среде медиевистов процветал особый культ источника. Чем больше в работе было источников и чем меньше «теории» — тем лучше, подобная убежденность усиливалась с течением времени¹. Аллергия на официозное теоретизирование приводила к отторжению вообще всякой философии. Историки в доверительных беседах любили повторять фразу знатока русского Средневековья Б.А. Романова: «Заниматься методологией — это все равно что доить козла».

Экзистенциальная драма советских медиевистов состояла в том, что, как правило, они не имели возможности посетить изучаемую страну для работы в архивах. Тем самым медиевисты оказывались ущемленными в самом важном аспекте своего творчества. В отправлении «культа источника» они были зависимы от того, как источники издавались буржуазными историками. Но если источник и был опубликован, судьба историка определялась еще и превратностями комплектования советских библиотек².

На этот вызов корпорация находила достойный ответ — развивая в историке необычайную находчивость и стремление находить

и иных коллективных трудах; его спецкурс по истории крестьянства был записан студентами и позже опубликован; у него была масса ярких статей; но монографии, посвященной истории Средневековья, так и не появилось.

¹ Поэтому схемы Б.Ф. Поршнева были единодушно отвергнуты сообществом медиевистов. Кстати, Борис Федорович как раз отличался большим количеством монографий.

² Любопытно, каким причудливым образом эта застарелая травма проявляется в деятельности сообщества медиевистов сегодня. Но этот сюжет слишком далеко уведет нас от основной темы.

в давно известных текстах новые смыслы, выжимать из источника все возможное. Е.А. Косминский, например, любил статистические подсчеты, и эту любовь унаследовали многие его ученики. А.Я. Гуревич, не очень жаловавший эту методику, тем не менее не мог не вспомнить М.А. Барга, который, живя в бараке, где с потолка капала вода, «всю комнату застелил своими таблицами и ползал по полу, чтобы разыскать какие-то данные»¹. Происходила некая поэтизация затраченных усилий, где «мерилом работы считают усталость»...

Гораздо менее приятной чертой советских медиевистов был страх. «Поколение учителей» успели так напугать еще в тридцатых годах, что боялись они всю оставшуюся жизнь², завещав этот страх ученикам. Страх советского историка за свою судьбу был не беспочвенен даже в самые «вегетарианские» эпохи, но страх медиевистов усугублялся еще и особенностями их этики. Они боялись не только за себя, но за учеников, за судьбу своих книг, за престиж корпорации в целом³. Любому неприятно лишиться работы, но если ты уверен, что твой труд есть служение, то тогда ты боишься потерять уже не только зарплату, но еще и *Beruf*, а это невыносимо. Поэтому корпоративная этика изобретала причудливые фигуры компромиссов и самые разные способы мотивации своей уступчивости, рассказывать о которых можно долго и красочно. Но смысла в этом сейчас нет. Дело в том, что А.Я. Гуревич ими не пользовался. И уже тем самым постоянно нарушал корпоративные конвенции.

Своими непосредственными учителями А.Я. Гуревич считал А.И. Неусыхина и Е.А. Косминского. При полярной разнице характеров и методов работы их объединяло одно — они были

¹ ИИ. С. 17.

² Тоталитаризм силен непредсказуемостью. Марка Блока расстреляли за участие в Соппротивлении. Аби Варбург, да и Эрнст Канторович, покинули Германию по расовым соображениям. Молодой Нэтэли Земон Дэвис трудно было найти работу, поскольку ее свекор пострадал при маккартизме. Это было печально, иногда — трагично, но в целом объяснимо. А вот то, что А.И. Хоментовскую отправили в лагерь за хранение книги Линна Торндайка «История магии и экспериментальной науки» (*L. Thorndike. History of Magic and Experimental Sciences. N.Y., 1923*), было абсурдно, а потому особенно ужасно.

³ Поэтому в начале 1970-х годов А.Я. Гуревичу приходилось выслушивать и такое: «Советские медиевисты так долго добивались того, чтобы к нам относились как к идеологически выдержанной и правильно мыслящей когорте ученых, и вот Гуревич своей книгой все это разрушил, и мы опять оказались перед сложными проблемами, преследованиями, гонениями» (ИИ. С. 153).

центральными фигурами, символами фракции медиевистов первого поколения, отстаивающей тот путь «творческого овладения марксистской методологией», где главным были не директивы вождя, а голос источника.

А.И. Неусыхин был не просто блестящим педагогом. Он был фанатиком работы с учениками и как никто другой умел привить вкус к препарированию сложнейших источников. С удивительной кропотливостью он работал с раннесредневековыми памятниками, создавая теорию генезиса феодализма. На основе «варварских правд» и сборников прекарных грамот ему удалось нарисовать эпопею судеб раннесредневекового европейского крестьянства: разложение общины рождало частную собственность на землю, которая затем неминуемо переходила в руки сильных мира сего, и вчерашние общинники становились зависимыми крестьянами¹. Это была поновленная либеральная теория XIX века (но связываемая с именем Ф. Энгельса). В Германии это учение было разгромлено сторонниками «критического метода» в истории еще в начале XX в., поэтому для защиты своей концепции А.И. Неусыхину и его школе приходилось вести серьезные историографические баталии. Таким образом, его ученики учились не только скрупулезному анализу источников, но еще и преодолению, как он говорил, «историографической безграмотности», а также умению вести компаративные исследования, коль скоро для поддержания стройной теории требовались материалы из разных регионов и разных эпох.

¹ Позволю себе напомнить основные черты этой теории. Германцы, захватив Римскую империю, селились большими общинами. Общины прошли в своей эволюции через несколько стадий (кровнородственная община, земледельческая, соседская община-марка). Если на начальных этапах этого пути земля находилась в коллективной собственности, то в конце его, при сохранении общинных пережитков, земля становится частной собственностью, аллодом. Раз аллод можно теперь отчуждать, то расслоение общины становится фатальным: либо разбогатевшие общинники, либо королевские дружинники и знать, либо монастыри начинают закабалить разорявшихся крестьян, экспроприруя их аллоды. Об этом процессе нам повествуют формуляры документов отдачи под покровительство (прекарных грамот). Вчерашний свободный аллодист отдает себя под покровительство могущественного сеньора, который огненные и становится собственником этой земли. В обмен этот несчастный «традент» (человек, передающий имущество) получает защиту и право пользования своим или каким-либо иным участком земли. Так свободные общинники из собственников-аллодистов превращались в феодально-зависимых крестьян.

В семинаре Е.А. Косминского, ироничного человека, всегда державшего определенную дистанцию с окружающими, изучали «Книгу Страшного суда» и более поздние сериальные источники по аграрной истории Англии. Косминский считал себя научным наследником не только П.Г. Виноградова, создавшего манориальную теорию, согласно которой манор является основной «клеткой» феодального общества, но еще и Ф. Мэтланда, знатока английского права, сторонника критического метода, учившего с осторожностью относиться к любым обобщениям, не забывать о том, что реальность гораздо богаче абстрактных теорий.

Оба учителя хорошо дополняли друг друга. От одного Гуревич взял технику анализа источника, работоспособность, приверженность к компаративизму. От другого — эрудицию, иронию, умение делать обобщения и мыслить проблемами (позже он обнаружит этот девиз у Марка Блока), но также — готовность поставить под сомнение любую эволюционную схему.

Было еще нечто, чем Арон Яковлевич обладал и независимо от учителей, — удивительная сила духа и талантливость во всем.

В «Истории историка» можно найти описание событий конца 1940 — начала 1950-х годов: кликушества обличений и покаянных речей, образовцов достойного поведения и малодушия, нахрапистого наступления «молодой поросли», оттиравшей «учителей» на задний план. Все это на фоне личной истории — невозможности устроиться после окончания аспирантуры, работы в Калининском пединституте, ярких зарисовок с натуры. Но научная составляющая его первого, «англосаксонского» периода, мне кажется, незаслуженно обойдена вниманием.

Как ученик Косминского он собирался изучать предысторию английского феодализма, английского манора. Как ученик Неусыхина он стремился подкрепить это памятниками английского права, отыскать в нем сведения о структуре семьи, эволюции общины, об аллоде и частной собственности на землю. Исследование получилось интересным и качественным. Но ни превращения надела «свободного общинника» (кэрла) в аллод, ни закрепощения крестьян как следствия распада общины обнаружить никак не удавалось. Источники охотно говорили о королевских пожалованиях, но молчали о расслоении общины. Следовало либо сдвигать феодализацию Англии к нормандскому завоеванию, либо искать иные пути становления феодализма — через королевские пожалования и раздачи земель в кормление. Это вполне походило на «феодализм», но уже значительно отличалось от схемы А.И. Неусыхина.

Первые трения возникли при обсуждении предварительного варианта диссертации в секторе Средних веков Института истории АН СССР, где совсем молодой Гуревич заявил: «На том стою и не могу иначе!»¹ В публикациях свои выводы ему удалось подкрепить вполне уместными ссылками на Сталина, говорившего о возможностях надстройки активно воздействовать на базис. Но своего научного руководителя, Косминского, Арон Яковлевич в частной беседе сумел убедить более важным для академика авторитетом Ф. Мэтланда.

Возможность изменить страну неоднократно приходила в голову Арону Яковлевичу. Несколько раз открывалась возможность стать византинистом². В отличие от классической медиевистики, старое византиноведение было разгромлено полностью, теперь оно восстанавливалось практически с чистого листа. Е.А. Косминский волею судеб становится с 1955 года заведующим новообразованным сектором истории Византии. Академик ценил способности своего ученика, поэтому шанс в качестве византиниста попасть в заветный академический институт у А.Я. Гуревича был. В 1950-х годах он публикует несколько рецензий и историографических обзоров по истории Византии. Что немаловажно — рецензируя работы современных западных византинистов, он понял, какую пользу историку способна принести археология. Обращение к трудам археологов поможет ему в формулировании новых подходов к истории древних германцев, дав возможность выйти из порочного круга интерпретации одних и тех же пассажей Цезаря и Тацита. И все же Арон Яковлевич не стал византинистом, о чем даже написал впоследствии статью «Почему

¹ В «Истории историка» Арон Яковлевич рассказывает, как после этого заседания к нему подошла Ф.А. Коган-Бернштейн и сделала выговор: «Не устраивайте из сектора Вормский собор!» Для нее сектор остался единственной отдушиной — со скандалом изгнанная из университета на волне борьбы с космополитизмом, она, признанный специалист по французскому Ренессансу, тщетно искала работу. Ее не взяли, кстати, и в тот самый Калининский пединститут, куда вскоре примут на службу Арону Яковлевичу. Местному руководству на фоне уж слишком одиозной Коган-Бернштейн он показался «меньшим злом».

² В бытность мою ученым секретарем сектора Средних веков я обнаружил залежавшийся документ — ходатайство Косминского об организации занятий древнегреческим языком «талантливого и многообещающего аспиранта Гуревича». Увы, во время перестроечных бурь и переездов пыльные секторские папки куда-то сгинули.

я не византинист?» — первый опыт его печатной «эго-истории»¹: «Я начал все более отчетливо ощущать нарастающую неприязнь к предмету моих штудий. Византийские порядки слишком напоминали мне сталинскую действительность»².

Вряд ли Арон Яковлевич выбрал общество свободных норвежских бондов лишь потому, что они не походили ни на «тихеньких, скромненьких — простых советских людей», ни на лукавых царедворцев типа Прокопия Кесарийского. Хотя эти соображения, разумеется, тоже имели место. Главным было другое. Продолжение англосаксонских исследований было делом непростым. Данных об общине явно недоставало, доступные на тот период письменные источники были вычерпаны. Молодых историков, разрабатывающих историю Англии, было сравнительно много — М.Н. Соколова, А.Я. Левицкий, М.А. Барг, и они были ближе к московским библиотекам, а по своим интересам и методам исследования — ближе и к Косминскому, к «академику», как его почтительно называли. Действительно, М.А. Барг был прямым продолжателем школы Косминского, заимствовав и усовершенствовав его методы работы с «Книгой Страшного суда» и «Сотенными свитками».

Но сила А.Я. Гуревича заключалась в том, что он любую неудачу использовал в свою пользу.

Английские кэрлы оказываются немые? Но ведь по ту сторону Северного моря имелось средневековое же общество, находившееся явно на более ранней ступени развития, но сохранившее много документов — областные законы, хроники, саги. Германские общинные распорядки должны были наблюдаться там в чистом виде — никаких романских влияний там быть не могло по определению. И вот с середины 1950-х годов калининская электричка все чаще уносит доцента Гуревича в края бондов и годы, которые и впрямь понравились ему настолько, что он не расставался с ними до самого конца. Но контакт удалось установить далеко не сразу³. Как ученик Неусыхина Гуревич задавал им вопросы об эволюции общины, а как ученик Косминского — о росте феодального землевладения. А они

¹ Why am I not a Byzantinist? // *Homo Bysantinus: Papers in honor of A. Kazhdan* / Ed. A. Culter, S. Franklin. Washington, 1992. P. 89—96 (Dumbarton Oaks papers. Vol. 46).

² ИИ. С. 46.

³ Я не говорю о лингвистических проблемах. Это сегодня у нас знатоков древнеисландского несколько десятков. А в ту пору был один только М.И. Стеблин-Каменский. Но питомцы школы Неусыхина привыкли не бояться мало-знакомых языков.

упорно не желали на эти вопросы отвечать и, по словам Арона Яковлевича, все требовали: «Спроси нас о другом!»

Будь на его месте историк типа Б.Ф. Поршнева, он бы заставил их ответить как раз то, что требуется для подтверждения своей теории. Но А.Я. Гуревич разрешает конфликт тем, что меняет вопросник. Ведь он был учеником тех людей, для кого источник был на первом месте, а теория на втором.

Однако в ходе анализа областных законов, нарративных памятников, в том числе саг и поэзии скальдов, данных топонимики и археологии, А.Я. Гуревич убеждался в том, что общество лучше описывать в его собственных категориях. Исследование приводило к выводам, таившим в себе потенциальную угрозу незыблемым основам теории, выстраданной советскими медиевистами. Постепенно «возвышающийся обман» рассеивался и открывались «тмы низких истин», состоявшие в том, что исторические понятия вовсе не являются «вещами», но играют инструментальную роль. Очень давно, еще в 1920-е годы, А.И. Неусыхин открыл для себя Макса Вебера. Несмотря на то что он изо всех сил старался снять противоречие между Вебером и Марксом, его работа подверглась такой критике, что у советских медиевистов надолго отбили охоту вспоминать о неокантианской методологии. Гуревич и в этом стал нарушителем конвенции.

С результатами своих исследований А.Я. Гуревич выступал в секторе истории Средних веков академического Института истории. Затем доклады превращались в статьи, опубликованные в сборниках «Средние века»: статьи о большой семье, об общине, о средневековом крестьянстве в Норвегии и об отношении его с государством. Несмотря на классические для советского медиевиста той эпохи заглавия статей, выяснялось, что это были совсем иная семья, иная община, иное крестьянство, иное государство, чем это предусматривалось канонической концепцией феодализма. На заседаниях сектора одобряли успехи молодого ученого в раскрытии региональной специфики феодализма, но спорили о том, в какой мере его выводы могут быть экстраполированы на континент. Ведь архаичное скандинавское общество давало возможности такого прочтения континентальных «варварских правд»¹, которое могло повредить основанной на их данных теории генезиса феодализма.

¹ Надо напомнить, что, в отличие от скандинавских законов и саг, «варварские правды» — сборники обычного права германского населения — записывались на латыни, то есть на чужом для этого населения языке.

После одного из докладов, по-видимому, в конце 1959 году, Н.А. Сидорова, заведовавшая сектором, директивным тоном предписала срочно готовить докторскую. И добавила со свойственной ей большевистской прямолинейностью: «Я хочу взять вас в сектор, но могу вас взять только в качестве доктора. Кандидатом вас дирекция не пропустит». Она использовала свой административный ресурс, буквально «продавив» предзащиту Гуревича в секторе. И тут же сообщила, что защищаться надо в Ленинграде, где нет такой очереди, благо со своим питерским коллегой В.И. Рутенбургом она уже обо всем договорилась. Арон Яковлевич возразил, что не мыслит защиты без участия А.И. Неусыхина, который в ту пору уже не мог выезжать из Москвы по состоянию здоровья.

Вдумаемся в ситуацию. Молодому калининскому медиевисту делают неслыханный подарок (тридцать шесть лет — возраст для защиты докторской по медиевистике очень ранний даже для того времени) — предлагают организовать защиту, после которой он попадет в сектор, эту Касталию советской исторической науки, а он начинает диктовать свои условия. Любой заведующий уже никогда бы впредь не стал иметь дело со столь своенравным «аутсайдером». Примерно так же думал и он сам. Но при следующей встрече Н.А. Сидорова сказала, что раз он так ставит вопрос, то его защита состоится в Москве, только придется немного подождать.

И это говорит Сидорова, которую и А.Я. Гуревич, и Л.Т. Мильская (соученики по школе Неусыхина и яростные противники в «войне мемуаров») не сговариваясь считают «злым гением нашей медиевистики»¹. Чем же руководствовалась эта суровая женщина, приглашая Гуревича в сектор? Можно предположить какой-то тонкий политический ход; но в любом случае для нее было ясно, что перед ней блестящий ученый, который составит славу ее сектора. Ведь, как было сказано, у медиевистов был свой «гамбургский счет», и по нему выходило, что такими, как Гуревич, не разбрасываются. Сидорова, возможно, и была «злодеем». Но если у сообщества медиевистов были такие злодеи, то я горд за нашу корпорацию^с.

Н.А. Сидорова умерла в 1961 году в возрасте пятидесяти лет.

¹ Мильская Л.Т. Заметки на полях (по поводу статьи А.Я. Гуревича «Историк среди руин: Попытка критического прочтения мемуаров Е.В. Гутновой») // Средние века. Вып. 65. М., 2004. С. 220.

Ах, как обидно, что Гуревич отклонил первое ее предложение — ведь Неусыхин, как выяснилось, и на московскую защиту все равно не смог прийти, ограничившись письменным отзывом. С таким же успехом он мог бы отправить его и в Ленинград полтора годами раньше.

И тогда бы...

Тогда бы Гуревич стал доктором уже в 1960-м, Сидорова успела бы взять его в сектор, он бы создавал свои теории уже под эгидой Академии наук, и в грядущих баталиях его позиции оказались бы куда сильнее.

Вот она — пресловутая точка бифуркации...

Формула «история не терпит сослагательного наклонения» уже давно изжила себя, во всяком случае — применительно к истории науки. И любопытно когда-нибудь задуматься над тем, что могло бы произойти, если бы Н.А. Сидорова не ушла из жизни так рано. Ведь в конце 1950-х годов труды Жака Ле Гоффа вызвали у нее неподдельный интерес¹. У Сидоровой и Гуревича мог бы сложиться любопытный тандем исследователей народной культуры — культуры немотствующего большинства. А при ее способности защищать свои положения броней цитат из классиков (искусство, которым, кстати, и Арон Яковлевич владел — дай Бог каждому) их будущим врагам пришлось бы туго^е...

Но — точка бифуркации была пройдена, и случилось то, что случилось, — защита состоялась в Москве уже после смерти Н.А. Сидоровой. Тогда, весной 1962 года, положительный отзыв прислал из Томска А.И. Данилов — еще один антигерой «Истории историка». Верному ученику А.И. Неусыхина, Данилову, виртуозно громившему методологию буржуазных историков и следившему за новейшей литературой, уже тогда были достаточно ясны угрозы концепции диссертанта для классической схемы феодализации. Однако отзыв из Томска он прислал положительный — сказывалась корпоративная солидарность и все тот же «гамбургский счет». Впрочем, сам Данилов на защиту не смог приехать. Не пришел и заболевший Неусыхин, представивший письменный отзыв на 44 страницах¹.

¹ Физическое отсутствие сразу двух оппонентов ставило защиту под угрозу. Коллеги в последний момент попросили статью оппонентом З.В. Удальцову. «Без меня меня женили», — иронизирует Арон Яковлевич. Но и у Удальцовой было много предлогов для отказа: она, как византинист, была далека от этой

Диссертация была защищена, однако кататься в Калинин пришлось еще четыре года. Тем не менее об этом периоде А.Я. Гуревич вспоминает с теплотой — для молодого доктора, полного идей, напавшего на золотую жилу неисчерпаемых источников, все было впереди.

Ему удалось «разговорить» саги. Еще в XIX веке историки с энтузиазмом стремились найти в них сведения о политических событиях, но затем «критическое направление» первой половины XX века высмеяло эти попытки, подчеркнув литературную природу саг. Арон Яковлевич также начал с их прямого социально-политического прочтения, рассмотрев сагу о Харальде Прекрасноволосом как отражение социальных процессов («отнятие одаля»), но встретил критику со стороны «саговедов». В полемике родилось понимание того, что сагам надо задавать иные вопросы — о системе ценностей, о добродетелях и злодействе, об отношениях между своими и чужими — и тогда они скажут многое о социальной реальности своего времени. Сагам вновь возвращался статус исторического источника.

Ему удавалось «разговорить» и археологические данные. Вот лишь один пример. Многочисленные клады, которые скандинавские археологи фиксировали в самых неожиданных местах, никак не свидетельствовали о развитии товарно-денежных отношений в эпоху викингов. Это была не «тезаврация на черный день», когда горшок с монетами зарывался во дворе, но — весточка из мира ценностей викингов, считавших награбленное серебро материализацией своей удачи. Спрятать клад надо было так, чтобы его никто никогда не нашел, положив тем самым конец и счастью, и самой жизни воина¹. Данные археологии подкреплялись этнографией — и скандинавское общество открывалось в непривычном для историка-марксиста ракурсе. За нравами и обычаями скандинавов проступали структуры, описанные Марселем Мосом и иными антропологами, а сам Арон Яковлевич, не пользуясь этим термином, шел к понятию «тотального социального феномена»

проблемы, да и докторские диссертации не принято читать за столь короткий срок. Но отказаться она не могла, того требовала корпоративная этика.

¹ Справедливости ради надо сказать, что сегодня общепризнано, что какая-то часть найденных кладов все же зарывалась именно на черный день, как это было, например, с кладами дирхемов, оставляемых на пути «из варяг в греки».

В руки Арона Яковлевича попадает новая книга Жака Ле Гоффа «Цивилизация средневекового Запада», где не только агрикультуре, но и системе ценностей, картине мира средневекового человека придавался структурообразующий характер. Иногда приходится слышать, что Гуревич, мол, все списал у Ле Гоффа и выдал нашей публике за свои открытия. По моим наблюдениям, так говорят патологически бездарные люди. Арон Яковлевич не мог ничего ни у кого списать: он был «практикующим историком», которому сначала надо было так погрузиться в материал, чтобы чувствовать его кончиками пальцев, затем он начинал строить гипотезы и искать себе для этого союзников, сталкивавшихся со схожими проблемами.

Кстати, А.Я. Гуревич часто иронизировал по поводу своих изначальных занятий историей крестьянства — «историей навоза». Но только так выработывалась его уникальная исследовательская интуиция. Она позволила затем ему, овладевшему исторической антропологией, быстро переходить от исландцев к немецким монахам, от Абеяра к ведовским процессам. Но сегодня исторической антропологией владеют многие, «история навоза» не в чести, а новых Гуревичей что-то пока не видно.

В 1966 году в «Науке» выходит его небольшая книжечка «Походы викингов», еще через год — уже вполне академическая монография — «Свободное крестьянство феодальной Норвегии». Если вспомнить, что значила монография для советского медиевиста, то в сорок один год иметь за плечами уже две книги, докторскую, авторство многих статей и многих глав вузовского учебника — это ли не предел мечтаний?

Для Гуревича — не предел.

Обнаружив, что такие этнографические понятия, как дар, потлач, жест, дают ключ к пониманию раннесредневековых обществ, Арон Яковлевич возвращается на знакомую английскую почву, по-новому оценивая институт королевских разъездных пиров (то, что у скандинавов называлось «вейцдой») или тот факт, что англосаксы при письменном оформлении прав земельного участка клали грамоту на землю или вместе с полем передавали чистый лист пергамента. А ведь подобные «куръезы» исследователи отбрасывали как несущественные. Но сколько таких «куръезов» таят в себе не только английские и скандинавские памятники, но и записанные по-латыни «варварские правды»!

И вот драккар Гуревича все чаще совершает набег на земли континентальной Европы, встречая встревоженные взгляды уже

давно трудящихся здесь других представителей школы Неусыхина. Одно дело демонстрировать специфику своего региона, а другое — посягать на чужие территории и на устоявшиеся теории. Да еще в какой-то совсем необычной форме.

После одного из докладов Гуревича, заявившего, что ранне-средневековое общество держалось на обмене дарами и феодализировалась при помощи этого института, отвела в сторону благоволившая к нему А.Д. Люблинская: «Арон Яковлевич, ну что такое дары? Вот мы идем в гости, несем цветочки, коробку конфет. Таковы человеческие отношения от Адама до наших дней. Тут нет проблемы для историков»¹. Отметим, что это слова одного из лучших советских исследователей, прекрасного знатока того материала, на основании которого позже Н. Земон Дэвис напишет книгу в стиле Марсея Моса: «Дар и власть в ренессансной Франции».

В 1966 году научный совет «Закономерности исторического развития общества и перехода от одной общественно-экономической формации к другой» (в академическом просторечии — «От одной к другой») организовал сессию по проблемам генезиса феодализма. Гвоздем программы был доклад А.И. Неусыхина о «дофеодальном периоде». Мэтр предложил описывать «варварские общества» Европы не как загнивание первобытности, а как особый переходный период, для которого характерны свои законы. Попытка хоть как-то модифицировать «пятичленку» воспринималась как сенсация и вызвала бурные обсуждения. Среди прочих выступал и А.Я. Гуревич. Он не спорил с учителем (хотя в других статьях уже не раз делал это), он вроде бы выступал с развитием тезиса о дофеодальном обществе. Но на самом деле доклад был совершенно о другом — о том, как при помощи «варварских правд» выявить символические действия и формулы, ритуальные клише, вскрыть семантические элементы, которые освещали бы особенности мышления людей дофеодального общества. Даже скупые тезисы Арона Яковлевича в контексте других материалов сессии стилистически выдавали «белую ворону»².

То, что Гуревич все чаще говорит о культуре, не казалось коллегам удивительным, коль скоро у него в источниках саги да скальды. Культура — это надстройка, и честь тебе и слава, если ты умел

¹ ИИ. С. 161.

² Научная сессия «Итоги и задачи изучения генезиса феодализма в Западной Европе (30 мая — 3 июня 1966) // Средние века. Вып. 31. М., 1968. С. 5—154.

показать связь базиса с надстройкой, да еще с такой своенравной ее частью, как искусство. Но как можно через культуру объяснять базис (а что же еще можно понимать под словами о «сути средневекового общества»?). Это все больше удивляло и настораживало.

Но Арон Яковлевич оказался нарушителем еще одной конвенции. Уже говорилось о нарастающей нелюбви медиевистов к теоретизированию. Теоретизируют либо наделенные необходимыми полномочиями солидные люди, либо (как гласила корпоративная молва) — тот, кто ничего другого не умеет. Арон Яковлевич не относился ни к первой, ни тем более ко второй категории — но все чаще публиковал статьи по общим вопросам: о том, как при помощи «общественно-исторической психологии» изучать социальную историю; о том, как соотносятся в истории общий закон и конкретная закономерность. Эти статьи оказались востребованы далеко за рамками круга медиевистов и принесли ему широкую известность.

В результате он попадает в академический Институт философии, где пишет статьи в «Философскую энциклопедию» и занимается философскими проблемами исторической науки. Он приятельствует со многими философами, но в глубине души они ему чужды: они рассуждали об историческом процессе, совершенно пренебрегая конкретной историей, «фактографией», как они выражались. «Поэтому на все их построения можно было дунуть — и все ра»¹. А иной истории, кроме конкретной, «человеческой», Арон Яковлевич не признавал (уже в бытность руководителем «Одиссея» он безжалостно отправлял в корзину умные, но «слишком абстрактные» статьи). Он и возможный союз с Б.Ф. Поршневым, в ту пору также ставившим вопросы исторической психологии, категорически отверг, не найдя у последнего ничего, кроме «голой схемы». Вот и еще один несостоявшийся любопытный тандем. Б.Ф. Поршнев — поклонник Робера Мандру, нестандартно мыслящий человек, личность, вызывающая самые оживленные споры. Но союза не вышло.

Хотя в союзниках Арон Яковлевич в ту пору был заинтересован, он познакомился с Тартуской школой, открыл для себя М.М. Бахтина, с интересом перечитывал труды Л.П. Карсавина и П.А. Бицилли, подружился с Л.М. Баткиным. Но для него всегда важнее было подчеркнуть не сходство, а различие с другими.

¹ ИИ. С. 129.

1966 год вообще в его жизни был очень важен. Гуревича (уже не просто «широко известного в узких кругах», но — «модного историка») пригласили прочитать спецкурс в университете Новосибирского академгородка. Арон Яковлевич оказался там в период стремительного взлета этого питомника будущих диссидентов и «подписантов». Оказавшись среди молодых «гадких лебедей»^f, А.Я. Гуревич, кажется, впервые чувствует себя среди своих. И он понимает окончательно, что ни своих учителей, ни собратьев по цеху, отношения с которыми все более охлаждались, ему не убедить в необходимости «другой истории». Надо работать для молодых, ведь смена парадигм в науке достигается лишь при смене поколений. И поэтому он задумал соединить свои наблюдения, по большей части уже опубликованные, в одной книге и назвать ее «учебным пособием». Она не будет учебником в привычном смысле, ее цель — научить студентов думать и показать возможные пути создания «другой истории», истории с человеческим лицом.

Эта книга называлась «Проблемы генезиса феодализма». Уже даже нельзя сказать, что Гуревич в ней боролся с классическими для советской медиевистики концепциями. Она была им трансцендентна. Начать с того, что термин «собственность на землю» вообще объявлялся для Средневековья неприемлемым, вместо него говорилось о *dominium*, бывшем одновременно и собственностью, и властью, и господством. Провозглашалось, что для понимания раннесредневекового общества межличностные связи куда важнее связей вещных. И вообще наши привычные термины — «собственность», «богатство», «свобода», «государство», «индивид» и проч. — не помогут нам понять средневековое общество. Только дешифровка культуры этих варваров дает ключ к восприятию их обычаев, ритуалов, поступков, иррациональных с нашей точки зрения, но образующих достаточно строгую систему. Это не значит, что не надо изучать средневековую экономику. Как раз именно ее то и надо изучать! Однако она функционирует не сама по себе, но лишь постольку, поскольку насыщена человеческим содержанием. Для этого нужна экономическая антропология, ключ к которой надо искать через культуру. Но ведь культура, из надстройки становящаяся теперь основной несущей конструкцией общества, уникальна по определению. А из этого следует, что и переход «от одной к другой», весь этот генезис феодализма, также уникален и характерен лишь для Европы. Да и под «культурой» автор понимал вещи непривычные — не шедевры готики и не философские

трактаты, а нечто неотрефлексированное, разлитое в сознании любого члена данного общества. Так Арон Яковлевич подступал к «менталитету», так работа над «Проблемами генезиса» вела его к «Категориям средневековой культуры».

К 1969 году книга была сдана в издательство «Высшая школа». Вовсю шла работа над «Категориями средневековой культуры» для издательства «Искусство»; в план редподготовки «Науки» была поставлена «История и сага».

Арон Яковлевич безнадежно отрывался от стилистики поведения советских медиевистов. Разве мыслимо издавать столько книг, да еще писать их интересно, живым языком, да еще получать за это гонорары, да еще по собственной инициативе издаваться за границей, да еще публично атаковать своих коллег и, главное, спорить со своим учителем?

А коллеги имели основания не соглашаться с А.Я. Гуревичем. Помимо прямой угрозы для всей советской концепции феодализма, его подход был уязвим для критики. Он не учитывал фактор романского влияния (на этом настаивал А.Р. Корсунский — знаток законов вестготов, вандалов и иных «южных» варваров). Он мало писал о христианстве и христианизации. Он игнорировал наличие общины, хотя где-то она уж точно была. Гуревич отвечал. Как всегда, умно и хлестко.

В 1969 году А.И. Данилов, ставший в ту пору министром просвещения РСФСР, но не бросивший медиевистики, выступил с докладом на всесоюзном совещании по историографии, а вскоре опубликовал текст доклада сначала в родном Томске, а затем и в «Коммунисте». Он указал на опасность увлечения «структурализмом», все дальше уводящего советских историков от марксизма. В качестве примера он рассматривал работы М.А. Барга, Ю.Л. Бесмертного, Е.М. Штаерман и, конечно же, А.Я. Гуревича.

В воспоминаниях Е.В. Гутновой рассказывается, как Данилов пытался собрать вокруг себя коллег-единомышленников и провести организованную атаку, но это ему не удалось; и он, к своей досаде, оказался на этом совещании в одиночестве. Но среди медиевистов началась тихая паника — уж больно это походило на начало новой кампании. Особенно беспокоились те, кто помнил борьбу с космополитизмом. А.Я. не без недоумения рассказывает о том, что А.И. Неусыхин всерьез боялся перспективы ареста. Но это сейчас мы знаем, что наступала эпоха застоя, а вовсе не террора. А в то время, когда советские танки вошли в Чехословакию,

когда раскручивался маховик борьбы с «идеологическими диверсантами», когда разгромили Институт истории, разбив его на две части (Институт истории СССР и Институт всеобщей истории), от власти можно было ожидать чего угодно. Тем более что тон у Данилова был весьма агрессивный.

Но выступил ли Данилов по указанию каких-нибудь компетентных органов? Непохоже, что бы им кто-либо мог манипулировать. Он действовал по собственной инициативе. Правда, его инициатива была поддержана — ведь его текст был перепечатан в органе ЦК КПСС. Но публикация в «Коммунисте» — еще не залог успеха¹. Во всяком случае, так показали дальнейшие события.

Характерны действия Арона Яковлевича, не ставшего каяться и менять свои выводы (да и невозможно его представить в этом качестве), а написавшего письмо, в итоге попавшее в ЦК, в котором он полемизировал с министром, обвиняя его, среди прочего, в скверном владении марксизмом. Это было сделано весьма умело, насколько можно судить по полемическим вставкам, внесенным в рукопись «Проблем генезиса...» уже после эскапады Данилова. Ведь Маркс неоднократно подчеркивал невозможность подходить к феодальной собственности с критериями, выработанными для собственности буржуазной и предполагавшими, что собственником может быть кто-то один. Если собственниками были феодалы, то почему Маркс говорит об экспроприации крестьянской собственности во времена первоначального накопления? А если собственниками являются и феодалы, и крестьяне, то это уже какая-то странная собственность.

Этот эпизод, конечно, заслуживает изучения с позиций микроистории. Сказалась ли здесь борьба каких-то руководящих кланов, нашлись ли у хулимых историков могущественные покровители, скажем, недовольные излишней активностью новоиспеченного министра, или возымели действие аргументы Гуревича, показавшего, что показательной самокритики ждать от него не приходится, а очередной громкий скандал с широкой оглаской гарантирован? Как бы то ни было — хотя ответная статья Арона Яковлевича в «Коммунисте» и не была напечатана, но большая антиструктуралистская

¹ Вспомним судьбу Ю.Н. Афанасьева, который после своей программной статьи в «Коммунисте» был изгнан из Института всеобщей истории. Но это — уже в начале горбачевских времен.

кампания была спущена на тормозах, а сам Гуревич, уволенный из Института философии... был переведен в заветный академический Институт истории (с 1968 года, после раздела, — Институт всеобщей истории), в группу истории Скандинавии.

И опять же можно долго ломать голову над причинами столь странной формы наказания, но одним из факторов был пресловутый «гамбургский счет» медиевистов. Все, включая Данилова, понимали, что «такими, как Гуревич, не разбрасываются». А гипотетическая логика властей могла выглядеть так. Раз Гуревич — ценный специалист в своей области, то пусть своей специальной областью и занимается. Трогать его не будем, но и философствовать ему не рекомендуется. Поэтому его надо из «Философской энциклопедии» изъять (благо он и не философ, о чем сам неоднократно говорил) и предоставить полную возможность изучать его родную Норвегию. И волки будут сыты, и овцы целы. И скандала избежали, и отечественную науку усилили, и международный имидж (подпорченный делом Некрича⁸) сохранили. Для аппаратного решения — весьма неплохо. Что интересно, оно вполне соответствовало духу корпорации медиевистов, с апологией углубленной специализации как противовеса «теоретизированию».

«Проблемы генезиса...» тем временем благополучно вышли в свет. Впрочем, после статьи в «Коммунисте» в редакции для подстраховки попросили внешний отзыв. Арон Яковлевич обратился за ним к А.И. Неусыхину. Тот был уже смертельно болен. Он был чрезвычайно напуган всей этой историей, тем более что Данилов требовал поддержать его против Гуревича, а Гуревич — ждал от него публичной отповеди Данилову. Он прекрасно понимал, что «Проблемы генезиса...» в первую очередь направлены против его концепции. У него была тысяча уважительных поводов отказаться от написания отзыва. Но учитель поддержал книгу спорящего с ним ученика. Сообщество медиевистов все же законно гордится «поколением учителей»!

Когда книга вышла, Неусыхина уже не было в живых, и Гуревич успел посвятить эту книгу его памяти.

В мае 1970 года грянуло печально известное обсуждение «книжки в зеленом переплете» на кафедре истории Средних веков истфака МГУ, инициированное министром А.И. Даниловым.

И вроде ничего особо страшного не произошло. Первое назначенное заседание, на которое А.Я. собирался прийти с солидной «группой поддержки» — философов, искусствоведов

и историков, — отменили. Партийный университетский руководитель тов. Ягодкин, по-видимому, сообразил, что громкий скандал неизбежен. А медиевистам перспектива выноса своих корпоративных проблем на широкое обсуждение, где «чужие», то есть не члены корпорации, будут в большинстве, также не нравилась. Заседание перенесли на другое число, и проводить его должны были в новом здании только что отстроенной «стекляшки» гуманитарного корпуса на Ленинских горах. Вход туда был по пропускам. Не надо думать, что охрану выставили специально по этому случаю, во избежание идеологической диверсии. Просто там на первых порах действовала достаточно строгая пропускная система. В этом нет ничего странного. Например, в наше нынешнее здание, в котором расположен ИВИ РАН, на семинар по исторической антропологии пускают только по паспорту и пропуску. То есть формально все обстояло достаточно легитимно. Могли пройти только сотрудники МГУ. Для А.Я. Гуревича, конечно, заказали бы пропуск. Вот только он это заседание посетить отказался¹.

Университетские медиевисты книгу «Проблемы генезиса феодализма» обсудили на заседании кафедры 20 мая 1970 года. По-критиковали, причем не то что бы огульно. Некоторые выводы нашли интересными. Но решили, что считать эту книгу учебным пособием для студентов не следует. Вот и все. Книгу ведь не велели изъять из библиотек и не объявили антинаучной, автора с работы не уволили¹. Правда, затем стенограмма обсуждения была зачем-то опубликована в «Вопросах истории».

Если взглянуть отстраненно — вполне рутинная ситуация из жизни одной кафедры. Но почему же она имела такой резонанс?

Попробуем рассмотреть позиции сторон.

Что же случилось со «спецназом историков»? Испугались? Вообще-то было от чего: напомним, что власть, похоже, не шутила — гремели политические процессы, выгоняли «подписантов», после Чехословакии все говорили об «идеологических диверсиях», вот и студенческий театр Марка Розовского тот же секретарь парткома МГУ Ягодкин прикрыл. А здесь на кон была поставлена не столько личная биография, сколько престиж корпорации. Позволю себе повторить уже приводимую в сносках цитату из

¹ Описываемая Ароном Яковлевичем встреча с известным специалистом по Зимней войне, уже в конце брежневских времен ставшим в результате проработки расклещиком афиш, — эпизод симптоматичный.

кулуарных разговоров того времени: «Советские медиевисты так долго добивались того, чтобы к нам относились как к идеологически выдержанной и правильно мыслящей когорте ученых, и вот Гуревич своей книгой все это разрушил, и мы опять оказались перед сложными проблемами, преследованиями, гонениями»¹.

Но внешний фактор был бы слишком простым объяснением. Очень многое определялось законами корпоративной этики.

То, что А.Я. Гуревич — медиевист от Бога, большинство хорошо понимало. Но он так много конвенций нарушил, что был уже и не очень «свой». И все равно — если бы он подвергся нападению со стороны каких-нибудь партийных органов, судьба обсуждения, возможно, сложилась бы иначе. В «Истории историка» приводится забавный эпизод. Через несколько лет, в 1974 году, эти самые органы решили устроить разнос 37-го выпуска сборника «Средние века» за публикацию статьи Гуревича о «покаянных книгах»¹. С тем что издание имеет ряд недочетов, медиевисты согласились, но вместо того, чтобы сконцентрировать огонь критики на идеологически невыдержанном коллеге, начали в порядке самокритики разбирать чуть ли не все статьи сборника, причем досталось и бдительнейшему А.Н. Чистозвонову. Серьезное мероприятие было превращено в балаган. И, кстати, в следующем номере вышла еще одна статья Арона Яковлевича, уже о раннесредневековой народной культуре.

Но тогда, в 1970 году, атака была отнюдь не внешней. Да, А.И. Данилов был облечен властью министра. Да, он был в ярости от того, что, несмотря на его статью в «Коммунисте», этот Гуревич не только не прекратил своей деятельности, но, напротив, перешел в наступление. А был Данилов человеком горячим и неуступчивым еще с фронтовых времен. Но для медиевистов он в первую очередь был «своим» — серьезным исследователем, учеником Неусыхина. Самое важное, что он выстраивал ситуацию так, что выступал в роли защитника памяти Учителя от нападок коварного изменника — Гвенелона.

К тому же в глубине души все понимали, что министр-медиевист хотя и излишне резок, но во многом прав. Книга Гуревича действительно была направлена против концепции Неусыхина.

¹ Вот с этого момента я могу опираться уже и на свои воспоминания — через несколько лет после этого обсуждения я, уже начавший общаться с медиевистами, слышал от них точно те же слова.

Она действительно шла вразрез со всей традицией советской медиевистики, в особенности с ее стилем. Она действительно не могла считаться учебным пособием, то есть органической частью «учебно-методического комплекса» советской медиевистики. Вышло так, что коллеги-«кафедралы» позволили себе быть объективными.

Но как переживал академик С.Д. Сказкин, последний из «поколения учителей», руководивший в ту пору и сектором академического института, и кафедрой МГУ! С какой горечью вспоминает об этом эпизоде Е.В. Гутнова! И вроде бы она ничего особенного на том заседании не сказала. Как знаток историографии она напомнила, что о феодализме как об обществе, основанном в первую очередь на личных связях, а не на вещных отношениях, задолго до Гуревича говорил Жак Флакк. Гутнова, кстати, то же самое вполне могла заявить и ранее, во время выступления Данилова на историографической конференции, когда министр так настойчиво добивался от нее поддержки. Но ведь «при чужих» она этого говорить не стала. И все же Е.В. Гутнова — человек, отнюдь не склонный к чрезмерному покаянию, — говорит обо всей этой истории как о том немногом в своей жизни, за что ей впоследствии будет стыдно. Она чувствовала, что произошло нечто необратимое.

Неприятный осадок от этого обсуждения всячески пытались заглушить. Вопреки опасениям самого Арона Яковлевича, дипломная работа его ученика В. Закса вскоре с блеском была защищена на кафедре, и ему дали направление в аспирантуру. А затем многие книги Гуревича включали в списки рекомендованной для студентов литературы. И при каждом удобном случае подчеркивали заслуги Арона Яковлевича как непревзойденного скандинависта.

Но с тех пор как-то никому не приходило в голову, что Гуревича можно пригласить на кафедру с каким-нибудь выступлением, не говоря уже о спецкурсе. Это было стилистически невозможно для обеих сторон.

Что же касается самого Арона Яковлевича, то, читая его мемуары, трудно отделаться от впечатления, что его кафедральное обсуждение задело куда сильнее, чем все остальные неприятности, коих в жизни он встречал немало. Даже самую скромную попытку представить ситуацию в более сбалансированном виде он воспринимал в штыки и вновь и вновь бросался рассказывать об этом судилище. Неужели он ожидал какого-то иного исхода? Ведь о том, что коллег своих ему переубедить невозможно, он, по его же словам, понял уже давно.

Может быть, его задел большой для корпоративного сознания вопрос — о верности Учителю? Очень похоже. Но для себя Арон Яковлевич этот вопрос решил, посчитав, что истинная верность Неусыхину состоит не в подражании букве, а в верности духу, направленному на неутомимый поиск истины. И потому, участвуя в подготовке «Истории крестьянства», не мог допустить, что происхождение германского крестьянства будет изложено с позиций А.И. Неусыхина¹.

Главное же было в том, что, как Арон Яковлевич прекрасно понимал, речь шла не просто о размежевании с родной корпорацией. Это был последний раунд в борьбе за власть. Не за административную (хотя, может быть, и за нее тоже), но — за власть авторитета, принадлежащую тому, кто завоеует лидирующие позиции в науке. Корпорация медиевистов, может быть, и не осознавала этого с такой полнотой, но уступать власть Гуревичу не хотела, да и делиться ею не собиралась.

Однако ставки в этой борьбе были еще выше. Л.М. Баткин, составляя отчаянное письмо в поддержку А.Я. Гуревича, тогда иронизировал по поводу закрытого характера обсуждения, которое «было окружено обстановкой такой таинственности, словно речь на нем должна была идти не об эволюции древних скандинавов и франков, а о новом стратегическом оружии»². Ирония здесь неуместна. Речь шла именно об интересах государственной важности, ведь медиевистов продолжали считать «спецназом» историков, «солью» земли. Кто побеждал здесь, тот задавал тон в исторической науке в целом³. И стремления властей оградить медиевистику от «идеологических диверсантов» свидетельствовали не о невежестве и обскурантизме, а об их проницательности.

¹ Арон Яковлевич написал свой раздел. Но в редколлегии, кроме него, за этот том отвечали ученики Неусыхина — Л.Т. Мильская, Ю.Л. Бессмертный, а также давний оппонент Гуревича — А.Р. Корсунский, и ситуация была весьма щекотливой. К тому же после критики Данилова и Чистозвонова проект надолго был отложен. А когда уже в 1980-х годах к нему вернулись, то Ю.Л. Бессмертный нашел компромиссный вариант, опубликовав оба текста. Тем самым читателю было предложено выбирать самому. Помню шок, который вызвал этот том у вузовских преподавателей. Но — на дворе уже была иная эпоха.

² Баткин Л.М. Указ. соч. С. 11.

³ Что, собственно, и произошло затем, на рубеже 80—90-х годов XX века, и что блестяще подтвердили Л.М. Баткин, Ю.Л. Бессмертный и А.Я. Гуревич.

По отношению к А.Я. Гуревичу власть¹ продолжала играть по вполне внятным правилам. «Такими, как Гуревич, не разбрасываются». Его продолжали весьма ценить как специалиста в своей, скандинавской области, но блокировали его попытки выйти на иной уровень генерализации. «История крестьянства» была торпедирована, и работа над ней приостановилась на многие годы (хотя Гуревич был здесь не единственной и, может быть, не главной мишенью). Публикации в «Средних веках» на не скандинавские темы, как мы поняли, также не поощрялись. Вместе с тем, в «Науке» спокойно выходили его скандинавские монографии, главы в коллективных трудах.

Но почему ему позволили издавать то, что он издавал в издательстве «Искусство», начиная с «Категорий средневековой культуры», то есть — книги уже откровенно несоветские по самой своей форме, в которых сносок на классиков марксизма вообще не было?!

В отличие от Гуревича, люди, получившие властные функции в науке, были неспособны в культуре увидеть ключ к социальной истории. Да и само слово «культура» усыпляло этих твердокаменных марксистов — любителей музыки и ценителей живописи. Где-то в середине 1980-х годов А.Н. Чистозвонов спросил меня о каком-то французском историке: «Скажите, а он что — серьезный специалист или так, историей культуры занимается?»

Вот и недоглядели.

У Арона Яковлевича впереди была своя жизнь. У сообщества советских медиевистов — своя. В общем, обе стороны прожили ее неплохо.

Гуревич не порывал окончательно ни с корпорацией медиевистов, ни с институтскими изданиями. В «Науке» будут выходить его книги; после прихода на пост директора З.В. Удальцовой он продолжит работу над «Историей крестьянства»; будет участвовать в некоторых институтских конференциях. Но параллельно

¹ Дорого бы я дал за то, чтобы знать, кого следует понимать за этим, казалось бы, столь внятным термином: анонимные Пятое управление КГБ и идеологический отдел ЦК или же вполне конкретных людей — директора института, заведующего сектором, заведующего кафедрой? Это была сложная конфигурация с любопытными правилами игры: первые прислушивались к мнению вторых, но далеко не во всем; вторые зачастую действовали по своей инициативе, но всегда прикрывались фигурами первых, точнее — безличной формулой «есть мнение».

он становится одним из лидеров той науки, которую Н.Е. Копосов и О.Ю. Бессмертная назовут «неофициальной историей» или «новой исторической наукой»¹. Ее атрибутами стали «неофициальные», подальше от глаз начальства организуемые конференции с участием С.С. Аверинцева, Ю.Л. Бессмертного, М.Л. Гаспарова, В.В. Иванова и, конечно, А.Я. Гуревича. Публики на эти заседания собиралось так много, что впору было вызывать конную милицию. Это была «наша», «настоящая» наука. У нее быстро сформировались свой язык, своя табель о рангах, свои ритуалы, цементирующие обманчивое единство сообщества². Это была действительно «другая наука», игравшая по другим правилам, у нее был иной стиль. Стиль, который сам себя любил описывать в терминах уехавшего к тому времени барда: «Эрика берет четыре копии...», а ретроспективно — словами в ту пору совсем юного рок-музыканта: «Поколение дворников и сторожей...»

Не стоит утрировать. «Неофициальная наука» умела весьма удачно использовать некоторые академические структуры. В ИНИОНе выходили реферативные журналы и сборники, дававшие возможность принципиально иного, чем ранее, уровня знакомства с трудами западных коллег³. «Неофициальные» конференции проводились под эгидой академического Совета по истории мировой культуры, а затем материалы этих конференций издавались все в том же издательстве «Наука» большими тиражами. Но, конечно, успех «другой истории», успех А.Я. Гуревича был тоже — другой, внекорпоративный.

Книги Арона Яковлевича выходили большими тиражами, переводились на все большее число языков. Но всегда, когда его спрашивали, какая из его книг наиболее дорога ему, он называл ту злосчастную книгу в зеленой обложке — «Проблемы генезиса феодализма». И это не были только чувства родителя к больному ребенку — Арон Яковлевич не отличался сентиментальностью. Это было тоскливое осознание упущенного шанса.

¹ Копосов Н. (при участии Бессмертной О.). Юрий Львович Бессмертный и «новая историческая наука» в России // Homo historicus. К 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного. Кн. 1. М., 2003. С. 132.

² Сегодня трудно поверить, что публика с равным энтузиазмом внимала выступлениям Л.Н. Гумилева и Ю.М. Лотмана.

³ А.Я. Гуревич публиковал там рефераты книг Дюби, Ле Гоффа, Ле Руа Ладюри под псевдонимом Аросов.

Сейчас передо мной лежит объемный номер «Одиссея-2006» с характерным подзаголовком, указывающим на тематическую специфику номера: «Феодализм перед судом историков». То, о чем там говорится сегодня как отечественными, так и зарубежными историками, говорилось А.Я. Гуревичем тогда, в конце 1960-х годов. Если бы в ту пору ему удалось довести задуманное до конца, завоевать и удержать лидерство в рамках корпорации, использовать ее удивительный потенциал воспроизводства учеников, то произошло бы действительно качественное обновление, мутация советской медиевистики. Она нашла бы способ преодолеть неумолимую эволюцию научных школ, столь часто описываемых историками науки: от блестящих основателей — к старательным продолжателям, а от них — к бледным эпигонам. Тогда бы у нас была самая передовая для того времени медиевистика в мире. Она бы изучала феодальное общество как систему, она бы интересно исследовала проблемы функционирования средневековой экономики, но это была бы «медиевистика с человеческим лицом».

Но — не случилось^k. Очередная точка бифуркации была пройдена — как раз тогда, когда было покончено и с проектами «социализма с человеческим лицом».

А корпорация советских медиевистов продолжала жить по своим законам. Она становилась еще более углубленной в специализацию, еще больше поубавилось желания к самостоятельному теоретизированию. Зато интерес к культуре стал проявляться и у «серьезных историков» (не без примера Арона Яковлевича). Да и писать стали больше и чуть раскованнее. И молодежь по-прежнему стремилась влиться в состав «спецназа историков».

Но вот характерный эпизод. В 1989 году я сидел на знаменитой конференции, посвященной «Анналам» (триумфальной для «несоветской советской истории», и прежде всего — для А.Я. Гуревича). На «круглом столе» выступал кто-то из начальства и говорил, что нам надо брать пример с «Анналов» и реформировать наконец нашу советскую историческую науку, дать ей возможность полнее раскрыть свой творческий марксистский потенциал. Мой сосед по залу, медиевист и, кстати сказать, вполне убежденный марксист, покраснел и, слегка заикаясь, пробормотал: «Поздно, дядя, пить “Боржом” — почка отвалилась».

В чем-то он был прав.

Комментарий

Текст об А.Я. Гуревиче существует в двух видах: статьи в «Новом литературном обозрении», вышедшей в пятом номере за 2006 год, и текста доклада на семинаре Института высших гуманитарных исследований РГГУ «История гуманитарных наук», прочитанного по приглашению его тогдашнего руководителя С.Л. Козлова 6 декабря 2006 году. После некоторых колебаний я остановил свой выбор на втором варианте. Журнальный текст немного меньше по объему, но повествование в нем доведено до середины 2000-х годов. Доклад же концентрирует внимание на взаимоотношениях Арон Яковлевича с именно советской медиевистикой. Я предпочел бы забыть об этом докладе, но он все равно вывешен на нескольких сайтах, став объектом историографического внимания. Существенных изменений я в публикуемый текст не вносил, разве что снял последние несколько абзацев, в которых был выдвинуто несколько тезисов для обсуждения на семинаре. Тезисы не понадобились. Обсуждение было, но оно пошло совсем по иному сценарию, похожему не на научную дискуссию, но скорее на кампанию, разоблачавшие презренных космополитов, о которых так ярко писал сам А.Я. Гуревич.

На сегодняшний день это пока самое неприятное из пережитых мной обсуждений. Если в журнальном варианте я ориентировался на более широкую публику, то в данном случае рассчитывал на своих, думая привлечь внимание к некоторым особенностям взаимодействия историка и его профессионального окружения. Писал в некотором роде «изнутри», в равной степени считая себя причастным и к корпоративной традиции (связанной с сектором Средних веков), и с традицией Гуревича (представленной редакцией «Одиссея»). Странно, но я действительно не ожидал, что реакция будет столь бурной и почти единодушно негативной. Настолько, что мое сотрудничество с «Одиссеем» фактически прекратилось полностью. А ведь не будь этого обсуждения, может, и наука наша развивалась как-то иначе. Вот еще одна «точка бифуркации», наподобие тех, о которых говорилось в докладе.

Так что неожиданно текст для меня стал одним из важнейших. Поэтому, даже если бы я хотел что-то смягчить или сказать более обтекаемо, то теперь — нельзя. К тому же он сам уже стал объектом историографической мини-дискуссии. Так, В. Рыжковский увидел в моем выступлении попытку найти компромисс между Гуревичем и его оппонентами (*Рыжковский В. Советская медиевистика and Beyond* (к истории одной дискуссии) // НЛО. 2009. № 97), но С. Крих возразил, что если это и компромисс, то компромисс в пользу Гуревича (как жаль, что его не было на том заседании 6 декабря!), предположив, что я сначала выступил с докладом, а лишь затем, скруглив некоторые углы, написал статью в «НЛО» (*Крих С. Быть марксистом: крест советского историка* // <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40013/08-Krih.pdf?sequence=1>. С. 173).

^a Уваров П.Ю. Портрет медиевиста на фоне корпорации // НЛЮ. 2006. № 81. С. 194—208. Это был специальный мемориальный выпуск «НЛЮ». Первоначально я предложил назвать статью «Нарушитель конвенций», но редакция справедливо настояла на ином варианте.

^b Это уподобление до сих пор вызывает спор у читателей, насколько можно судить по откликам в интернете. Обижаясь антиковеды и востоковеды, ничуть не уступающие медиевистам. Но А.Я. Гуревич как медиевист если с кем и сравнивал свою дисциплинарную принадлежность, то скорее с историками России или специалистами по Новой и Новейшей истории. Идеологическая нагрузка на медиевистов была немного большей, чем на слишком специфических востоковедов и слишком удаленных от современности античников.

^c Надо признать, что в данном случае я сознательно эпатировал публику, собравшуюся на семинар. Репутация Н.А. Сидоровой среди медиевистов устойчиво негативна, а ее монография «Очерки по истории ранней городской культуры во Франции» (1953) считается образчиком сталинского подхода к культуре. Дело даже не в обилии цитат из Сталина, «Хронологических выписок» Маркса и трудов львовского журналиста Ярослава Галана, зверски убитого «католическими изуверами», а в несокрушимой силе силлогизмов: феодально-католической культуре господствующего класса противостоит в XII веке передовая раннегородская культура, представленная как революционно-демократическими элементами (мятежный Арнольд Брешианский), так и умеренными элементами (Петр Абеляр). Вся история культуры того времени и есть борьба реакционной линии с прогрессивной. Эти декларации, впрочем, подкреплялись солидными томами «Латинской патрологии». Надо сказать, что и сегодняшние студенты, которым я даю задание подготовить доклад про Абеляра, часто оказываются очарованными железобетонной логикой Сидоровой. Если же восстанавливать историографический контекст написания этой работы, то вспомним, что с середины 30-х годов изучение средневековой культуры находилось в СССР под подозрением. Историк-марксист должен был в первую очередь заниматься базисом. Сидорова же громогласно возвещала право (и даже обязанность) советского историка изучать средневековую культуру, в том числе и труды католических богословов. Но — с правильных марксистских позиций! Речь Н.А. Сидоровой 23 марта 1949 года на объединенном заседании сектора Средних веков Института истории АН СССР и кафедры истории Средних веков МГУ, посвященном вопросу борьбы с космополитизмом в исторической науке (см. публикацию стенограммы: Одиссей. Человек в истории. 2007. М., 2007. С. 250—340), — чтение не для слабонервных. Молодой парторг медиевистов разоблачает мэтров — Косминского, Неусыхина, Сказкина, Коган-Бернштейн. Но никто не замечает того, что, в отличие от других трудовых коллективов, где шли подобные проработки, ни один из ошельмованных сотрудников сектора не был ни посажен, ни уволен с работы. Мне видится в этом хозяйская логика: взять инициативу

критики в свои руки и сохранить коллектив, заставив его работать еще лучше. Во всяком случае, такое допущение дает возможность понять, почему Сидорова так хотела заполучить А.Я. Гуревича в свой сектор. Но не идеализирую ли я эту строгую даму? Вполне возможно — ведь я в какой-то мере ее приемник, возглавляю тот же сектор, каким она руководила.

^d Сидорова Н.А. XI Международный конгресс историков и вопросы медиевистики // Средние века. Вып. 20. 1960. С. 260. И еще одно эпатированное коллегами наблюдение: основной тезис книги Жака Ле Гоффа «Интеллектуалы Средневековья» (1957) и одноименной монографии Сидоровой (1953) оказывается тем же самым: Абельяр рассматривается как детище ранней городской культуры, противопоставляемой средневековому окружению.

^e Вот этот абзац, наверное, и вызвал главную бурю. Не надо мне было его писать. Но что теперь поделаешь, не снимать же его. Альтернативная история вещь столь же заманчивая, сколь и опасная.

^f Имеются в виду персонажи одноименного романа братьев Стругацких, написанного тогда же, в 1967 году. Речь идет о новом поколении детей, родившихся в авторитарной стране, но помещенных в своеобразную резервацию под эгидой военных, где их воспитателями стали ученые-мутанты («мокрецы»). Новому поколению оказались открыты сверхчеловеческие возможности, позволившие покончить с прежним миром.

^g Осуждение книги А.М. Некрича «22 июня 1941 г.» получило международный резонанс, столь же неожиданный, сколь и нежелательный для партийного руководства. Публикация журнала «Шпигель» на эту тему вызвала ярость Брежнева.

^h Хотя и оценил Сергей Крих мою интерпретацию как компромисс в пользу Гуревича, в данном пассаже я, возможно, слишком увлекся поиском формальных оправданий действиям коллег с кафедры МГУ. Человек, близкий в ту пору к академику С.Д. Сказкину, прочитав мой текст, сказал: «Да нет, конечно, старик ни в коем случае не хотел проводить открытое заседание. Он прекрасно знал характер Гуревича и знал, что тот придет со своей кликой, будет шум, сплошная политика, а Сказкин боялся всего этого».

ⁱ Кроме статьи самого А.Я. Гуревича («Народная культура раннего средневековья в зеркале “покаянных книг”») в этом же выпуске была опубликована восторженная рецензия А.П. Каждана на «Категории средневековой культуры». Для меня же это издание имеет особую цену — это был первый из выпусков «Средних веков», купленный мной на мою первую стипендию. Считаю, что мне сильно повезло с дебютом.

^ј Надо отметить самоотверженность Елены Новик, издательского редактора «Категорий средневековой культуры», которой удалось чудесным образом вывести рукопись из-под неминуемого удара. Впрочем, стоит ли удивляться? Елена Сергеевна — прекрасный специалист по шаманским обрядам, она вполне могла отвести глаза начальству, применив на практике свои знания фольклориста.

^к И опять — опыт «альтернативной истории» или «контрфактуального моделирования». Но в данном случае речь идет не о моих гипотезах, а о вполне конкретной статье известного медиевиста Алена Герро (1990), в которой он, критикуя современную ему французскую историографию, дает свой (весьма идеализированный) взгляд на марксистскую медиевистику в СССР и других социалистических странах. Ссылаясь на Б. Поршнева, С. Сказкина, А. Гуревича, Ю. Бессмертного в СССР; В. Кулы, А. Вычански, Г. Самсоновича, Б. Геремека в Польше и на ряд историков ГДР, Герро заключил, что «интеллектуальная атмосфера медиевистов в Восточной Европе совсем не такова, какой многие себе представляют» (русский перевод см.: *Герро А. Фьеф, феодальность, феодализм. Социальный заказ и историческое мышление // Одиссей. Человек в истории. 2006: Феодализм перед судом историков. М., 2006. С. 97*).

РОЛАН МУНЬЕ — ИСТОРИК С РЕПУТАЦИЕЙ КОНСЕРВАТОРА

Предисловие к книге Ролана Мунье
«Убийство Генриха IV» (СПб., 2008)

Хорошо, что начинается знакомство российской публики с творчеством выдающегося французского историка Ролана Мунье.

Плохо, что это происходит так поздно.

То, что наша культура франкоцентрична, — общеизвестно со времен Грибоедова. К тому же за последние два десятка лет благодаря издательским программам французского правительства перевод и публикация практически любого французского автора могли стать безубыточным коммерческим предприятием. Да и писал Мунье на темы, заведомо интересные для наших читателей, возвращенных на книги Дюма. Так почему же имя этого автора до сих пор практически неизвестно в России?

В советские времена это можно было бы объяснить идеологическими причинами — Мунье не скрывал своих консервативных взглядов, и его часто именовали антикоммунистом. Но и во времена постсоветские Мунье не везло. Он явно не принадлежал к движению «Анналов» — а издатели почему-то уверовали в то, что современную историческую мысль Франции представляют только «анналисты» (одного лишь Жака Ле Гоффа издали восемь раз^a). Не походил он и на историков, пробавляющихся занимательными биографиями королей или сулящих читателю распутывание разнообразных тайн истории (кто скрывался за «Железной маской», в чем состояла «тайна тамплиеров» и кем была «настоящая Жанна д'Арк»). Но возможна и другая причина — угловатая старомодность Мунье. Всем своим творчеством он опровергал мнение о том, что традиционную историю надо списать в утиль после стольких «коперниканских революций», произведенных в гуманитарных науках. Можно ли создать исторический текст без терминов «симулякр», «эпистема», без анализа дискурсов, темпоральностей и телесностей? Оказывается, можно и совсем неплохо. Более того,

проходит время — и «симулякры» с «темпоральностями» смотрятся на фоне его книг как ржавеющий корпус Центра Помпиду на фоне особняков соседнего квартала Марэ^b. Впрочем, последнее соображение уже походит на «теорию заговора», а к этим теориям Мунье обычно относился скептически...

Ролан Мунье родился в 1907 году. Обучаясь в Сорбонне, он посещал еще и курсы Высшей школы практических исследований. Это учреждение было основано еще в 1866 году с целью ликвидировать наметившееся отставание французской исторической школы от школы германской. Если в традиционной французской системе преподавания определяющая роль отводилась красноречию лектора, читавшего общие курсы, то в Высшей школе занятия строились по системе, разработанной Леопольдом фон Ранке, где упор делался на практических занятиях с источниками и на исследовательских семинарах. Один из рецептов творческого успеха «школы Мунье» заключался в последовательной реализации мэтром этих научно-педагогических принципов, воспринятых в годы обучения ремеслу историка. Окончив университет, молодой преподаватель работал с 1932 года в престижном коллеже Корнеля в Руане. Здесь, опираясь преимущественно на норманнские архивы, он начал работу над своей диссертацией под руководством Жоржа Пажеса, специалиста по истории XVII века. Другим его учителем был знаток французского права А. Оливье-Мартен, прививший Ролану Мунье редкую для историков его поколения любовь к сочинениям юристов. Вскоре Мунье начал преподавать и в столичных коллежах, оставаясь при этом связанным с Руаном. Во время войны Мунье участвовал в Сопротивлении и был арестован руанским гестапо. Чудом ему удалось избежать концлагеря.

В 1945 году он защитил диссертацию и опубликовал ее в виде объемной книги, посвященной продаже королевских должностей при Генрихе IV и Людовике XIII¹.

Историки, изучающие институты старой французской монархии, обычно видели в практике продажи должностей (*vénalité des offices*) коррупцию, абсолютное зло, разрушавшие работу механизма государственного управления. Мунье, развивая идею, некогда высказанную Пажесом, подошел к этой практике как к социальной проблеме, концентрируя внимание на том, какие группы в первую

¹ *Mousnier R. La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII. Rouen: Maugard, 1945.*

очередь становились собственниками должностей. В его работе новым был выбор источников — анализ данных парижских центральных архивов, где были сконцентрированы сведения об актах продажи должностей и их реальной стоимости, сочетался с доскональным знанием локального нормандского материала. В итоге получилась стереоскопическая картина прошлого, основанная на массовом источниковом материале. Порывая с традиционной практикой историков цитировать лишь отдельные примеры, Мунье продемонстрировал свою завидную исследовательскую интуицию, стремление докопаться до социальных причин наблюдаемых явлений, доскональное знание изучаемого общества, включая умение разбираться в экономических тонкостях. Социальный анализ практики продажи должностей давал в руки Мунье ключ к пониманию такого сложнейшего феномена, как Фронда, которая трактовалась им как защитная реакция владельцев должностей на самоуправство чрезвычайных комиссаров — интендантов времен Ришелье.

Работу заметили. То, что именно в сфере социального следует искать объяснение крупных политических событий, было вполне созвучно настроениям авангарда французской историографии, к которому принято причислять круг историков, сформировавшийся вокруг журнала «Анналы».

Судьба все время будет сталкивать Мунье с «анналистами». Вот и свою карьеру университетского преподавателя он начал в 1947 году именно в Страсбурге, там, где после Первой мировой войны преподавали Люсьен Февр и Марк Блок, они начали издавать в этом городе свои «Анналы экономической и социальной истории».

В Страсбургском университете Ролану Мунье удастся воплотить в жизнь свой идеал исторического семинара. Профессор объединял вокруг себя учеников — дипломников и аспирантов, выдвигая единый исследовательский план. Каждому доставался определенный участок работы, и раз в неделю очередной докладчик отчитывался сперва о характере избранных источников, об избранном методе исследования, о первых полученных результатах. Затем каждый из участников брал слово, чтобы вносить критические замечания, задавать вопросы, предлагать свой способ интерпретации наблюдаемого явления. В ходе каждого семинарского заседания велся протокол, и в конце года готовился заключительный доклад. В идеале итогом работы семинара становился коллективный труд. Сегодня в этом демарше трудно усмотреть нечто удивительное, но, повторяю, во Франции с ее аподиктическими традициями преподавания это

было большой новацией. А педагогом Мунье был чрезвычайно требовательным и умел добиваться от учеников хороших результатов. При этом сам он продолжал выпускать книги — в 1947 году вышла монография, посвященная Королевскому совету времен Людовика XIII¹, в 1954-м году — обобщающий труд, рассказывающий о великих преобразованиях в европейской культуре XVI—XVII веков, приведших в итоге к мировому доминированию Европы². За эту работу Мунье получил престижную премию Академии моральных и политических наук.

В 1955 году он был избран профессором Сорбонны. По воспоминаниям современников его занятия всегда проходили при переполненной аудитории. Мунье умел подбирать все новые неожиданные факты к своим лекциям. Но он не ограничивался демонстрацией своей незаурядной эрудиции, а всегда пытался найти некое глубинное объяснение наблюдаемым процессам, создать новые объяснительные модели. Его вполне можно назвать сторонником «истории-проблемы», столь востребованной в послевоенной Франции.

В ту пору необычайно популярным был «квантитативный» подход к истории извечного оппонента Мунье Эрнеста Лабрусса³, профессора кафедры экономической истории Сорбонны. Властителем дум был также и возглавивший «Анналы» Фернан Бродель с его историей «большой длительности». Но самым важным увлечением поколения послевоенных историков был марксизм. Сегодня трудно представить, что едва ли не большинство ярких французских историков были в ту пору членами компартии и убежденными сталинистами.

На этом фоне Ролан Мунье оставался белой вороной. Он не боялся открыто заявлять о своем философском идеализме, не скрывал того, что был глубоко верующим католиком. Он не терпел догматизма в любом его проявлении, но это не мешало ему

¹ *Mousnier R. Les règlements du Conseil du Roi sous Louis XIII. Paris: Société de l'Histoire de France, 1949.*

² *Mousnier R. Les XVI^e et XVII^e siècles. La grande mutation intellectuelle de l'humanité. L'avènement de la science et l'expansion de l'Europe. Paris: PUF, 1954; см. также его работу: Progrès scientifique et technique au XVIII^e siècle. Paris: Plon, 1958.*

³ Оживленная полемика никогда не мешала Мунье сотрудничать со своими оппонентами. Лабрусс и Мунье совместно издали книгу: *Labrousse E., Mousnier R. Le XVIII^e siècle. L'époque des Lumières (1715—1815). Paris: PUF, 1953*, которая затем была авторами дополнена и переиздана в 1966 году.

выступать с обобщениями и ратовать за оживленный диалог истории с социальными науками. Целый год он провел в США, где ознакомился с методами социологии и антропологии. Вернувшись, он создал для студентов Сорбонны особый теоретический курс, междисциплинарные исследования поощрялись и на его семинаре. Еще задолго до утверждения среди французских историков моды на социологию он знакомил своих учеников с трудами Питирима Сорокина и Толкотта Парсонса, примеряя, в какой мере заимствования из арсенала социальных наук позволяют лучше разобраться в хитросплетениях семейных и социальных связей во Франции Старого порядка.

Но в учебниках по историографии Мунье обычно упоминается не как оригинальный исследователь и харизматический педагог, но как яростный полемист. Он бросил вызов марксистской истории в лице Б.Ф. Поршнева. Книга советского историка «Народные восстания во Франции накануне Фронды», удостоенная в 1949 году Сталинской премии, стала доступной западным коллегам в немецком переводе, изданном в ГДР в 1953 году, а затем была опубликована в 1963 году во Франции¹.

Многие французы были впечатлены смелой трактовкой истории XVII века. Оказывается, все это столетие было преисполнено многочисленными «Жакериями», тщательно скрываемыми буржуазной историографией. Общество того времени понималось советским историком как феодальное по своей природе. То, что большую часть своего «прибавочного продукта» крестьянин отдавал вовсе не своему сеньору, а сборщикам королевских налогов, роли не играло. «Феодальная рента» собиралась централизованно, а затем перераспределялась в пользу господствующего класса. Буржуазия, приобретая должности, также «феодализировалась», совершая предательство по отношению к своей исторической миссии. Изменив своему классу, вчерашние буржуа становились агентами феодального государства, высшей стадией которого был абсолютизм — дворянская диктатура, призванная подавлять нарастающий вал классовой борьбы трудящихся города и деревни. Соблазнительная простота концепции, железная логика, подкрепленная обильным цитированием источников, завоевали Поршневу многих сторонников во Франции.

¹ *Porchnev B.F. Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648 / Éd. par R. Mandrou. Paris: S.E.V.P.E.N., 1963.*

Мунье начал полемику с Поршневым еще до перевода его книги на французский язык. Он вновь и вновь перечитывал источники, на которые ссылался советский историк¹, и обнаруживал, что во всех анализируемых восстаниях руководителями и застрельщиками выступали как раз те, кого Поршнева относил в лагерь «феодалов», — духовенство, представители провинциальных дворянских линий, местные офицеры — собственники должностей, недовольные самоуправством королевских интендантов, которые были наделены чрезвычайными полномочиями по сбору налогов. Мунье не понимал, как можно было игнорировать роялистское сознание восставших крестьян, кричавших: «Да здравствует король без габели!» Классовый анализ виделся ему слишком грубым инструментом для изучения общества Старого порядка, и еще меньше — абсолютистского государства.

Но стиль Мунье-полемиста заключался в том, что, вступив в дискуссию, он не ограничивался указанием на слабые места в построениях оппонента, но непременно сам старался углубиться в новую для себя проблематику. Он всерьез заинтересовался природой крестьянских волнений, на некоторое время сделав их сюжетом своего исследовательского семинара. И позже его ученики опубликуют исчерпывающие монографии по этой теме². Сам же Мунье занялся компаративными исследованиями и сравнил крупнейшие крестьянские восстания XVII столетия — во Франции, России и Китае³.

Не меньшую известность, чем полемика с Поршневым, получил спор Ролана Мунье с Эрнестом Лабруссом, безусловным лидером социально-экономического направления в истории, блестящим педагогом.

¹ Не случайно вскоре после выхода книги Поршнева (основанной главным образом на донесениях местных властей центральному правительству) Мунье опубликовал сборник писем, адресованных канцлеру Сегье: *Lettres et mémoires adressés au chancelier Séguier (1633—1649) / Recueillis et publiés par R. Mousnier*. Paris: PUF, 1964. Выяснилось, что многие построения Поршнева ущербны именно с источниковедческой точки зрения. Впрочем, задолго до Мунье это было отмечено А.Д. Люблинской.

² *Bercé Y.-M. Histoire des Croquants. Études des soulèvements populaires au XVII^e siècle dans le sud-ouest de la France*. Paris; Genève: Droz, 1974; *Foisil M. La révolte des nu-pieds et les révoltes normandes de 1639*. Paris: PUF, 1970.

³ *Mousnier R. Fureurs paysannes. Les paysans dans les révoltes du XVII^e siècle, France, Russie, Chine*. Paris: Calman-Lévy, 1968.

Лабрусс отстаивал классовый подход при изучении общества Старого порядка, инициировав масштабный анализ массовых источников — фискальных и нотариальных — с тем, чтобы получить в итоге «объективные» данные о классовой стратификации, не зависящие ни от иллюзий современников, ни от предвзятых идей историков. Полемика «школы Лабрусса» и «школы Мунье» началась еще в 1950-е годы, но кульминационным ее моментом стали знаменитые коллоквиумы в Сен-Клу¹.

С точки зрения Мунье и его учеников, изучаемое ими общество было не классовым, а сословным. Впрочем, мы должны отметить досадную невозможность адекватного перевода. В нашей традиции словом «сословия» передают два разных термина: *ordres* и *etats*. Во Франции было три «Etats» (лишь иногда фигурально говорили о «дворянстве мантии» как о «четвертом сословии» — *quatrième état*). Число *ordres* было намного большим, и критерии их выделения были более сложными. Так, например, приходские священники и монахи принадлежали к одному «état», но к разным «ordres»; то же можно сказать о советниках судов и адвокатах. Можно было бы предложить в качестве эквивалента термин «чин», но и он в русском языке нагружен особыми коннотациями. Вместе с тем в наших словарях и учебниках сословие часто определяют как общность, выделяемую на основе юридических критериев. Мунье же был с этим категорически не согласен, неоднократно возражая, что в XVI и XVII веках классификация на основе *ordres* была социальной реальностью, лишь часть из которой находила юридическое выражение. И положение той или иной группы на иерархической лестнице определялось не уровнем дохода, не обладанием наследственным или благоприобретенным имуществом и, уж конечно, не местом в системе производства, но прежде всего тем социальным престижем, который отводился обществом данной группе, в соответствии с закрепленными за этой группой социальными функциями. В подтверждение своего видения Ролан Мунье ссылаясь не на авторитет Маркса или социологов XX века, но на

¹ L'histoire sociale: Source et méthodes. Colloque de l'École normale supérieure de Saint-Cloud (15—16 mai 1965). Paris: PUF, 1967; Problèmes de stratification sociale. Actes du colloque international (1966) / Éd. par R. Mousnier. Paris: PUF, 1968. Niveaux de culture et groupes sociaux. Actes du colloque réuni du 7 au 9 mai 1966 à l'École normale supérieure. Paris; La Haye: Mouton, 1967. Ordres et classes: Communications. Colloque d'histoire sociale, Saint-Cloud, 24—25 mai 1967 / Éd. par D. Roche & E. Labrousse. Paris; La Haye: Mouton, 1973.

труды французских юристов начала XVII столетия. «Общество orders» скреплялось не столько горизонтальными связями, сколько иерархическими отношениями вертикальной солидарности. Отношения верности патрона и клиента традиционно находились в центре внимания школы Мунье¹, сделавшего эти сюжеты темой нескольких своих семинаров. Мунье отмечал, что его интересуют не только структура общества, но и реальные принципы его функционирования. В клиентах и иных вертикальных связях Мунье видел ключ к раскрытию политических механизмов французской монархии.

Дискуссии в Сен-Клу, находившиеся в ту пору на переднем крае историографических дискуссий, позже обрели славу «образцов методологической бесплодности». Однако именно в ходе этих дебатов происходило осмысление необходимости поворота к культуре, к ценностям изучаемого общества, к имманентным культурным принципам. Трудно не заметить, что, хотя Мунье и не использовал термин «менталитет», его позиция представлялась более приближенной к тому, что вскоре будет без ложной скромности названо «новой историей» или «новой культурной историей».

Тогда, в Сен-Клу, отвечая на возражения Мунье, Лабрусс сказал: «Есть два рода умов, в равной степени достойных уважения: те, которые ищут решения проблем, и те, которые ищут дополнительные трудности на пути их решения. Я принадлежу к первой»². Подразумевалось, что его оппонент принадлежит к категории извечных скептиков. Это верно лишь отчасти, поскольку и сам Мунье охотно конструировал генерализирующие теории.

Задумавшись над принципами социальной организации, Мунье вновь прибегнул к компаративному методу. Он опубликовал небольшой обзор разных типов социальной стратификации, основанных на определенных принципах социальной иерархии: кастовые, сословные, «литургические» (к нему он относил Московское государство), «философские» (основанные на принципе личных заслуг и принесенной пользе общему делу). Общества, основанные на классовом делении в зависимости от отношений собственности на средства производства, возникают после промышленного

¹ См., например: *Clientèles et fidélités en Europe à l'Époque moderne*. Hommage à Roland Mousnier / Publié sous la dir. de Yves Durand. Paris: PUF, 1981.

² Цит. по: *Noiriel G. Qu'est-ce que l'histoire contemporaine?* Paris: Hachette, 1998. P. 163.

переворота. Но классы являются, таким образом, не универсальным свойством всех исторических сообществ, но лишь частным случаем стратификации.

Эту книгу, переведенную на многие языки, в СССР поместили в «спецхран» — то ли не без основания увидев в ней антимарксистский пафос, то ли приняв на свой счет язвительные слова Мунье в адрес тоталитарных режимов. К советскому строю этот историк действительно относился весьма критически. В 1975 году он, будучи председателем национального комитета французских историков, выступил в Сан-Франциско на XIV Международном конгрессе исторических наук с пленарным докладом по истории понятия «права человека». В результате советская делегация всерьез засобиралась демонстративно покинуть конгресс. Но при этом Мунье очень интересовался историей России, с уважением относился к советским коллегам и опекал молодых советских историков, проходивших в Сорбонне стажировку.

Но Лабрусс был прав, намекая на склонность Мунье к гиперкритицизму. В условиях, когда Э. Ле Руа Ладюри писал, что историк будущего будет «клиометристом» или его не будет вовсе, Мунье любил предостеречь историков против увлечения количественными методами и подчеркивал искусственность налагаемых на общество внешних рубрикаций. Он вспоминал характерную сцену, когда некий исследователь обнаружил 18 иерархических групп среди лиц наемного труда в Париже. Но на «механографической карточке» (забытой теперь перфокарте 1960-х годов) для учета социальной принадлежности было предусмотрено лишь 10 позиций, и тогда руководитель проекта велел сократить число групп до десяти, прибегнув к их укрупнению. «Бесполезно подчеркивать всю произвольность этого действия, — возмущался Мунье, — если восемнадцать категорий существовали в реальности, то надо было их сохранить и отказаться от использования механографии вплоть до того момента, пока историк не будет обладать соответствующим для его целей оборудованием. То же самое относится и к статистике. Если общество реально фрагментировано на очень большое число слишком мелких категорий, то в этом и может состоять его определяющая черта, сущностный характер этого общества; следовательно, нужно с уважением относиться к этим категориям, даже если они и затрудняют статистическую обработку и даже если

временно придется отказаться от статистики. Статистика и механика должны быть на службе у историка, а не наоборот»¹, — в таком духе были выдержаны многочисленные реплики Мунье на коллоквиумах по социальной истории. Он настаивал на том, что подсчетам должны предшествовать кропотливые монографические изыскания в рамках отдельных семей, кварталов, приходо-в.

Но это не мешало Ролану Мунье руководить коллективами, увлеченно занимались анализом массовых источников с целью «ухватить» общество в его эмпирической реальности, восстановить «подлинную» социальную структуру. Для этого им был выбран такой важный источник, как нотариальные брачные контракты. Социальный строй покоился на важнейшем, по мнению Мунье, правиле: французы Старого порядка женились на равне. Случаи неравных браков и мезальянсов, конечно, были, более того, они играли роль важнейшего канала социальной мобильности, но брачные контракты чутко реагировали на подобные отклонения от нормы соответствующим изменением состава приданого. Действительно, информативная ценность брачных контрактов огромна: помимо размеров приданого невесты и вклада жениха, позволяющих учесть и даже «взвесить» компоненты этого социального уравнения, в них содержались ценнейшие сведения о социальных связях — горизонтальных (родственники) и вертикальных (свидетели); ими, как правило, приглашали быть вышестоящих людей. Исследовательский коллектив, в состав которого входили не только историки, но и представители точных наук, сумел обобщить громадный статистический материал брачных контрактов², чтобы создать свою модель социальной иерархии парижского общества.

В мае 1968 года грянула «студенческая революция». Забастовки охватили все университеты Франции. И только созданный Мунье Центр исследований по истории Европы Нового времени продолжал свою работу. Ролан Мунье организовал со своими коллегами группу, круглосуточно дежурившую в библиотеке Сорбонны, чтобы спасти ее фонды от поджога и разграбления^с. Вместе с тем он призывал серьезно отнестись к урокам студенческого восстания и увидеть за левацкими лозунгами и экономическими

¹ *Mousnier R.* La plume, la faucille et le marteau: Institutions et société en France du Moyen âge à la Révolution. Paris: PUF, 1970. P. 15—16.

² *Mousnier R.* Recherches sur la stratification sociale à Paris aux XVII^e et XVIII^e siècles. I: L'échantillon de 1634, 1635, 1636. Paris: A. Pedone, 1976.

требованиями прежде всего метафизический протест против обществу потребления и бездуховности современного мира.

Можно приводить еще немало примеров того, как Мунье никогда не боялся идти против течения. Не поддался он и искушению «эгоистории», завоевавшей сердца многих французских мэтров. Поэтому нам остается лишь гадать о том, какой труд Мунье считал для себя самым главным и с чего он сам захотел бы начать знакомство с российской публикой. Возможно, с фундаментальной истории французских институтов времен абсолютной монархии¹ или со своей последней своей книги, вновь посвященной компаративному исследованию государственности², а может быть, с работ по истории Парижа³

И все же правильно, что перевод наследия Ролана Мунье на русский язык начинается именно с «Убийства Генриха IV». Проходит время, и многие труды историков сохраняют лишь историографический интерес, в лучшем случае — ценность справочного пособия. Можно сказать это и работах Ролана Мунье. Но только не об этой книге, опубликованной в далеком 1964 году.

Данная монография — редкий образец успешного исследования. Этот текст успешен не только в том смысле, что его чтение доставляет удовольствие, но и в подзабытом уже требовании к историческому сочинению устанавливать научную истину. До книги Мунье существовала традиция негласно предполагать существование мощного заговора, слепым орудием которого явился Равальяк. Это мнение, возникшее сразу же в 1610 году, кочевало из книги в книгу. Никто не мог представить себе, чтобы ничтожный человек решился на такое великое злодеяние. Удобный термин «фанатик» освобождал от необходимости обращать внимание на внутренний мир Равальяка. Само собой подразумевалось, что его направляли либо иезуиты, либо испанские агенты, либо Римская курия, либо королева с герцогом д'Эперноном и маршалом д'Анкром. Это было старое как мир мнение⁴, но оно до 1960-х годов сохранилось в учебниках, в том числе и в советских.

¹ *Mousnier R.* Les institutions de la France sous la monarchie absolue. Paris: PUF, 1974. 2: Les organes de l'État et la société. Paris: A. Pedone, 1980.

² *Mousnier R.* Monarchies et royaûtes: de la préhistoire à nos jours. Paris: Perrin, 1989.

³ *Mousnier R.* Paris capitale au temps de Richelieu et de Mazarin. Paris: PUF, 1978.

⁴ «Короля Ендрукса французского зарезал мужик, тому семь год. А зарезал де тем обычаем: Ездил король на Пушечный двор в корете, а с ним сидел

Историкам крайне редко удается в чем-то переубедить своих коллег. Но у Ролана Мунье это получилось. После его книги все серьезные историки признали его версию наиболее вероятной. Тезис об иезуитском или каком-нибудь ином заговоре остался уделом лишь любителей исторических сенсаций¹.

Сегодня это исследование выглядит абсолютно современным. И при этом в нем легко можно обнаружить черты времени.

В 1962 году конспиративная организация ОАС развернула настоящую охоту на генерала де Голля — покушения следовали одно за другим. Мунье не принадлежал к числу убежденных голлистов, но террор, с которым столкнулось французское общество, побудил его, как всякого хорошего историка, искать в изучаемом обществе прошлого ответы на вопросы, актуальные для современной ему эпохи.

К актуальной для того времени историографической ситуации отсылают и первые фразы авторского предисловия: «... в наши дни довольно много историков демонстративно игнорируют события. Они с пренебрежением относятся к тому, что называют ужасным выражением “событийная история”». С искусством фехтовальщика Мунье вновь делает выпад в сторону «Анналов», законодателей моды в сообществе историков. Бродель сравнивал события с пеной на гребнях морских волн. Они — первое, что бросается в глаза наблюдателю, но определяется жизнь моря вовсе не красивыми белыми барашками, но скрытыми глубинными течениями «истории большой длительности». Лабрусс был более лоялен к изучению событий, но как «певец экономической истории» отмечал, что в этой сфере, в отличие от того, что наблюдается в других областях

в корете думный человек дюк дю Парнон... А говорят про королевское убийство, что умыслил его убить дюк дю Парнон да королева, потому что король у дюк дю Парнона хотел отнятия чин, чем он пожалован при прежнем короле, при третьем Ендрике. И для де того дюк дю Парнон, умысля, сказал королеве, что будто король то сведал, что она с приданным своим с маршал Денкром ворует и хочет король маршал Денкра казнить. А ее хочет отослать в Ытальянскую землю. И для де того королева с ним короля убить удумала...» — так по свежим следам излагало расхожую версию убийства Генриха IV первое русское посольство во Франции. См.: 1615 августа 30. — 1616 июня 29. — Статейный список посольства И.Г. Кондырева и М. Неверова в Голландию и Францию / Публ. Т.А. Лаптевой // Русский архив. Вып. 1. 1997. С. 195.

¹ См. на русском языке: *Амбелен Р.* Драмы и секреты истории. М.: Прогресс-Академия, 1993; *Черняк Е.Б.* Пять столетий тайной войны. М.: Международные отношения, 1991.

истории, все, что есть важного, — повторяемо. Политические события, в значительной мере продиктованные случайным стечением обстоятельств, не могли быть надежной базой исследования. Научной истории, по Лабруссу, требовалось еще устанавливать так называемые «чистые факты», очищенные от событийной шелухи случайностей. Позднее, уже в 1970-е годы, новая редакция «Анналов», в значительной мере отошедшая от постулатов Броделя и Лабрусса и переключившая свое исследовательское внимание на «историю ментальностей», по-прежнему не жаловала политическую историю, считая ее историей «событийной». И только в 1980-е годы начинается триумфальное «возвращение политического» в центр внимания французских историков. Но это было возвращением на новой основе, с учетом достижений движения «Анналов» и «школы Лабрусса», с укреплением междисциплинарных контактов социальными науками — социологией, историей права, политологией, социальной психологией и исторической антропологией. Что-то надлежало заимствовать из микроистории, что-то из рефлексий о множественности исторического времени, что-то из методов исторической лингвистики. Для этого надо было в значительной мере переработать способы историописания, характерные для традиционной политической истории.

И только Ролану Мунье не надо было никуда перестраиваться. Все это уже было в его старой работе 1964 года.

Значит ли это, что в нынешней ситуации постоянной «смены парадигм» хороший историк должен быть консерватором? Конечно, нет. Достаточно таланта, умения и желания работать и самостоятельности в выборе исследовательской (да и жизненной) позиции. И поэтому не устарел урок, преподанный нам Роланом Мунье^d, как не стареет и предлагаемая читательскому вниманию его замечательная книга.

Комментарий

Впервые опубликовано:

Мунье Р. Убийство Генриха IV. Предисловие. СПб.: Евразия, 2008.

Еще в 2007 году мой питерский коллега Владимир Шишкин предложил написать предисловие к книге Ролана Мунье, переведенной для издательства «Евразия». Я с радостью согласился, поскольку высоко ценю это исследование, а также считаю несправедливым сложившийся в нашей

стране какой-то заговор молчания вокруг Мунье. «Драмы и секреты истории» французского конспиролога-окультиста Робера Амбелена перевели еще в 1993 году (причем по издательской программе «Пушкин», то есть с использованием денег французских налогоплательщиков), а серьезного историка Ролана Мунье — нет.

Как водится, работа с текстом затянулась, и питерские коллеги меня мягко, но настойчиво поторапливали. Наконец, предисловие было им отправлено, но тут наступило какое-то странное затишье, длившееся несколько месяцев. Выяснилось следующее. «Евразия» честно приобрела права на переиздание и перевод у знаменитого издательского дома «Галлимар». Хотя формально этого можно было и не делать — СССР присоединился к Всемирной конвенции по охране авторского права лишь в 1973 году, и на книги, изданные ранее этого срока, действие соглашения не распространялось. Но забота о респектабельности — вещь весьма похвальная. Однако в «Галлимаре» высказали требование: предварительно ознакомиться со вступительной статьей. Возможно, их насторожило заглавие моего текста — слыть консерватором в современной Франции довольно-таки рискованно. Причем они не захотели читать мое предисловие по-русски (хотя переводчиков с русского у «Галлимара» всегда хватало). В итоге бедная «Евразия» организовала перевод моего текста на английский и отослала его в Париж. Наверное, перевели хорошо, даже лучше, чем было в оригинале, потому что французы в итоге одобрили публикацию... Обо всем этом В.В. Шишкин рассказал мне уже после выхода книги. И правильно сделал, потому что, скажи он раньше — я бы возмутился и забрал текст, сочтя такое отношение дискриминацией.

^a Я уже писал, что сейчас это число удвоилось. А после смерти великого медиевиста в нынешнем 2014 году следует ожидать вал новых публикаций

^b Признаюсь, что, встав на путь защиты «историка с репутацией консерватора», я сам, очевидно, стал большим консерватором, чем обычно. На самом деле Центр Жоржа Помпиду мне, в общем-то, нравится, особенно после того, как его заново покрасили. Особенно приятно было подняться на галерею и с нее смотреть на Париж, на крыши квартала Маре, выполненные архитектором Мансаром.

^c Среди историков мне приходилось слышать историю о том, что как раз в эти майские дни в Париже оказалась наша знаменитая исследовательница истории Франции Старого порядка А.Д. Люблинская, что она встречалась с Роланом Мунье и даже помогала ему патрулировать библиотеку Сорбонны. Это похоже на агиографическую легенду, но легенду красивую.

^d К полезным для нас урокам, преподанным Мунье, а точнее — всем обществом французских историков, я бы отнес еще и историю с избранием

его академиком. В 1977 году Ролан Мунье прошел во Французскую академию по секции географических и исторических наук (кресло № 8). Эта почетная процедура требует от академика немалых расходов по приобретению соответствующих аксессуаров — мантии, шапочки, перевязи. Но на покупку академической шпаги согласно неписаной традиции деньги должны собирать коллеги. Комитет по приобретению шпаги для Мунье возглавил Дени Рише — французский историк левого толка, бывший, пожалуй, самым главным и самым непримиримым его противником. При всей удивительной политизированности французских коллег, в их среде присутствует взаимное уважение и признание объективных заслуг. Качество, до которого нам расти и расти.

СВОБОДА У ИСТОРИКОВ ПОКА ЕСТЬ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ — ЕСТЬ ОТ ЧЕГО БЕЖАТЬ

Ответы на вопросы К. Кобрин

Павел Уваров. Прежде всего, распределим роли. Я все думал: в каком качестве я могу с вами говорить? Как человек, подводящий итоги советской историографии? На каком основании? Я ведь не сторонний наблюдатель, вззирающий на объект со спокойным любопытством энтомолога. Меньше всего мне хотелось бы выступать адвокатом или прокурором по отношению к советской историографии (хотя ее есть за что защищать и, уж конечно, есть за что обвинять). Да я и не работал в архивах, собирая свидетельства о баталиях советских историков. Сейчас появляется немало подобных публикаций, но я не принадлежу к числу их авторов. На роль мемуариста тоже не смею претендовать, поскольку застал лишь последний период жизни советской историографии, когда она уже во многом изменилась по отношению к своему боевому прошлому. К тому же и информирован я заведомо неполно, в основном лишь о ситуации, сложившейся в медиевистике и истории Нового времени.

Давайте подберем такой образ. Вот вы будете Клодом Леви-Строссом, рыскающим по печальным тропикам, а я — индейцем, принадлежащим к некогда могучему и разветвленному племени, от которого осталась сегодня горстка людей, переквалифицировавшихся из охотников в сборщиков каучука. От былых строго организованных деревень сохранились три развалившиеся лачуги, о сложной структуре родства дошли сумбурные воспоминания, мифы перепутались в голове с бразильскими шлягерами. Но ведь «Структурная антропология» создавалась именно на этом материале, другого уже не было.

***Кирилл Кобрин.** Договорились. Тогда с самого начала самый сложный, самый, если угодно, иезуитский вопрос. Можно ли говорить о существовании некоего «экстракта советскости» в советской и постсоветской*

историографии — даже в исследованиях самых далеких от идеологической конъюнктуры проблем? Если «да», как бы вы определили этот «экстракт», его состав и функции?

П.У. Можно. Ведь существует «экстракт французскости» и «экстракт турецкости». Вне зависимости от того, на каком языке написана книга, как правило, понятно, кто ее писал — американец или немец. Пока история считает себя наукой, она не может не быть интернациональной, но при этом она не может не быть и национальной, коль скоро историки призваны отвечать на вопросы, поставленные своим обществом. Например — поиск национальной идентичности, отстаивание прав меньшинств, переживание чувства исторической вины, да мало ли еще какие комбинации возможны при подборе аргументов, легитимирующих занятия историей на деньги налогоплательщиков! Ответы на вопрос «зачем нужна история», казалось бы, должны быть одинаковыми для историков всего мира, и все же в каждой стране имеются и свои варианты ответа; в каждой стране сообщество историков имеет свои институциональные традиции, свой стиль национальной историографии. Потому, сколько ни говори о единстве мировой науки, национальный историографический «экстракт» легко различит даже начинающий дегустатор. Нет ничего удивительного и в наличии «экстракта советскости». Однако при его определении надобен уже не нос сомелье, но скорее противогаз.

Неповторимый букет давала система легитимации исторической науки, отражавшая эклектику советской идеологии. Здесь были и патриотическое воспитание, и пролетарский интернационализм (неизменная симпатия к классовой борьбе трудящихся времен Хаммурапи или Парижской коммуны), и, поскольку идеология наша все-таки уходила корнями в Просвещение, важной была рационалистическая установка на открытие общих законов и частных закономерностей исторического развития. Вдобавок всегда беспроблемным был аргумент борьбы с буржуазной наукой, в ходе которой должна быть продемонстрирована победоносная эффективность единственно правильного учения.

При всем тошнотворном послевкусии этого коктейля все же надо признать, что он гарантировал СССР статус «великой историографической державы». В этом термине нет ничего оценочного: просто в одних странах принято расходовать деньги на изучение широкого круга проблем, не связанных напрямую с национальной

историей, а в других — нет. Потому США или Франция являются «великими историографическими державами», а Испанию таковой назвать нельзя.

В СССР молодой исследователь мог заниматься не только Щорсом, но и историей ацтеков, коптов или кельтов. Внутренние мотивации при этом могли быть самыми разными, включая эскапизм. Но когда возникала такая необходимость (например, при написании автореферата диссертации), то официальные легитимирующие аргументы своим студиям подобрать было несложно¹.

Таким образом, советский историк оказался относительно свободен в выборе своей «территории», но при этом обязан был гораздо более внятно, чем западные коллеги, обосновывать легитимность своих занятий, демонстрировать свою формальную лояльность. Обязательным условием было оснащение своего текста каркасом ссылок на классиков марксизма². Хотя анализ систем цитирования еще ждет своего Лотмана, очевидно, что личность исследователя в значительной мере проявлялась в подборе цитат. Кто-то (в эпоху борьбы с космополитизмом) добавлял к классикам еще и Добролюбова с Писаревым, кто-то ссылался на последний партийный съезд (но ни в коем случае — не на предпоследний!), кто-то на героического итальянского коммуниста Антонио Грамши.

Специфические формы организации и бытования науки не могли не наложить отпечаток на научный стиль. Акмэ стиля «высокого советизма» приходится на 1940—1950-е годы, дальше стилистика понемногу изменялась в сторону эпигонства, декадентства и эклектики. Но контуры стиля не размывались полностью, и опытная рука мастера легко могла вернуть конструкции былую ясность — таково, во всяком случае, было убеждение (или опасение?) основных участников историографического процесса. Итак,

¹ В результате доходило до смешного. В конце 1970 — начале 1980-х годов шведы забеспокоились: число скандинавистов в СССР росло так быстро, что это вселяло опасения, что Советы готовят захват Скандинавии. Подготовка, может, и велась, но молодежь собиралась изучать северные страны по своим собственным мотивам: кто-то был пленен размеренным комфортом шведской жизни, кто-то был увлечен трудами специалистов по сагам...

² Конечно, случались и исключения — сначала (до 1940-х годов) они были представлены старой профессурой, затем, в более поздний период, — некоторыми уж совсем узкими специалистами или такими «белыми воронами», как Лев Николаевич Гумилев или (после 1970 года) Арон Яковлевич Гуревич.

поговорим о «советскости» классической поры, шаржируя для ясности ее характерные черты¹.

Понятно, что советский историк всегда готов был дать отпор буржуазным фальсификаторам; но и со своими соотечественниками он полемизировал не менее яростно. Дело не только в адаптации к стилю «экстраакадемической» среды. Истина, раз и навсегда добытая при помощи единственно правильного метода, могла быть лишь одной, поэтому жизненно необходимо было доказать, что она находится именно в твоих руках. Не важно, относились ли твои выводы к палеолиту или к империализму, — получив высочайшее одобрение, они становились частью системы государственного знания. И тот, кто покушался на это знание, *ipso facto* превращался во врага государства, лил воду на мельницу империалистов. Если твой оппонент победил в споре, этим врагом становился ты, и только публичное покаяние давало шанс уцелеть в науке, да и просто уцелеть: разобраться в том, сознательно ли советский историк пытался ослабить нашу науку, должны были компетентные органы. И они разбирались. Сперва это происходило достаточно часто, но затем для поддержания гомеостаза в науке достаточно было лишь памяти о том, как сажали на кол опальных ученых.

Поэтому советские историки готовы были обвинять своих коллег в меньшевизме и троцкизме, затем — в космополитизме, а позже — в структурализме и в подготовке «диверсии без динамита»; поэтому и научные статьи порой напоминали доносы, а доносы походили на научные статьи. Разоблачение врагов было атрибутом советской историографии — одни занимались этим с явным удовольствием, другие с трудом преодолевали порог безразличности, третьи делали это не задумываясь, поскольку это стало дискурсивной практикой. Сегодня издано много материалов дискуссий советских историков, весьма ценных для изучения антропологии научного сообщества — сошлюсь для примера на добротное исследование Кондратьевых, посвященное спорам советских историков об абсолютизме². Но кого участники дискуссии пытались убедить

¹ Стоит ли говорить, что речь идет об идеальном типе, о правилах, которым до конца никто не следовал. Но людей, которые вовсе игнорировали их существование, все-таки из науки выдавливали, если они не успевали укрыться в какой-нибудь надежной нише экспертного знания.

² Кондратьев С., Кондратьева Т. Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е — начало 50-х годов XX века). Тюмень, 2003.

своим пафосом? Себя, оппонента, «научную общественность»? В первую очередь власть была и их аудиторией, и высшим жюри. Связь с властью, понимание того, что ей нужно, стремление показать, что ты более других приобщен к ее тайне, — вот в чем был главный ресурс советского историка, и за этот ресурс велась бескомпромиссная борьба. Ставки в борьбе были высоки¹, поэтому выступления в дискуссиях сопровождались открытыми и тайными доносами, письмами во власть, в ЦК, а еще лучше — самому... Но исход борьбы был не всегда предсказуем. И далеко не обязательно в ней выживал наиболее «идеологически подкованный» и наиболее крикливый, порой могли победить и чопорные интеллигенты — власть была таинственной, пути ее были неисповедимы, и это создавало главную интригу².

Впрочем, все вышесказанное относится не столько к повседневности племени советских историков, сколько к страшным, но не слишком частым временам кампаний и «дискуссий». В обычной жизни сообщество функционировало совсем иначе, демонстрируя порой и способность к высокому служению, и взаимопомощь, и мастерство педагогов, и верность учителю, и способность к обстоятельному взвешиванию аргументов в научном споре. Идеология, безусловно, и в эти периоды не просто довлела, но продолжала составлять воздух, которым дышало сообщество историков; но все же в «спокойные» годы научные коллективы жили вполне предсказуемо, работали относительно спокойно, и заклинания против «фальсификаторов» до поры носили ритуальный характер. Поэтому у историков постепенно вырабатывалось стремление уйти от того, что позднее назовут «спорами о главном», чреватых непредсказуемым вмешательством извне³, укрыться в углубленной

¹ Не только карьерными ростом или личным благосостоянием вкупе с личной безопасностью были озабочены историки, поднимавшиеся на трибуну во время «дискуссий» и «кампаний». Речь шла о большем — о самой возможности заниматься делом, составлявшим смысл жизни. Мне уже доводилось писать, что если ты уверен, что твой труд есть служение, то ты боишься потерять уже не только зарплату, но еще и *Beruf*, что совсем уж невыносимо.

² На исход каждой конкретной дискуссии влияла масса факторов, вплоть до карьерных амбиций и альковных историй. Для распутывания этих клубков необходимы микроисторические методы — теория тоталитаризма здесь уже недостаточна.

³ Не стоит понимать это вмешательство буквально. Представитель ЦК присутствовал не на каждой дискуссии, да и чекисты не вникали во все

специализации, в эмпирических исследованиях, опираясь на методы и на научную этику старозаветных историков-позитивистов, что давало иллюзию сохранения свободы мысли. Винить их за это не имеет смысла, впрочем, и особо превозносить — тоже. Это была психологически объяснимая реакция илотов в период между криптиями спартанцев¹.

Нельзя сказать, что в СССР уж и вовсе не действовали автономные принципы существования «нормальной науки» с ее плюсами и минусами. Формы функционирования советской академической жизни походили на западные аналоги в гораздо большей степени, чем, например, советские профсоюзы походили на английские тред-юнионы. Но западным историкам при прямых контактах с советскими коллегами бросались в глаза именно стилистические различия в поведении. Даже искренние сторонники Бориса Федоровича Поршнева, публикуя его книгу во Франции, не могли скрыть, что они шокированы его манерой вести полемику. По словам одного западного исследователя, «в разговоре с советскими историками возникает впечатление, что у твоего собеседника в кармане волшебная палочка». И это была не только демонстрация политической благонадежности, но вполне искренняя вера в мощь единственно правильного учения. На самом деле не так уж мало

дразни историков. Зачастую инициаторами привлечения административного ресурса в научной полемике были именно собратья по цеху. Речь могла идти не обязательно о доносах, часто дело ограничивалось лишь простым указанием на наличие этого самого административного ресурса, что активировало механизм самоцензуры. Самостоятельное теоретизирование, не освященное высочайшей санкцией, не только (а может, и не столько) пресекалось властями, сколько сталкивалось с враждебностью коллег. Последние подозревали самозваного теоретика во властных амбициях. С ним надо было бороться, отбросив академическую респектабельность, потому что в случае победы от «высочки» также не стоило ждать снисходительности.

¹ Впрочем, позитивистская этика специализации не гарантировала советским историкам спокойную жизнь. И дело не только в том, что в жизнь могли вмешаться внешние факторы. Любой историк готов был, с пеной у рта отстаивая легитимность своей работы, подчеркивать исключительную важность своего сюжета для науки (а следовательно, и для государства), даже если речь шла об эпиграфике двух-трех греческих стел. И если его оппонент оспаривал предлагаемую трактовку и не шел на компромиссы, то в борьбе с ним историк готов был задействовать все тот же грозный арсенал аргументов, что и в «дискуссии», например, о сущности рабовладельческого государства. Но, как правило, такие стычки гасились самим сообществом, без участия властей.

историков видели, что «всепобеждающее учение» свою роль волшебной палочки не выполняет, и с течением времени таких людей становилось все больше. Но отсюда они делали вывод либо о том, что учение недопоняли, исказили и оно нуждается в очищении и исправлении, либо о том, что это учение и вовсе неправильное, но обязательно должно быть какое-нибудь другое, единственно правильное, скрытое где-то на Западе.

Убежденность в том, что «правда всегда одна», свойственна и большинству постсоветских историков. Вера в методологический абсолют превращает историю не в кумулятивный процесс, а в постоянное поле боя. Точка зрения может быть либо правильной, научной, либо неправильной, ненаучной. С ней даже и бороться не следует, ее проще всего игнорировать. И не важно, что почитается теперь абсолютом: учение Поппера, Козеллека или Фукуямы, — непримиримость в борьбе с несогласными унаследована со времен борьбы с буржуазной идеологией. Поэтому призывы к плюрализму и консенсусу или к необходимости «договариваться о терминах» обычно остаются риторическим приемом.

Если же попытаться найти те достоинства, чьим продолжением являлись вышеназванные манихейские недостатки, то можно назвать большее, чем на Западе, внимание к предшествующей историографии (хотя она подразделялась и, что самое забавное, продолжает подразделяться на «нашу» и «не нашу»), большее умение вписывать свое исследование в господствующий «великий нарратив» теории.

Главным же родимым пятном «советскости» я считаю относительную слабость институциональных основ функционирования научного сообщества. Этим основам не дали развиваться из-за гипертрофированного воздействия внешнего фактора. Так, например, сообщество плохо осуществляет важнейшую функцию корпоративного самоконтроля. В итоге — хорошие наши историки ничуть не уступают западным коллегам, посредственности у нас слабее западных посредственностей, а самый тупой преподаватель из Айовы несравненно выше тупого российского преподавателя среднестатистического университета.

К.К. Наследником каких историографических школ и течений вы бы назвали советскую историографию?

П.У. Расшифровка генома советской историографии — занятие сложнейшее. Среди наших предков можно, конечно, обнаружить

каких-то совсем уж самобытных древних и не очень древних представителей отечественной традиции, мыслящих в категориях «третьего Рима», «осажденной крепости» и «народа-богоносца», но слои эти сокрыты были настолько глубоко, что у профессиональных историков их влияние сказывалось в очень редких случаях. Более явным было наследие просветителей (призыв «Раздавить гадину!», особенно сильный на ранних советских этапах, сохранялся в некоторых нишах, например в исследованиях Ренессанса) и французских историков периода романтизма. Традиционно сильным было немецкое влияние: Гегель, Ранке (но не Кант или неокантианцы). Позитивизм официально осуждался, что не мешало ему негласно почитаться чуть ли не мерилом научной чести. Но под всеми этими напластованиями покоилось породившее их картезианство — уверенность в том, что научное знание выводится в результате точного следования предписаниям рационально обоснованного метода. Следовательно, правильным, научным методом может быть только один, и именно он должен привести к истине. Остальные — неправильные или по меньшей мере недостаточные и к подлинному знанию привести не могут¹.

Правильным методом по техническим причинам считался марксизм-ленинизм. Но, говоря компьютерным языком, марксизм для нас был не только «программной системой», но и «программой-оболочкой», преобразующей неудобный командный пользовательский интерфейс в дружественный графический. При помощи нехитрых операций, поиграв в диалектику, под наш советский интерфейс можно было подогнать и какой-нибудь позитивизм Венской школы, и структурализм, да и Фуко смогли бы приспособить при желании². Поэтому картезианство картезианством, а в реальности субстанция, именуемая «марксизмом», у некоторых советских

¹ Вполне очевиден вопрос: неужели влияние картезианства и гуманистического рационализма было в России сильнее, чем на породившем их Западе? На это по-военному ясно ответил пелевинский волк в погонах в беседе с английским лордом о демократии и либерализме: «А реальность похожа, извините за выражение, на микрофлору кишечника. У вас на Западе все микробы уравнивают друг друга, это веками складывалось... А нам запустили в живот палочку Коха — еще разобраться надо, кстати, из какой лаборатории, — против которой ни антител не было, ни других микробов, чтобы хоть как-то ее сдержать».

² Конечно, сказанное относится в основном к тому периоду советской историографии, когда ее акмэ был уже в прошлом, но разве не стремился

историков так и норовила принять весьма замысловатую форму, и только окрики часовых на идеологических вышках призывали вернуться в изначальное агрегатное состояние. Если же говорить не о заимствованиях (пусть даже в форме яростной критики), а о развитии на собственно марксистской основе, то здесь дело обстояло сложнее. Если вернемся к стратегии цитирования марксистских авторитетов, то заметим, что они могли быть разными, но обязательно — выдержанными как хороший коньяк. Ссылки на новейших теоретиков могли принести лишь сиюминутный эффект. Исторические решения очередного съезда партии на следующем съезде из истории вычеркивались, отечественные живые классики могли слететь с должности, а уж о марксистах западных и говорить не приходится. Сошлешься на какого-нибудь Роже Гарроди^а, а он, глядишь, уже в болото антисоветизма скатился. Не Маркузе же цитировать, в самом деле! Поэтому получалось, что в круг наиболее упоминаемых авторов из марксистов входили, в основном, люди, давно опочившие. И вообще, создавать нечто новое на теоретическом фундаменте марксизма было чрезвычайно затруднительно. Самодеятельность здесь, как мы поняли, не поощрялась; а даже официально признанные новшества были ущербны по определению, не дотягивая до фундаментальности подлинного авторитета. Инновации шли в основном за счет «переосмысления в марксистском духе» различных западных теорий. Но и этот путь был небезопасен. В итоге сюжеты, которые вроде бы должны были усиленно разрабатываться марксистской мыслью, почти никогда не становились темами диссертаций. Много ли советских философов писали об «основном вопросе философии»? Много ли медиевистов второй половины XX века замахивались на изучение «сущности феодального способа производства?» Результат все более походил на бублик — все, представляющее интерес, располагалось по краям, в центре же зияла пустота.

К.К. Можно ли говорить о «советской исторической науке» как о чем-то «едином» — с самого ее начала (1920-х годов) до конца (второй половины 1980-х годов)?

П.У. Можно лишь в самом общем виде. Очень многое было заложено в первые пятнадцать лет ее существования (мессианство

А.И. Неусыхин к переработке в марксистском духе учения М. Вебера, а М.В. Нечкина не была пропагандистом психоанализа?

с манихейством, нахрапистый стиль ведения полемики), но вообще-то точкой отчета следует считать 1934 год, когда постановление о преподавании гражданской истории отвело этой дисциплине официально установленное место. А завершение формирования «советского высокого стиля» приходится на сороковые годы. До этого периода, хотя бы де-факто, если не де-юре, была возможна профессиональная деятельность немарксистских историков из числа не добитых «академическим делом» дореволюционных профессоров.

Первую четверть века существования советской историографии можно назвать «эпохой героев». Историков ссылали, сажали или даже расстреливали, коллективно прорабатывали и требовали покаяний. Но в это время уцелевшие ученые с дореволюционным стажем, равно как и выпускники Института красной профессуры, сумели путем невероятных усилий, напомиравших темпы форсированной индустриализации, сделать то, что они сделали. Они сумели «творчески освоить марксизм», создать относительно непротиворечивую систему знаний, сохраняя остатки академической респектабельности, то есть соотносясь с источниками в соответствии с предписаниями историков-позитивистов. Не во всех областях исторической дисциплины эта задача была решена с равным успехом, но в целом была создана наука, адекватная окружающей действительности. Создана была признанная властями и обществом система легитимации исторической профессии, отлажен механизм функционирования и воспроизводства профессионального сообщества историков, написаны были базовые учебники для школы и университета.

В последующие сорок лет советская историография переживала изменения, связанные то с оттепелью, то с застоем; но они уже не затрагивали главных жизненных принципов советской исторической науки и ее стиля.

Впрочем, не все так просто. Тот «поворот к культуре», который наметился на рубеже 1970-х годов, а также ряд демаршей запретительного свойства, предпринятых официальными лидерами историографии времен раннего застоя, привели к структурным сдвигам. В итоге возникло новое явление, которому сложно подобрать наименование: то ли «несоветская советская медиевистика», то ли медиевистика «нетрадиционная», то ли российская «новая историческая наука»¹. Очевидно что в этой области, что ни шаг,

¹ *Копосов Н. (при участии О. Бессмертной). Юрий Львович Бессмертный и «новая историческая наука» в России // Homo historicus. К 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного. М.: Наука, 2003. Т. 1. С. 122—160.*

то — оксюморон. В любом случае — вопросы как о степени разрыва с официальными структурами, так и о дисциплинарной принадлежности участников этих полуофициальных семинаров и конференций (Аверинцева, Баткина, Бессмертного, Гаспарова, Гумилева, Гуревича, Лотмана, Успенского и других), равно как и причины, по которым это новое явление было властями то ли дозволено, то ли пропущено, — все это заслуживает специального рассмотрения. С удовольствием вернулся бы к этому в другой раз, хотя бы потому, что многое происходило уже на моих глазах. Но пока не буду касаться этого вопроса. Если это уже не советская наука, то не о ней сейчас речь. Если же она все же оставалась советской, то тогда надо сильно пересмотреть все сказанное выше, поскольку стилистика участников этого движения была иной.

К.К. Самый болезненный вопрос. Насколько советская историография была «конвертируема»? Работы формалистов, Бахтина, Лотмана (и других представителей московско-тартуской школы) оказали огромное влияние на западную гуманитарную науку; может ли в этом смысле похвастаться советская «чистая историография»?

П.У. Попробую придираюсь к словам.

Во-первых, вопрос в том, что называть влиянием, да еще огромным. Насчет Романа Яacobсона я согласен, насчет Лотмана — нет, а насчет Бахтина можно долго спорить. Если говорить о профессиональных западных историках, то знакомство с Бахтиным свелось в основном к «карнавальной культуре» и после кратковременного увлечения сменилось дружным ниспровержением этого мифа. И если вы западным коллегам станете объяснять, что Бахтин является не историком, но филологом, то вас не очень поймут, прежде всего, потому, что сложно будет перевести слово «филология». Кто действительно оказал влияние на западных историков, так это Кондратьев и Чайнов — экономисты, нашими историками, кстати, почти не востребованные.

Во-вторых, в словосочетании «советская чистая историография» проблематичны оба определения. Те же «Категории средневековой культуры», переведенные на Западе, — воспринимались ли они как советская историография? Наверное, в той же степени, в какой «Андрей Рублев» воспринимался как достижение советского кинематографа.

В некоторых узких областях советские историки высоко ценились зарубежными коллегами: таковы были, например, византистика,

отдельные области археологии, вспомогательные исторические дисциплины — эпиграфика, кодикология, нумизматика. Работы советских ученых были «широко известны в узких кругах».

И, наконец, можно говорить о влиянии (или об известности), которое было сродни славе ярмарочного монстра. Такова была, например, популярность того же Поршнева в начале 60-х годов во Франции^б. От советских коллег ждали экзотической демонстрации их марксизма, и, как правило, дожидались. Это тоже было влияние. Акцентированная советская позиция в качестве определенной риторической фигуры была своеобразным участником «европейского концерта» историков. Для кого-то она исполняла роль пугала, для кого-то — маяка.

К.К. Насколько силен был «теоретический (он же — идеологический) момент» в — условно говоря — средней, добротной, профессиональной работе советского историка?

П.У. Вот это действительно болезненный вопрос. Двинемся от противного. Если историк отвергал всякий теоретический момент, — то ли опасаясь неприятностей, то ли брезгуя идеологическим причастием, — что он делал? Он мог ограничиться несколькими ритуальными фразами и цитатами. Эта задача облегчалась тем, что классики любили конспектировать разные книги по истории. Возьмешь, например, фразу из «Хронологических выписок»^с Маркса, относящуюся к XII веку, — «в цветущем состоянии была Франция от Альп до Пиренеев» — и против истины не погрешил (попробуйте докажете обратное), и классика процитировал. Можно было обойтись и вовсе без марксистских цитат и без теории при публикации источников¹, при написании небольших статей и сугубо специализированных текстов (кодикологический анализ комплекса документов, описание найденных берестяных грамот и так далее). И это повышало веру в спасительную для чести историка роль узкой специализации и «позитивизма». Не требовали обязательной идейно-теоретической нагрузки некоторые жанры — например, популярные книжки, рассчитанные на любимого издательствами «широкого читателя».

¹ В 1930-е годы, кстати, был характерный способ поражения в праве: «недобытым» квалифицированным историкам запрещали публиковать самостоятельные исследования, но разрешали публиковать источники.

Так что способов не ввязываться в теорию было несколько. И, как я уже говорил, с годами в советской историографии усиливался защитный профессиональный прагматизм, уход в узкую специализацию. На моей памяти в сообществе историков бытовало неофициальное мнение, что «заниматься методологией — все равно, что доить козла»; и те, кто может, — работают, те, кому этого не дано, — теоретизируют¹. И если автор, зарекомендовавший себя интересными эмпирическими исследованиями, вдруг ударялся в теорию, это вызывало недоумение (ведь этот историк может хорошо работать, чего же он полез в эти унылые дебри!). Конечно, теоретизировать интересно никто бы не позволил; а то, что дозволялось, было скучным само по себе и становилось уж совсем неудобоваримым после многочисленных согласований.

И все же, несмотря на заманчивую перспективу укрыться от теории в источниках, от хорошей работы мы ждали большего, чем чистой эмпирики. Автор обязательно должен был вытащить какого-нибудь кролика из цилиндра. Это мог быть новый подход к проблеме в рамках марксистского метода, это могло быть завуалированное доказательство несостоятельности официозных конструкций. И даже если историк ни прямо, ни эзоповым языком и не говорил «нет, ребята, все не так...», то за него это делали вдумчивые читатели. А если говорить все о той же загадочной «другой», или «несоветской», гуманитарной науке, то сам по себе выбор какой-нибудь византийской эстетики в качестве объекта исследования уже обретал в глазах публики вызывающий идеологический смысл.

К.К. Можно ли говорить, что чем дальше от современности был изучаемый советским историком период, тем свободнее он чувствовал себя от идеологического давления? Или же историк чувствовал себя наиболее свободно в тех областях истории, о которых НЕ писали «основоположники марксизма-ленинизма»?

П.У. Справедливы оба предположения. Действительно, по завершении «героического периода» построения основ советской историографии бытование археологов, античников и медиевистов было

¹ Мои наблюдения относятся к столицам. На периферии (во всяком случае — в области медиевистики) дело обстояло несколько иначе, хотя бы в силу более сложного доступа к источникам.

менее зарегулированным, чем жизнь тех, кто изучает Гражданскую войну. Но в каждом домене были такие точки, прикосновение к которым было чревато непредсказуемыми последствиями. Спорить о природе государства и собственности, пусть даже и применительно к седой древности, — вступать на территорию, заминированную прямыми цитатами из классиков. Это и приводило все к тому же «эффекту бублика» — бегству в области, признаваемые «периферийными», при молчаливом признании существования центра, но при нежелании в этот центр возвращаться. Востоковедам с их «азиатским способом производства» было в этом отношении попроще. Отсутствие цитат было подспорьем, чем и пользовались те, кто занимался современностью. Например — «системные диссиденты» из ИМЭМО¹. Конечно, расслабляться им не давали, но ведь не давали полностью расслабляться и тем, кто занимался проблемой подлинности «Слова о полку Игореве» или средневековыми «покаянными книгами».

Если вдуматься, то в действиях властей, карающих ослушников, проявлялась та же убежденность в важности исторического знания, что и у авторов, подвергавшихся экзекуции. Система легитимации советских историков демонстрировала свою эффективность. Даже самые удаленные от современности области знания (такие как, например, особенности социальных отношений древних германцев) почитались столь важными, словно от их трактовки зависел исход схватки двух мировых систем. Самое смешное, что в конечном счете так и вышло.

А сейчас? Выйди и крикни: «Феодализма не существует!» Ничего особенного не произойдет. И даже тезис: «"Слово о полку Игореве" написал Ломоносов!» сможет несколько эпатировать публику, но к оргвыводам сразу же не приведет (вот ведь книгу Зимина опубликовали). Но свобода историка зачастую оказывается свободой «неуловимого ковбоя Сэнди»: неуловимого не потому, что его поймать никто не может, а потому, что он решительно никому не нужен.

А в этом есть повод для легкой ностальгии².

¹ См.: Черкасов П.П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. М.: Весь мир, 2004.

² Но есть признаки, что поводов для ностальгии скоро не будет, о чем — чуть ниже. Главное — не забывать припева из шлягера Иващенко и Васильева: «Лучше быть нужным, чем свободным».

К.К. Насколько советская историография была связана с тем, что происходило на Западе? Можно ли говорить о некоем «отставании» либо о своего рода «особом пути»?

П.У. Можно сразу возмутиться словом «отставание», выдающим колониальный дискурс в духе Саида. Однако советские историки сами часто использовали этот термин, особенно в последние годы, когда одним из аргументов было: «Мы не можем допустить отставания советской науки». Это обычно писалось в заявках на получение какой-нибудь техники^d — арифмометра типа «железный Феликс», печатной машинки с латинским шрифтом и, наконец, компьютера (в девичестве — ЭВМ). «Феликса» не давали, ЭВМ — тоже, но и отставать от Запада не разрешали.

Если оставить в стороне официальные лозунги, то трудно не увидеть некоей синхронизации историографических процессов, тем более удивительных, чем более отличались институциональные формы советской науки от западных.

Советские историки (например, Бессмертный, Гуревич, Каждан, Кобрин), еще не превратившиеся в «несоветских», до многих выводов «новой исторической науки» дошли вполне самостоятельно, хотя, конечно, работы западных историков читали с неподдельным интересом. Повторю еще раз, что и западные коллеги много брали из нашей науки. На Постан^e сильно повлиял Чаянов, русская аграрная школа некогда была в чести, а советская археология средневекового города на десятилетия обгоняла западных коллег.

Но и на официальном уровне было понимание того, что знакомство с «западными достижениями» необходимо для избранного круга ученых. Отсюда — знаменитые ИНИОНовские реферативные журналы и реферативные сборники^f.

Ну а существование «особого пути», думаю, не требует комментариев.

К.К. Что — прежде всего, в теоретическом отношении — представляет собой «постсоветская историография»? Можем ли мы говорить о «постсоветской историографии» как о чем-то едином? Можно ли выделить некие периоды развития этой историографии? Насколько идеологически зависима нынешняя российская историография?

П.У. Термин «постсоветский» относится ведь не только к российской историографии. Вне России вполне очевиден курс на «суверенизацию истории». Меня особенно веселят разговоры

о «смерти больших нарративов истории», таких как «нации» или «классы». Насчет классов не знаю, а вот нации вовсе не собираются сходить с подмостков историографической сцены, скорее наоборот. Не говоря уже о государствах и конфессиях. Бурное строительство новых национальных версий истории отягощено не лучшими из генов «советскости». Здесь и сервиллизм, и специфическое отношение к источнику, и манера полемизировать. При этом, за исключением России, никто из новых стран не претендует на роль «великих историографических держав». Сказанное относится к историкам не только СНГ, но отчасти и к балтийским членам Евросоюза. В российской историографии, конечно, это также проявлялось (достаточно почитать талантливое исследование Шнирельмана^g), но до поры до времени «суверенизация» истории или ее «национализация» проявлялась, в основном, на периферии, под которой следует понимать как удаленные от центра регионы, так и периферию профессионального сообщества. Теперь ситуация меняется. Посмотрим, как отразится на отечественной историографии обретение долгожданного репера «суверенной демократии»^h.

Что же касается преемственности, то я уже говорил об унаследованной с советских времен институциональной слабости исторической науки. Эта слабость прогрессирует, и судорожные попытки ученых наладить контроль, например, за качеством защищаемых диссертаций не приводят к ощутимым результатам. Самый свежий пример — судьба «ваковского списка»ⁱ.

Периодизацией постсоветской историографии заниматься надо особо, с учетом и особенностей финансирования, и дискурсивных практик, и наследия научных школ. В целом 1990-е — период реального полицентризма, бурной эклектики, ускоренных поисков очередного единospасающего учения. Здесь и форсированное знакомство с западной русистикой, и попытка реконструировать национальный пантеон ученых, и охота за новыми парадигмами. А помните, как, узнав, что Сорос — ученик Поппера, мы все начали козырять «принципом фальсифицируемости»? Завидую будущим социологам и историкам науки, которые будут анализировать комплексы заявок российских историков на гранты. Какое разнотравье аргументов, легитимирующих их занятия. Какие неожиданные повороты биографических нарративов на пути от автобиографии ученого к CV или к «резюме» благополучателя!

2000-е годы — время «консолидации», стремительная перемена правил игры, попытки придать понятию «историческая память» прикладное значение. Поле «боев за историю», боев за ее

национализацию смещается с периферии в центр российской историографии. Достаточно вспомнить эпопею с праздником 4 ноября^k или страсти вокруг «Бронзового солдата»¹.

Нынешняя российская историография², может, и не против «идеологической зависимости» и вполне готова «колебаться вместе с линией», но сама эта линия не всегда прощупывается. Понятно, что есть директива отстроить то прошлое, которым можно гордиться. Но чем именно гордиться — конкретных указаний до времени поступало немного, да и были они противоречивы. Здесь и оступиться недолго: начнешь Минина и Пожарского за установление гражданского общества почитать, так выясняется, что другим они милее истреблением басурман. А потом разъяснят, что надо было акцент ставить на их добрых делах во славу Отечества. Вроде бы детали, но в деталях-то лукавый и скрывается.

А свобода у историков пока есть. Во всяком случае — есть от чего бежать.

Комментарий

Впервые опубликовано: *Уваров П.Ю.* Свобода у историков пока есть. Во всяком случае — есть от чего бежать. Ответы на вопросы К. Кобринна // *Неприкосновенный запас.* 2007. № 5. С. 54—72.

Статья была заказана летом 2007 года для «Неприкосновенного запаса» Кириллом Кобринным. Отказать ему было невозможно — Кирилл не только блестящий стилист, наделенный тонким чутьем и фантастической работоспособностью, но еще по своей «гражданской профессии» историк-медиевист, специалист по средневековому Уэльсу. То есть — «из наших». А своим не отказывают.

Но статья никак не получалась; к тому же сказывался шок, вызванный неожиданной силы афронтом со стороны коллег после недавнего выступления о Гуревиче. Наконец догадался придать тексту вид интервью. Форма ответа на вопросы снимала проблему композиционной целостности и последовательности изложения.

¹ По решению Эстонского правительства в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года бронзовый Памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков был демонтирован и перенесен на Воинское кладбище. Это вызвало волнения русскоязычного населения в Эстонии и взрыв негодования российской общественности.

² Чтобы никого не обидеть, скажу иначе: «значительная часть российских историков». И пусть теперь каждый понимает в меру своей испорченности.

Оставил бы я прежнее название, случись мне писать эту статью сегодня? Пожалуй, что да, хотя расширительный заголовок, навеянный «Бегством от свободы» Эриха Фромма, сегодня вызывает больше вопросов, чем раньше. Действительно, мы пережили страсти по созданию «Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России», составленной по большей части из людей, не обремененных достижениями на историческом поприще (история — слишком серьезное дело, чтобы доверять его историкам). Затем нахлынули эсхатологические ожидания, порожденные «Единым учебником по истории». И все же ситуация пока не слишком изменилась. Уточню: на сегодняшний день не слишком изменилась. Но ждать можно всего, мы к этому привыкли.

^a *Гарроди Р.* Ответ Жану-Полю Сартру. М., 1962. Эта брошюра цвета марганцовки всегда попадалась мне под руку во время безнадежных попыток разобрать книжные полки. Я привел для примера манифест марксистского философа, позже заклеенного у нас как ревизиониста. Но, к моему стыду, только сейчас узнал, что французский интеллектуал стал ярым «негационистом», отрицающим факт Холокоста. Он принял ислам, получив имя Реджа Джауди и до самой смерти (в 2012 году) утверждал, что башни-близнецы были взорваны американскими секретными службами.

^b Публикация книги: *Porchnev V.* Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648, Paris, 1963, как острили тогда, поделила французских историков на «поршневигов и антипоршневигов». Подробнее см. выше в статье: «Ролан Мунье — историк с репутацией консерватора».

^c Хронологические выписки представляли собой конспект 19-томной «Всемирной истории» В. Шлоссера, а также некоторых других книг. Пересказывая суть событий, Маркс иногда добавлял свои ехидные замечания. Советские историки любили также цитировать Энгельса, его «Конспект работы Джона Ричарда Грина «История английского народа»».

^d Это сказано не для красного словца. В бытность мою ученым секретарем сектора Средних веков Института всеобщей истории я находил подобные призывы в подшивках протоколов заседаний сектора, да и самому приходилось писать нечто подобное.

^e Выдающийся английский историк, специалист по экономической истории Средневековья, сэр Майкл Постан происходил из города Бендеры Бессарабской губернии, поэтому без труда мог читать работы Чайанова в оригинале.

^f Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) выпускал реферативные журналы и тематические обзоры, в которых

излагалось содержание наиболее важных работ зарубежных авторов. Поскольку формально эти тексты издавались «для служебного пользования», то есть для номенклатурных работников и для специалистов, то целью подобных изданий являлось не столько разоблачение буржуазных фальсификаторов, сколько знакомство с современными идеями.

[§] Имелась в виду книга: *Шнирельман В.А.* Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. Но с тех пор автор издал немало новых работ на эту тему, например: *Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке.* М., 2006; *Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной России.* М., 2012. Постепенно острота подобных проблем стала уясняться нашим национальным сообществом историков.

^h Этот термин уже сегодня забывается политиками и политологами. Выдвинутая в 2005 году В. Сурковым, эта идеологема, помимо элегантно отсылки к Руссо, имела простой посыл: «Отстаньте от нас с вашими правами человека!»

ⁱ В 2006 году впервые был опубликован «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, включенных Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук». Эта защитная мера, призванная ограничить доступ к защите жуликам и самозванцам, привела к ожидаемо противоположным результатам. В список не попали многие уважаемые академические издания (например — «Византийский временник»), зато его украсили собой обильные провинциальные «Ученые записки», да и более экзотические издания, готовые по сходной цене публиковать любой текст. С тех пор эксперименты в данной области продолжаются.

^j Карл Поппер еще в 1935 году сформулировал этот принцип, чтобы отличить научное знание от ненаучного. Научное знание хотя бы в теории может быть опровергнуто («фальсифицировано» — по терминологии этого венского философа). Знание, которое в принципе невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, не является научным. Этот принцип позже был подвергнут жесткой критике; однако российские гуманитарии начали его активно использовать с середины 1990-х годов, невзирая на то, что их дисциплинам «принцип фальсифицируемости» отказывал в праве считаться научными. После того как фонд Сороса свернул свою деятельность в России, призывы применять «принцип фальсифицируемости» (или «фальсификации») стали звучать реже.

^k Напомню, что по инициативе все того же В. Суркова и Русской православной церкви в 2005 году был введен новый праздник — День народного единства, отмечаемый 4 ноября и совпадающий с праздником Казанской иконы Божьей Матери. Призванный вытеснить празднование дня Октябрьской революции 7 ноября, этот праздник вызвал многочисленную критику. В том числе и потому, что его инициаторы ошиблись в переводе даты отмечаемого события (успешный штурм Китайгородской стены в ноябре 1612 года, после которого гарнизон Кремля был обречен на капитуляцию) с юлианского летоисчисления на григорианское (см.: *Назаров Д.* Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года? // *Отечественные записки.* 2004. № 5).

ВОТ ТУТ ВСЕ И КОНЧИЛОСЬ..., ИЛИ ФРАКТАЛЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Везде историки в первую очередь ориентированы на изучение прошлого своей страны. И лишь в некоторых государствах история всемирная не только преподается в обзорных курсах, но и служит предметом оригинальных исследований. Российская империя и Советский Союз относились, а Российская Федерация пока продолжает относиться к числу именно таких государств. Поэтому вопрос о вкладе России в изучение всемирной истории^а и о признании значимости этого вклада международным сообществом историков в принципе может быть поставлен. Однако предварительно стоит оговорить некоторые необходимые допущения.

1. Для простоты разговора мы будем считать историю наукой. На самом деле вопрос о научной природе исторического знания и о научном характере ремесла историка является спорным. Однако продолжение этих споров займет слишком много времени.

2. По той же причине мы будем исходить из того, что история является кумулятивной наукой. С этим тезисом многие не согласятся, приведя серьезные возражения. Но иначе трудно говорить о вкладе трудов наших историков в мировую науку. К тому же мало кто станет отрицать, что история обычно сама любит «играть» в кумулятивный характер своего знания: принято считать, что добытое одним историком может быть использовано другим и все это вместе складывается в некоторую копилку знаний. Отсюда и столь любимые историками слова о «введении в научный оборот».

3. Если определять историю как науку, то трудно не заметить, что она существует в двух ипостасях: интернациональной и национальной. В своем интернациональном облике наука вообще не имеет границ, и потому термины: «Академия российских наук» или «Академия польских наук» звучали бы смешно. Но при этом слова о размытии национальных школ пока остаются лишь словами, и история как институт знания по-прежнему не существует вне

национальной оболочки. Да и выражения «Российская академия наук» или «Польская академия наук» сами по себе смеха не вызывают.

4. Следующее допущение связано с национальной ипостасью истории. В качестве национальной институции история включает в себя национальное сообщество ученых, обладающее определенной организационной структурой, определенными правилами игры и, главное, элементами деонтологии. Это — самовоспроизводящееся сообщество ученых (зачастую обладающее субъектностью, которая помимо прочего дает ему возможность солидарно выступать на международной арене). Историки национальной школы, по идее, должны выработать некую общую и желательную социально признанную форму легитимации своего знания. Иными словами, если у каждого историка могут быть сугубо личные причины заниматься своим делом, то статистически все исследователи, образующие совокупность представителей «национальной историографии», склонны схожим образом отвечать на вопросы, чем они занимаются и какая от этого польза.

5. И, наконец, последнее допущение относится к использованию термина «великая историографическая держава». В самом термине нет ничего оценочного, просто в одних странах не занимаются ничем, кроме истории своей страны, а в других на занятия «чужой» историей затрачивают деньги налогоплательщиков (иногда даже немалые), и это ни у кого не вызывает удивления. К числу последних относятся, в частности, США, Франция, Германия, Россия. А, например, страны Ирландия или Испания долгое время тратили средства в основном на изучение истории своей страны или регионов, так или иначе с этими странами связанных^b.

Теперь обратимся к трем периодам изучения всемирной истории в нашей стране.

В Российской империи была неплохая школа по изучению всеобщей истории¹. Оставим в стороне вопрос, как и почему она сложилась, нам достаточно констатировать, что она существовала. Изучение всемирной истории со второй половины XIX века прочно укоренилось и в университетах, и в Академии наук. Увлеченность

¹ Наиболее полную информацию об этой школе можно найти в новом комментированном издании справочника Бузескула: Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века / Сост. И.В. Тункина. М.: Индрик, 2008.

российской историей не снижала интереса к истории всеобщей, которой стремились обучить не только студентов, но и гимназистов. Свообразным доказательством от противного может служить «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»»¹ — талантливая пародия на гимназические учебники по всемирной истории, популярность которой предполагала хорошее знание исторического материала достаточно широкими кругами российской публики.

Некоторые достижения российских историков были весьма востребованы на Западе. Высоко ценилось российское византиноведение, в особенности — работы В.Г. Васильевского, В.Н. Бенешевича, Ф.И. Успенского. В этом нет ничего удивительного — к истории Византии имелся большой интерес, основанный на особой роли византийского наследия для судеб России. Недостатка в источниках не было, в науку приходили специалисты с прекрасной филологической подготовкой, византиноведение неплохо финансировалось — помимо бюджета Министерства народного просвещения активно помогали русское Палестинское общество, Русская православная церковь. Византинисты могли ездить в командировки, работали в архивах, участвовали в международных симпозиумах.

Обратим внимание на болезненный для нас вопрос о языке, столь же непонятном для западных коллег сегодня, как и в начале прошлого века. Так, в достаточно ехидной рецензии немецких византинистов Юлиха и Тэрнера на труд В.Н. Бенешевича говорилось, что российские коллеги намеренно скрывают некоторые свои важные находки, публикуясь исключительно по-русски². Поэтому иностранные византинисты вынуждены были учить русский — жаловались, но учили. Кроме того, немало публиковалось на иностранных языках, и в том числе на языках древних, понятных специалистам. Столь не любимое российскими гимназистами и сатириками классическое образование делало такие издания возможными.

Высоко ценилась русская аграрная школа, изучающая западноевропейское общество. Ведь Россия оставалась страной, где

¹ Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» [Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко, О.Л. д'Ор] / Предисл. В.Н. Токмакова. М.: Наука, 1993.

² Цит. по: *Медведев И.П.* Некоторые размышления о судьбах русского византиноведения // Исторические записки. Вып. 3 (121). М.: Наука, 2000. С. 35.

крестьянский вопрос стоял куда острее, чем в странах Западной Европы. Неудивительно, что русские историки, руководствуясь ретроспективным методом, могли усмотреть в поземельных отношениях Средневековья и Старого порядка то, о чем их западные коллеги давно забыли. С интересом и уважением французы встречали труды И.В. Лучицкого по французскому крестьянству Старого порядка. А П.Г. Виноградов стал основателем классической теории манора и учителем целого поколения английских историков.

В начале XX века на мировую арену начала выходить петербургская школа изучения Средневековья, во многом связанная с именами талантливых учеников И.М. Гревса. Хорошо была встречена французская публикация О.А. Добиаш-Рождественской («Церковное общество во Франции»), тесно сотрудничавшей со знаменитыми медиевистами Шарлем Ланглуа и Фердинандом Лотом^с. Выступления представителей российской делегации (А.С. Лаппо-Данилевского, Б.А. Тураева и других) на IV конгрессе исторических наук, проходившем в 1913 году в Лондоне, произвели настолько благоприятное впечатление, что следующий конгресс решено было провести в Санкт-Петербурге в 1918 году.

Но тут все кончилось.

Все же старая система после революции умерла далеко не сразу; вопреки многим ламентациям тогдашних ученых она довольно долго жила по инерции. Университеты были разгромлены, но Академия наук продолжала действовать. С.Ф. Ольденбург, ее непременный секретарь, метался, пытаясь то выпустить из тюрьмы арестованных ученых, то добывать дрова и продовольствие¹. Однако сохранялись еще связи с западными коллегами, к которым добавились историки теперь уже независимых государств. Так, можно сказать, что определенное влияние на польскую медиевистику оказал Д.М. Петрушевский, ранее преподававший в Варшавском университете^d. Более того, ученые продолжали ездить в командировки. Например, самый талантливый из учеников П.Г. Виноградова, А.Н. Савин, был отправлен в Англию (где, к сожалению, умер от «испанки» — страшной пандемии гриппа 1923 года). Когда в 1923 году в Брюсселе был наконец проведен IV Конгресс исторических наук (который по техническим причинам не состоялся пятью годами раньше в Петербурге), Россию на нем представляла

¹ А то и спасая того или иного ученого от расстрела. См.: Каганович Б.С. Сергей Федорович Ольденбург: Опыт биографии. СПб.: Феникс, 2006.

делегация не СССР, а Российской академии наук. Характерно, что до конца 1920-х годов членами РАН продолжали считаться эмигрировавшие ученые — М.И. Ростовцев, П.С. Струве и другие.

Как и для всей страны, 1928—1929 годов были для исторической науки временем «великого перелома». Произошла «советизация Академии». Как ни пытался маневрировать С.Ф. Ольденбург, старая корпорация была сломлена в результате «академического дела», ареста десятков видных ученых, в особенности — историков. На следующем Конгрессе исторических наук (Осло, 1928 год) СССР был уже представлен совсем иной делегацией во главе с воинствующим марксистом М.Н. Покровским, который, занимая высокий пост в Наркомпросе, настаивал на отмене преподавания истории. Европейские ученые были тогда шокированы новым обликом российской исторической науки. Впрочем, и советские историки постарались поскорее забыть об этом первом контакте, поскольку вскоре Покровский впадет в немилость, а его ученики будут физически уничтожены. Методологические эскапады следующей делегации историков-марксистов на Варшавском МКИН (1933 год) привели к не менее конфронтационному эффекту, и традиция участия русских ученых в этих конгрессах надолго прервалась.

С конца 1920-х годов можно говорить о том, что существуют два отряда русских историков. Одни преуспели в эмиграции, хорошо интегрировавшись в новую академическую среду. Помимо П.Г. Виноградова, возведенного английским королем Георгом V в рыцарское достоинство за его заслуги перед их страной (впрочем, эмигрировавшего в Англию еще до революции), в этом ряду надо назвать М.Н. Ростовцева и Н.И. Оттокара. Этим двум ученым удалось сохранить свои академические интересы и быть принятыми новыми университетскими коллегами. Успех Ростовцева на ниве американского антиковедения, которое изначально не находилось в каком-то более привилегированном положении по сравнению с антиковедением российским, вполне объясним¹. Достижения же Оттокара^е, ставшего лучшим знатоком истории итальянских средневековых городов, особенно после того, как

¹ Ростовцева продолжали много издавать, переводя на немецкий, испанский, голландский и французский языки. Последним (перед новым «открытием» Ростовцева в нашей стране) было французское издание: *Rostovtseff M. Histoire économique et sociale de l'Empire romain / Trad. de l'anglais par Odile Demange; introd., chronologie, bibliogr. établies par Jean Andreau. Paris: R. Laffont, 1988.*

он возглавил кафедру во Флоренции, — более удивительны¹. Были и другие историки, которым удалось продолжить преподавательскую работу вне России. В Риге всеобщую историю преподавал Р.Ю. Виппер, в Каунасе — Л.П. Карсавин (сумевший освоить литовский язык). Однако чаще специалисты по всеобщей истории становились славяноведами или русистами — такие как Г.П. Федотов или П.М. Бицилли.

Положение исторической науки в СССР выглядело к началу 30-х годов, мягко говоря, драматичным. К разгрому университетов добавилась «советизация» Академии. Несмотря на протесты ученых, продолжалась продажа за границу музейных экспонатов и редких книг. Аресты историков все множились, систематические курсы истории были изъяты из школьного преподавания. Впрочем, продолжали работать некоторые исследовательские институты; отдельные новые учебные заведения давали очень неплохое гуманитарное образование — например, ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) или ИКП (Институт красной профессуры).

В конце концов сформировалась новая, уже советская система исторического знания. Начальной датой функционирования этой системы можно назвать 1934 год — Постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании в школах СССР гражданской истории и географии». С этого момента история в виде систематического курса возвращается в школы и в высшие учебные заведения (вместе с кадрами «старых» преподавателей); появляются системы школьных и вузовских учебников. Это было лишь началом процесса, а конечной его датой можно считать 1948—1949 годы. До этих годов еще хотя бы гипотетически возможна была деятельность историков не-марксистов или «недостаточных» марксистов. Определенные послабления делались для старой профессуры (И.М. Гревса, Д.М. Петрушевского, репатрированного из Риги Р.Ю. Виппера), но с конца 1940-х годов такое было уже немыслимо.

Весь этот период можно назвать «эпохой героев». Ни идеологический контроль, ни репрессии не ослабевали, а даже усиливались;

¹ Книги Н. Оттокара издавались лишь по-итальянски, но зато интерес к его трудам не ослабевает и сегодня, о чем свидетельствует свежая публикация: Nicola Ottokar storico del Medioevo. Da Pietroburgo a Firenze / A cura di Lorenzo Pubblici e Renato Risaliti. Firenze: Olschki, 2008.

позже к ним прибавились тяготы войны, затем — борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. В этих условиях ученые с дореволюционной подготовкой освоили марксизм (вопрос об искренности их чувств, питаемых к всепобеждающему методу, можно оставить за скобками). Им удалось создать относительно непротиворечивую систему знаний, сохранившую при этом черты академической респектабельности. Соотносясь с источниками по правилам, разработанным историками-позитивистами, они строили свои интерпретационные модели, следуя марксистскому методу. Не всегда это получалось, этот процесс был неравномерен: некоторые отрасли исторической науки так и не были восстановлены (в особенности это касалось источниковедческих дисциплин). Одни области знания (например, византиноведение) после учиненного разгрома так и не вернулись на дореволюционный уровень; другие (например, то, что сегодня называется историей раннего Нового времени) этот уровень явно превзошли. Но в целом можно сказать, что была создана вполне работающая система, годная для внутреннего употребления и обладавшая полным набором характеристик национальной историографии.

Мне бы не хотелось, чтобы создалось впечатление попытки нормализовать советскую историческую науку. Она походила на «нормальную» науку не в большей мере, чем СССР походил на «нормальное» общество. Поэтому оценивать советских историков, сравнивая их с историками дореволюционными или с какой-нибудь школой «Анналов», было бы не очень продуктивно. Прежде всего, иной была система легитимации своего ремесла. Советские специалисты по всеобщей истории научились отвечать на вопрос, зачем в условиях враждебного империалистического окружения (либо форсированной индустриализации, войны, восстановления хозяйства, подготовки к Третьей мировой войне, освоения целины и т.д.) надо изучать историю Древнего Рима, крестовых походов или войны за независимость американских колоний. Ссылки на общую гуманистическую традицию здесь уже не работали, а приверженность «объективизму» служила одним из тяжелых обвинений. В зависимости от «текущего момента» ответ мог быть разным. Например, в духе пролетарского интернационализма: изучение «революции рабов и колонов» (на наличие которой указал тов. Сталин на съезде колхозников) позволяет лучше вскрыть особенности классовой борьбы трудящихся; или в духе патриотизма — изучать образование Тевтонского ордена важно для того,

чтобы продемонстрировать агрессивную сущность германского милитаризма и героическую борьбу с ним славянских народов. Но главными и наиболее эффективными были аргументы борьбы с буржуазной историографией и демонстрация превосходства марксистско-ленинского учения. Не удивительно, что советская историческая наука плохо согласовывалась с «традиционными» представлениями о научности. Удивляет, что хотя бы в чем-то она им соответствовала.

Возвращение русской исторической науки в советском облике на международную арену началось с середины 1950-х годов. В 1955 году состоялся X Международный конгресс исторических наук в Риме, где СССР, по сути, впервые принял полноценное участие. Советская делегация во главе с академиком Е.А. Косминским произвела хорошее впечатление. Интеллектуал дореволюционной формации, свободно владевший основными европейскими языками, автор вполне убедительных эмпирических исследований по аграрной истории и вместе с тем вполне последовательно развивающий марксистскую версию истории, — все это было внове и вызывало большой интерес. С тех пор СССР год от года увеличивал свое присутствие на международных конгрессах. Венцом этого движения можно считать проведение XIII МКИН в Москве в 1970 году.

Но насколько влиятельна была советская историческая наука за рубежом среди тех, кто не занимался специально историей России?

Западные историки склонны были цитировать советских авторов, которые, впрочем, не являлись историками. Большое влияние на исследователей оказали концепции экономиста А.В. Чаянова, о «циклах Кондратьева» заговорили историки 1950—1960-х годов, обратившие внимание на изучение экономических конъюнктур. Чуть позже пришло увлечение М.М. Бахтиным, М.В. Проппом и русскими формалистами. Но склонен ли был Запад прислушиваться к советским историкам?

Ответ будет скорее положительным. Да и как он мог не прислушиваться, когда СССР обладал водородной бомбой, запускал ракеты в космос и его танковые армады были в двух суточных переходах от Рейна, стройные ряды историков «стран народной демократии» демонстрировали успешное освоение марксистского метода, а сам марксизм находился на пике популярности среди западных интеллектуалов 1950—1960-х годов?

Иногда это был вполне заинтересованный диалог на равных или почти на равных. Достаточно любопытна переписка академика Н.И. Конрада с Арнольдом Тойнби или полемика последнего с тем же Е.А. Косминским. К советским историкам, изучавшим Французскую революцию (таким как В.М. Далин, А.З. Манфред, А.В. Адо и другие), прислушивались их французские коллеги, к тому же по большей части сами состоявшие в местной компартии или симпатизировавшие ей. Византистика восстала из пепла, она мало походила на свою дореволюционную предшественницу (скрупулезное источниковедение уступило место смелым социально-экономическим полотнам), но это была наука, с которой вновь считались западные коллеги. Удачными были контакты в сфере того, что называлось вспомогательными историческими дисциплинами, не говоря уже об археологии. Были историки, известные на Западе в силу своей специализации: например, работы Н.Н. Болховитинова, посвященные Русской Америке, были хорошо знакомы американским историкам.

Труды советских историков, основанные на источниках, особенно неопубликованных, часто становились известны западным коллегам и если не встречали восторженного приема, то, во всяком случае, принимались к сведению и включались в общие библиографии, а иногда и переводились на европейские языки — например, книга А.Д. Люблинской о Франции эпохи Ришелье¹ или исследование Л.А. Котельниковой о сельской округе итальянских городов Средневековья². И таких примеров не так уж мало.

Наряду с этим в известности советских работ присутствовал и элемент славы ярмарочного монстра. Попробуем проследить это на примере книги Б.Ф. Поршнева, посвященной народным восстаниям во Франции накануне Фронды, удостоенной Сталинской премии в 1949 году. Она была основана на донесениях королевских интендантов; эти документы, попавшие после Французской революции в российские архивы и потому были не слишком известны французским коллегам. Но интерес вызвало

¹ *Lublinskaya A.* French absolutism, the crucial phase 1620—1629 / A.D. Translated by Brian Pearce. Foreword by J. H. Elliott. Cambridge: University press, 1968.

² *Kotelnikova L.A.* Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo: dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale. Bologna: Il Mulino, 1975; *Eadem.* Città e campagna nel Medioevo italiano. Roma: Ed. riuniti, 1986.

не столько это обстоятельство, сколько лобовая марксистская интерпретация французского абсолютизма как порождения феодальной реакции на усиление классово-борьбы. Особо поражал воинственный тон изложения: автор громил буржуазных фальсификаторов, пытавшихся замолчать массовые народные движения, едва не приведшие к революции в XVII веке. Эта работа стала известна на Западе уже в 1953 году (после того как была опубликована в ГДР). Затем по инициативе Робера Мандру в 1963 году она была издана и во Франции¹. Разрушение привычных для французов стереотипов, соблазнительная простота концепции, железная логика, подкрепленная обильным цитированием источников, завоевали Поршневу немало сторонников на Западе. Язвительной критике подверг книгу Поршнева Ролан Мунье, за которым закрепилась слава консерватора. В результате французское историческое сообщество поделилось, как тогда говорили, на «поршневи́стов» и «антипоршневи́стов». Несмотря на то что в СССР концепция Поршнева встретила ожесточенное сопротивление коллег, сумевших вытеснить ее на периферию марксистской концепции абсолютизма, во Франции по сей день многие уверены, что именно Поршневу воплотил в своих работах «советский» подход к этой проблеме.

Нечто подобное происходило на крупных международных конгрессах, когда представители советской делегации выступали с программными докладами, неизменно вызывавшими критику одних и поддержку других. Перед отправкой на коллоквиум такие доклады надо было обязательно согласовывать, а членам советской делегации предписывалось сообщать «давать отпор реакционным вылазкам». При том что на тех же конгрессах советские доклады, опиравшиеся на эмпирический материал, воспринимались по большей части вполне спокойно и даже благожелательно, репутация советских историков в целом оставалась весьма специфической. В представлении западного исследователя, его «обобщенный» советский коллега действовал следующим образом: «Если данные источника не укладываются в систему марксистской методологии, то тем хуже для источника». Как писал А. Момильяно: в разговоре с советскими историками создается «впечатление, что они имеют

¹ *Porchnev B. Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648. Paris: SEVPEN. 1963.*

в кармане философский камень и поэтому могут лишь снисходительно смотреть на западных коллег...»¹

Решению больной для отечественной историографии языковой проблемы способствовали историки стран социалистического лагеря, переведившие труды советских ученых (как в случае с Б.Ф. Поршневым). Но в большей степени этому содействовала целенаправленная государственная политика. Доклады советских историков старательно переводились на иностранные языки, специальное книжное издательство занималось публикацией работ советских авторов для зарубежных читателей. Так, например, в 1978 году была переведена на французский язык трехтомная советская «История Франции». Она встретила весьма холодный прием в Париже; причем совершенно незаслуженно критика досталась добросовестным историкам — Ю.Л. Бессмертному, А.Д. Люблинской, С.Д. Сказкину. Рецензенты возмущались, почему их том, обнимающий все богатство многовековой французской истории от галлов до Французской революции, имеет вдвое меньший объем, чем второй том, посвященный, по сути, «большому XIX веку», не говоря уже о третьем томе, где речь шла лишь о шести десятилетиях XX века? Упрек был явно не по адресу.

Наконец, надо сказать о достаточно щекотливой проблеме, характерной для последних двух десятилетий существования советской историографии. Как следует классифицировать труды С.С. Аверинцева, А.Я. Гуревича, А.П. Каждана и некоторых других ученых, о которых сегодня говорят как о «несоветской советской историографии»? И содержательно, и — что самое главное — стилистически они начинают явно выбиваться из рамок, в которых существовала национальная историография в СССР. На Западе они были известны достаточно хорошо, причем их известность выходила уже за пределы научной специализации (для советских историков это было, пожалуй, впервые). Но считались ли они историками советскими как в глазах властей, так и в глазах мирового сообщества? Ответить на этот вопрос так же сложно, как ответить на аналогичный вопрос о фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» или о музыке Альфреда Шнитке. Думаю, что советское происхождение все же придавало в глазах западных коллег некую особую привлекательность этим сочинениям. Одни ценили в них

¹ Цит. по: *Ingerflom C.S. Moscou: Le procès des Annales // Annales. Economies. Sociétés, Civilisations. 1982. Vol. 37. N 1. P. 71, note 4.*

усилие преодоления, действия вопреки системе, другие видели залог будущей трансформации исторической науки в духе «теории конвергенции». Впрочем, ситуация усложнялась еще и появлением третьей волны эмиграции.

Как бы то ни было, известный французский медиевист Ален Герро в 1990 году публикует статью в журнале «Анналы», где помимо прочего критикует французскую историографию за слабое знание работ историков из социалистических стран, в особенности исследований Ю. Бессмертного, А. Гуревича, Б. Поршнева, С. Сказкина в СССР, В. Кулы, А. Вычански, Г. Самсоновича, Б. Геремека — в Польше, Е. Вернера, Б. Тёпфера, Е. Мюллер-Мертенс, Й. Херманна в ГДР¹. В 1989 году с большой помпой в Москве прошел коллоквиум, посвященный юбилею школы «Анналов». В речах иностранных коллег звучали неперенные здравицы в честь возвращения советской науки в мировую историографию. На очередной, XVII Конгресс исторических наук в Мадрид советские ученые приезжают, непривычно омоложив состав делегации. Все были уверены, что от нашей науки, освободившейся от пут тоталитаризма, следует ждать блестящих свершений.

Но тут все кончилось.

И снова старая система умерла далеко не сразу. Вопреки многим lamentациям тогдашних ученых она довольно долго жила по инерции.

Каких-то авторов — того же А.Я. Гуревича или Л.М. Баткина — по-прежнему активно издавали на Западе. Продолжался обмен делегациями. Многие историки словно не замечали, что СССР прекратил свое существование. Некоторые школьные учебники, именуясь по-новому: «История России с древнейших времен до наших дней», все-таки в качестве древнейшей цивилизации на территории нашей страны называли государство Урарту, чем повергали в недоумение коллег из суверенной Армении.

Но Советский Союз кончился, а с ним парадоксальным образом закончился и интерес к историографии российской. Даже там, где он по традиции был достаточно велик. Иностранные византилисты, например, очень быстро начали забывать не только русский язык, но и необходимость ссылаться на труды русских коллег.

¹ *Guerreau A. Fief, féodalité et féodalisme. Enjeux sociaux et réflexion historique // Annales. Économies. Sociétés. Civilisations. 1990. Vol. 45. N 1. P. 153—154.*

В этой связи хочется вспомнить слова г-на Брежере из «Современной истории» Анатоля Франса, относящиеся к влиянию военных неудач на международный престиж французской науки:

«Из письма моего уважаемого друга Вильяма Гаррисона я узнал, что с 1871 года французская наука перестала пользоваться почетом в Англии и что в университетах Оксфорда, Кембриджа, Дублина намеренно игнорируется руководство по археологии Мориса Ренуара, хотя из всех подобных трудов — это лучшее пособие для студентов. Но там не желают учиться у побежденных. Если верить его словам, то профессор, читающий о происхождении греческой керамики, должен принадлежать к нации, которая славится искусством лить пушки, иначе его не будут слушать. Из-за того что маршал Мак-Магон в 1870 году был разбит под Седаном, его собрата Мориса Ренуара не признают в Оксфорде в 1897 году»¹.

Можно, конечно, счесть это очередным парадоксом галльского ума, но разве перед нами не стоит удивительный пример угасания славы немецкого антиковедения после поражения во Второй мировой войне? И сегодня выросло уже второе поколение антиковедов, не знающих немецкого языка, — ситуация, ранее немыслимая.

С некоторым удивлением обнаружив себя в статусе проигравших в холодной войне, российские историки были неприятно удивлены тем, что они теперь неинтересны Западу в качестве представителей особой национальной историографии.

Правда, в Россию зачастили миссионеры, пропагандирующие то или иное исследовательское направление, надеясь завоевать в нашей стране новых приверженцев. Их слушали внимательно, и не только чаемая грантовая поддержка западных фондов была тому причиной, но еще и метафизическая тоска по утраченному единospасающему марксистскому методу и страстное желание обрести ему достойную замену. Но ни «историческая антропология», ни гендерные исследования, ни психоистория, ни микроистория, ни лингвоповорот не могли занять эту опустевшую нишу в кумирне. Да и было все это улицей с односторонним движением.

Не способствовали налаживанию диалога нашего национального сообщества историков с иностранными коллегами и попытки опереться на новые авторитеты отечественного происхождения: идеи Л.Н. Гумилева оказались больше востребованы в Казахстане

¹ Франс А. Современная история. Ивовый манекен // Он же. Собр. соч. М.: ГИХЛ, 1958. С. 169—170.

и Монголии, русские религиозные мыслители (Карсавин, Лосев, Лосский) также не очень впечатляли западных исследователей.

Но это совершенно не мешало эффективным контактам на индивидуальном уровне. Мир открылся, историки получили возможность работать в архивах изучаемых стран, кому-то удалось хорошо интегрироваться в европейскую или американскую академическую среду. Но если Ростовцев мог все же рассматриваться и как представитель русской науки в изгнании, то о моих сегодняшних коллегах, успешно преподающих в западных университетах, этого сказать нельзя.

Список локальных достижений современных российских историков может оказаться неожиданно длинным. У нас есть немало молодых ученых, хорошо читающих клинопись и прекрасно знающих коптские и сирийские памятники; наших археологов и кочевниковедов хорошо принимают на Западе; а число знатоков древнеисландского, да и древнеирландского языков превосходит все ожидания. Существует немало вполне эффективных проектов международного сотрудничества. Российская делегация продолжает участвовать в международных конгрессах историков — правда, численность ее раз от раза снижается⁶. Но все же, если речь идет о солидарном авторитете российской национальной историографии, о ее вкладе в мировую историографию (напомню, что для нас важен критерий известности историка за пределами его узкой специализации), здесь ситуацию трудно назвать отрадной.

Присутствие России на рынке мировой историографии продолжается в качестве «сырьевой державы» — у нас есть много источников, относящихся ко всемирной истории, при этом недостаточно известных западным исследователям — архивы III Интернационала, документы по Второй мировой войне и многочисленные трофейные коллекции (последние, впрочем, по большей части уже возвращены прежним владельцам).

И все же России пока удается поддерживать статус «великой историографической державы». На этот статус мало кто может претендовать из бывших советских республик. В молодых государствах (даже тех, которые успешно интегрированы в ЕЭС) историки сконцентрировали свои усилия на форсированном строительстве национальных версий исторической памяти, то возводя «музеи российской оккупации», то изучая прошлое своей страны в «колониальный период».

Если же говорить о существовании российской национальной историографии, то ее формирование пока еще не завершилось, и никакой когерентной системы наши историки и представляемые ими институции не образуют. Для доказательства этого достаточно взглянуть на то, как рецензируются вышедшие у нас работы по всемирной истории.

Соблазнительно усмотреть в этом действии общей тенденции «конца больших нарративов», порождающей пресловутое «измельчание истории». Но для доказательства противного достаточно взглянуть на национальную историографию экс-советских республик, да и не только их.

Можно уповать на грядущее признание заслуг национальной историографии мировым сообществом историков. Можно рассчитывать на признание на Западе какого-нибудь историка, действующего вопреки своей национальной историографии (назовем это «эффектом Орхана Памука», обвиненного у себя на родине в оскорблении Турецкой Республики). Но и в том и в другом случае существование национальной историографии необходимо.

Почему Россия здесь отстала от своих бывших коллег по соцлагерю — особый вопрос. Нас интересует сейчас другое: вернут ли себе российские историки известность в мировом масштабе?

Вновь прибегну к литературной цитате, на сей раз из С. Довлатова. В последней своей повести, «Филиал», он описывал советских эмигрантов, съехавшихся в Калифорнию на конгресс славистов. Эмигранты делились на почвенников и либералов. «Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к величайшему сожалению, уже заявила»¹.

Сейчас, когда поиски национальной идеи в нашей стране перешли в практическую плоскость, когда авторитет российских историков вновь несколько подкреплен нефтедолларами, запусками ракет «Булава» и металлическими нотками во властном дискурсе, шансы российских ученых на особую партию в мировом оркестре историков повышаются. Логично ожидать, что первой обретет некую гомогенность именно история России (хотя что такое для России, например, история Украины — вопрос пока нерешенный). Но мы — непредсказуемая страна, и поэтому вполне возможно, что роль локомотива в этом может сыграть именно история

¹ Довлатов С. Филиал // Он же. Собр. соч.: В 4 т. СПб.: Азбука, 2000. Т. 4. С. 29.

всемирная. Эффект «внезапности», о котором писал в свое время М.М. Бахтин и на который так любил ссылаться в своих работах А.Я. Гуревич, или, попросту говоря, — особое, наше, то ли евразийское, то ли «азиатское» положение в качестве созерцателей всемирно-исторического процесса может дать нам в руки некоторые преимущества. Поэтому с большой долей вероятности вновь можно ждать клича: «Русские идут!» Но вернемся ли мы в мировую историографию в облике очередного ярмарочного монстра или на правах равных собеседников — зависит от рационального выбора нынешнего поколения российских историков.

Комментарий

В мае 2008 года в Институте гуманитарных историко-теоретических исследований Высшей школы экономики совместно с Центром изучения классической традиции в Польше и Центральной и Восточной Европе Варшавского университета была проведена конференция «Присутствие и отсутствие Польши и России в мировом гуманитарном научном пространстве». Организаторами с российской стороны были Ирина Савельева и Андрей Поletaев, с польской — Ежа Асер и Ян Кеневиц. Мне было предложено выступить, опираясь на опыт российской исторической науки. Точнее — речь шла о содокладе, поскольку оценивать вклад в копилку мирового знания российских историков, занимающихся отечественной историей, было поручено А.Б. Каменскому.

Я выступал без текста, но сотрудники ИГИТИ представили мне стенограмму моего выступления, которую волей-неволей пришлось перерабатывать в статью. Она была опубликована сначала по-русски: *Уваров П.Ю.* «Но тут все и кончилось... Россия в роли «великой историографической державы» // Национальные гуманитарные науки в мировом контексте. Опыт России и Польши. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010. С. 121—139.

А затем по-польски: *Uwarow P. I na tym wszystko się skończyło... Rosja w roli "wielkiego mocarstwa historiograficznego"* // *Humanistyka krajowa w kontekście światowym. Doświadczenie Polski i Rosji / Pod red. J. Axera i I. Sawieliewej.* Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011. S. 125—140.

Изначально в подзаголовке статьи стояло «или Фракталы российской истории», но редакторы сочли, что слово «фрактал» непонятно гуманитарной публике и совсем неясно, как оно будет звучать для польской аудитории. Я-то с фракталами сталкивался, пытаюсь разобраться в трудах клиометристов, клиодинамиков и историков, упирающих на перспективы синергетики. И если определение фракталов, принятое в точных науках (фрактал — самоподобное множество нецелой размерности), мало что мне

говорит, то «математизирующие» историки и экономисты, употребляя это слово, обозначают цикличность, повторяемость наблюдаемых процессов. А повторяемости или даже «дурной бесконечности» в российской — да и в польской — истории было много, даже слишком много. Поэтому я решил вернуть изначальное название.

^a Напомню, что на конференции доклад по русской истории делал А.Б. Каменский.

^b В последнем случае, впрочем, *espanidad* — ареал испанского культурного наследия — распространяется чуть ли не на половину земного шара, и это означает, что отсутствие статуса великой историографической державы отнюдь не предполагает национальной ограниченности.

^c Точнее, Ольга Антоновна была их ученицей по Сорбонне, Школе Хартий и Высшей школе практических исследований.

^d Вскоре в журнале «Средние века» была опубликована статья Мариана Дыго: *Дыго М.* Дмитрий Петрушевский и Марцеллий Хандельсман: из истории варшавской медиевистики // *Средние века* 2008. Вып. 69(3). С. 129—141.

^e См.: *Дубровский И.В.* Оттокар и другие // *Он же.* Очерки социальной истории Средних веков. М.: Регнум, 2010. С. 97—131.

^f Уменьшается численность официальной делегации. Но многие российские историки приезжают теперь на конгрессы по собственной инициативе, и потому их трудно учесть.

ИНТЕРВЬЮ Л.Р. ХУТ С ПАВЛОМ ЮРЬЕВИЧЕМ УВАРОВЫМ

от 14 апреля 2009 года

Л.Р. Хут. Сегодня, 14 апреля 2009 года, мой собеседник — член-корреспондент РАН, заведующий Отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН, директор российско-французского учебно-научного Центра исторической антропологии им. Марка Блока РГГУ, член Международной комиссии по истории университетов, ответственный редактор журнала «Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени», член редколлегии изданий «Одиссей. Человек в истории» и «Французский ежегодник», доктор исторических наук профессор Павел Юрьевич Уваров.

Павел Юрьевич, простое перечисление ваших должностных обязанностей впечатляет. Скажите, пожалуйста, с этой искомой высоты «птичьего полета», что видите вы, какие процессы в современной отечественной исторической науке? Что вас радует, а что настораживает? Можно ли говорить о существовании в нашей стране профессионального сообщества историков?

П.Ю.Уваров. Во-первых, какой отечественной исторической науке? Иногда все-таки полезно разделить всемирную (всеобщую) историю и историю отечественную. Не всегда это надо делать, но иногда это полезно; и, во всяком случае, надо понимать, о чем идет речь.

Л.Х. Давайте будем говорить о всемирной истории.

П.У. Да, но и в связи с отечественной историей также. Хорошего, конечно, мало. Я думаю, что большинство интервьюируемых вами лиц тоже были далеки от оптимизма. С моей точки зрения, проблема вполне очевидная: сообщество не сложилось.

Вернее, не сложилось оно как в масштабах всего государства (сообщество историков, видимо, все-таки скорее существует на бумаге или в умах очень оптимистически настроенных людей), так и в рамках какой-то одной субдисциплины, что более странно. Как это можно доказать? Да тем, что в принципе у нас можно все. Во Франции, знакомой мне лучше, при всей свободе историков есть вещи, которые делать нельзя. Сообщество это хорошо знает: есть правила игры, за нарушение которых следует определенная реакция коллег. У нас этого почти нет, что очень грустно, я попробую объяснить почему. Хоть и можно спорить о существовании объективной истины и о критериях верификации, но в социальной практике (если рассматривать науку как социальную практику) иных критериев, кроме экспертной оценки сообщества, у нас пока нет. А для этого нужно, чтобы сообщество функционировало. Если человек скажет глупость, допустим что данный народ живет на данной территории начиная с нижнего палеолита, а все остальные являются пришлыми и подлежат выдворению, то в идеале именно его коллеги должны сказать, что он глубоко заблуждается. Но у нас коллеги этого могут и не сказать — не прочтут; не захотят связываться; подумают, что они выше этого; просто руки у них не дойдут и т.д. Не стоит идеализировать сообщество: оно может быть консервативным, оно может тормозить инновации, оно может создавать дутые авторитеты. Все это везде есть, это было и у нас, и будет, наверное; но при этом сообщество должно функционировать как важнейшая референтная группа.

Л.Х. Павел Юрьевич, о наличии или отсутствии сообщества должно свидетельствовать наличие или отсутствие каких-то организационных форм? Несколько лет назад, насколько я помню, вынашивалась идея, впоследствии благополучно забытая, о создании Российской исторической ассоциации⁴. Почему эта идея была похоронена? Если бы ассоциация сегодня существовала, это означало бы, что у нас есть сообщество?

П.У. Не думаю, что ассоциация непременно была бы тождественна сообществу. Здесь, наверное, нужны категории анализа П. Бурдьё, может быть, других французских социологов — Л. Болтански, Л. Тевено, если речь идет о французах, или категории каких-нибудь англосаксонских интеракционистов. Сообщество — это поле взаимных связей. Поле не создается приказом, не создается в виде

какой-то формальной ассоциации. Хотя сама по себе тяга к созданию ассоциации является проявлением уже какого-то важного процесса складывания сообщества или тенденций, которые ведут к складыванию этого сообщества. Почему же его нет? Потому что плохо работают какие-то отдельные учреждения? Да, конечно, они работают плохо. Нет ни структуры, ни, что гораздо важнее, нет конкретного влиятельного человека, который был бы заинтересован в существовании и поддержании такого сообщества или таких сообществ в целом^b. Тем не менее есть удачные примеры. Я обещал не называть здесь фамилий, но все-таки назову: Лорина Петровна Репина, которая вместе со своим коллективом создала общество «интеллектуальных историков», как у нас называют ее ассоциацию^c. Сообщество очень специальное, оно не охватывает большинства или даже значительной части историков, статусные позиции его членов, как правило, не слишком высоки и т.д. На местах это скорее прибежище для людей, обделенных официальными полномочиями, чем лидеров локальных исторических сообществ. Но тем не менее это сообщество существует не первый год, есть издания, есть организационная структура.

Л.Х. Не является ли Российское общество интеллектуальной истории счастливым исключением? Не погружаемся ли мы в ситуацию, когда «всяк сам себе историк», и не есть ли она одно из проявлений кризиса современного отечественного историознания?

П.У. У нас не «всяк сам себе историк», хотя и такая тенденция есть. Антуан Про в книге «Двенадцать уроков по истории», анализируя свою, французскую, ситуацию, пишет, что вот у нас, похоже, существуют скорее кружки для самовосхваления, чем единое сообщество. Это вполне применимо к российским историкам, складывание таких кружков для самовосхваления вполне заметно. Это не совсем «историк сам по себе». Вокруг одного или нескольких человек складывается определенное маленькое поле. Это могут быть неформальные связи, это может быть кружок, семинар или даже отдел или кафедра. Здесь все друг друга знают, здесь создаются авторитеты. Но они действуют только в рамках этой мини-группы. Между собой такие группы могут быть никак не связаны или связаны очень мало. Мне часто приходилось слышать, что мы, медиевисты, такие хорошие, сплоченные и т.д. Но, на мой взгляд, будет более справедливым отнести это к тем,

кто занимается древнерусской историей или, как сейчас стали говорить, средневековой историей России. Вот они гораздо ближе к тому, что можно назвать профессиональным сообществом. Это понятно, поскольку здесь не так много источников, не так много сюжетов. Люди сталкиваются при изучении одного и того же документа, одного и того же текста, а интерпретируют его по-разному. Поэтому это сообщество часто конфликтно. Идут взаимные обвинения, едкие рецензии, потом едкие ответы на эти рецензии. Это, конечно, грустно, что они ругаются, но это значит, что все-таки сообщество функционирует. Какие бы личные амбиции и обиды ни таились под покровом дискуссий, но все же историки выясняют отношения при помощи научных аргументов. Оставаясь в рамках науки, они ставят друг другу какие-то баллы по шкале «гамбургского счета». Есть ли такое сейчас у медиевистов или «новистов»? Не знаю^d.

Л.Х. Насколько я вас понимаю, насколько могу судить по некоторым вашим публикациям, вы в принципе поборник идеи сообщества, корпорации. И этот корпоративный дух вы стремитесь поддерживать, по крайней мере в среде медиевистов, так? Эта среда, эта корпорация медиевистов — не тот ли самый уже упомянутый вами кружок...

П.У. ...по самовосхвалению?

Л.Х. Да.

П.У. Давайте разделим понятия. Есть корпорация в средневековом смысле этого слова, сообщество равных, основанное на взаимной присяге, существующее для поддержки друг друга, для сохранения памяти друг о друге — очень важная функция, о которой мне доводилось писать. Можно говорить о корпорации в широком смысле слова, или о корпоративном духе. И есть сообщество, точнее — дисциплинарное сообщество. Это разные вещи. Если мы их разведем, то все станет на свои места. Корпорация желательна, но не обязательна. Без нее можно существовать. А без сообщества — нельзя. Историк, творящий в вакууме, остается гениальным писателем в стол, писателем гениальных текстов, духовидцем, кем угодно. Для нормального функционирования историку нужны ученики, нужны читатели, как восхищенные, так и критики, оппоненты, иногда враги — это нужно историку. Это нужно сообществу историков, структуре этого сообщества. Видите,

во мне жив дух структурализма, столь критикуемого сейчас. Все-таки я так воспитан, что ж тут скрывать. Поэтому мне кажется, если это прекратить, прервется существование сообщества, а затем умрет и корпорация.

Л.Х. А вам хотелось бы как представителю определенной структуры общаться с такими же «структурированными» представителями других сообществ историков? Допустим, вы представитель структуры медиевистов, а если речь пойдет о каких-то научных контактах, дискуссиях, сотрудничестве с историками Нового времени? Вам важно наличие этой структурированности или же это не принципиально?

П.У. Вообще-то, конечно, можно и без формальной структуры. «Главное, чтобы человек был хороший», это понятно.

Л.Х. А что значит «главное, чтобы человек был хороший»?

П.У. Главное, чтобы был человек, который был бы настроен на это взаимодействие. Нельзя вообще увлекаться корпоративизмом. Он ведь имеет оборотную сторону. Это замыкание в себе, это неприятие каких-то новых лиц, иногда настороженное, враждебное отношение к каким-то новациям, к людям, которые приходят извне. Все как в средневековой корпорации.

Л.Х. А если такие контакты случатся в будущем, как выглядел бы по крайней мере ваш, лидера структуры, настрой? Это вражда — соперничество, это желание обязательно одержать победу в споре или это искренний поиск истины?

П.У. Сейчас не на вопрос отвечаю, но иначе я забуду. Могут возникнуть разночтения с пониманием термина «корпорация». Во время проведения прошлогодней читательской конференции нашего журнала «Средние века» выяснилось, что для многих значение слова «корпорация» — сугубо негативное. «Ну какой же это корпоративный орган, наоборот, очень хороший журнал, вы же публикуете не только своих», — говорили они. Это смешно, ведь говоря, что мы — корпорация, мы считали, что очень хвалим себя, а оказалось — ругаем. Для меня корпоративный дух еще вот в чем. Корпорация, по определению, сообщество равных. В отличие, скажем, от иерархии или от такого понятия, как «школа»,

где есть мэтр и есть его ученики, которые между собой тоже находятся в иерархическом соподчинении. Как только я пришел в ИВИ РАН^с, не будучи учеником кого-нибудь из видных медиевистов, работавших здесь, я, совершенно не испытывая никаких угрызений совести, обращался к Е.В. Гутновой, Ю.Л. Бессмертному, А.Я. Гуревичу, А.Н. Чистозвонову, кому угодно, с любым вопросом. И ни разу не почувствовал в ответе настороженного отношения: «Кто ты вообще такой, что ты задаешь мне вопросы?» Как это иногда бывает сейчас, не знаю, почувствовали ли вы это на себе. Мэтры были людьми, уж совсем разными, но их объединяло унаследованное, возможно, от их учителей, помнящих еще старые университетские традиции, понимание того, что «даже кошка имеет право смотреть на императора». Мы здесь все равные. Ты имеешь право задать вопрос, я имею право показать, что вопрос мне не нравится, но я обязан на него ответить. Это принцип нормальной научной корпорации — сообщества формально равных личностей.

Теперь — насчет того, с кем лучше иметь дело в плане диалога, с отдельными людьми или с группами. Наверное, естественнее, если есть какие-то группы, которые проявляют интерес к сотрудничеству с другими группами. Но я такого пока не видел, потому что группы у нас, вероятно, и создаются, чтобы не сотрудничать с другими, а прославлять себя. Контакты происходят в отдельных случаях, как правило, при помощи некоторых любопытствующих людей, любящих задавать вопросы. Вот они-то и могут связывать между собой разные группы. Сотрудничества можно ожидать при организации больших конференций или при выработке важного решения, когда собрали представителей разных школ, разных групп, категорий — и вот решают какую-то проблему. Но я что-то не припоминаю таких примеров.

Л.Х. Но в любом случае это не соревнование?

П.У. О, агональный дух не исчез. Он существует. Мне кажется это не очень связано со школами, не очень связано с корпорациями, хотя и с ними тоже. Больше на индивидуальном уровне работает. Соревновательность присутствует во всех сферах академической жизни, не обязательно у историков и не обязательно у медиевистов.

Л.Х. Для вас принципиально важно в любом научном споре одержать победу?

П.У. Я не очень понимаю, что такое победа в научном споре. Но сам по себе научный спор — это очень хорошо.

Л.Х. Все-таки то, чем вы занимаетесь, то, чем занимается корпорация, представителем которой вы являетесь, то, чем занимаются современные российские историки, — это наука? История не утратила стандарта чистой научности? Вообще что это за тип знания — историческое знание?

П.У. Можно вернуться к научному соперничеству? Просто хочу привести пример.

Л.Х. Да, конечно.

П.У. У нас, как правило, соперничество научное сопровождалось очень сильным личным соперничеством и антипатией.

Л.Х. «У нас» — это у кого?

П.У. Ну, допустим, у нас в России. Б.Ф. Поршнев и А.Д. Люблинская не любили друг друга. С.Д. Сказкин и Б.Ф. Поршнев не любили друг друга. Кто больше не любил — вопрос. Споры были вроде бы научными. Но трудно представить, чтобы они совместно взялись писать какую-нибудь работу. Ну разве только по прямой команде из идеологического отдела ЦК^г.

Я начал свое знакомство с XVI века (изначально занимаясь более ранним периодом) с рецензии на две книжки о Парижской католической лиге. Это книги Робера Десимона и Эли Барнави. Р. Десимон — ученик Дени Рише, «социологизирующего историка», придерживавшегося левых взглядов. Э. Барнави — ученик Ролана Мунье, консерватора во всех отношениях. Это две разные школы, два разных враждебных друг другу подхода. Книги Э. Барнави и Р. Десимона отражали почти полярную противоположность этих подходов, и их резкие споры выплеснулись на страницы журнала «Анналы»^г. Ну, думаю я, все в порядке, вот и у них то же, что и у нас, — все узнаваемо, дерутся мэтры, дерутся их ученики. Каково же было мое удивление, когда через три года вышла совместная книга Э. Барнави и Р. Десимона. Причем они от своих позиций не отошли. Тем не менее это не помешало им вместе издать книгу, очень интересную. Это меня удивило — оказывается, так тоже можно. Если говорить об идеалах, то идеал, наверное, вот в этом. Любить друг друга не обязательно. Кстати, их учителя, Р. Мунье

и Д. Рише, терпеть не могли друг друга. Много есть всяких анекдотов по этому поводу, не буду вас нагружать. Но когда Р. Мунье избрали академиком, комитет по сбору денег на шпагу Р. Мунье возглавил Д. Рише (у французов существует традиция собирать деньги на шпагу — академик сам ее не покупает, ему ее преподносят коллеги). Это — корпорация. И шахматисты — корпорация. Когда Г. Каспарова забрали в милицию, А. Карпов взял яблоки и отправился навещать своего извечного соперника^h. Вот в этом для меня идеал — нормальные корпоративные или, если угодно, коллегиальные отношения: «Мы не любим друг друга, но в данном случае мы — коллеги».

Л.Х. У нас нет таких примеров, да?

П.У. Если покопаться, то найдутся, но они не на слуху. Ненависть заявляет о себе куда громче; коллегиальность ведет себя тише, но все-таки она существует. В учебниках историографии написано про то, что Шарль Сеньобос и Франсуа Симиан были непримиримыми идейными противниками. Но кто знает, что они вместе боролись против несправедливого осуждения Дрейфуса? Если я иногда пишу какие-то якобы историографические тексты, то хочу показать, что даже у злейших врагов были иногда вот такие общие чувства. Хотя часто говорят, что я стараюсь обелить негодяев, помирить палачей и жертв, дать приглашенную версию корпоративной историиⁱ. Почему это так меня интересует? Наверное, потому, что коллегиальности и корпоративизма сейчас не хватает.

Вы меня спросили про науку, про научность истории. По-разному отвечают на этот вопрос. Между собой, собравшись, историки говорят: «Ну, какая это наука, это скорее искусство...» Так происходит в любой стране, не только у нас. Но если на этом основании попробовать сократить финансирование истории, то историки встанут и будут негодовать: «Сокращают расходы на науку! Даже в сталинские времена науку поддерживали, а сейчас вы хотите урезать бюджет, погубить науку — гордость нации, это недопустимо!» Ага, значит история все же наука.

Как я считаю? История — наука, но особая наука, не такая, как другие науки. Но тем не менее это достаточно строгое знание. В истории есть вещи, которые утверждать нельзя, которые можно опровергнуть. Поэтому литература не является наукой, раз нельзя опровергнуть «Белеет парус одинокий...».

Л.Х. На какие науки она больше похожа?

П.У. Есть германское разделение наук о духе...

Л.Х. Это все понятно, Павел Юрьевич, так все-таки история — это тип идиографического^l знания, да?

П.У. Не знаю.

Л.Х. А те же германцы?

П.У. Да, германцы, но мне ближе спор Ш. Сеньобоса и Ф. Си-миана. Ш. Сеньобос говорил, что история занимается единичными вещами, которые никогда не повторяются. А Ф. Симиан утверждал, что история будет наукой, когда перестанет заниматься единичным, а начнет заниматься повторяемыми вещами, регулярностями и т.д. Этот импульс, привитый в конце XIX — начале XX века социальными науками, очень важен для истории. Для меня он очень интересен, соблазнителен, открывает большие перспективы. Поэтому говорить, что это только идиографическая наука, значит как-то обеднять ее. Ведь мы можем сравнивать, например, разные регионы, мы можем делать какие-то таблицы, мы можем проводить кросскультурный анализ, хотя и нельзя забывать, что при этом речь идет о единичных по природе своей вещах. Конечно, в идеале хорошо бы как-нибудь сочетать эти два подхода. Не удастся сочетать гармонично — сочетайте негармонично, играйте на противоречиях. Но отказываться от поисков закономерностей все-таки не хотелось бы. История наука еще и потому, что она оперирует достаточно точными вещами, верифицируемыми и рационально постигаемыми. И сейчас я могу перейти к ламентациям по поводу современности.

Вполне возможно, что история «возвращается к Геродоту»^k, возвращается к ситуации до XIX века, до того, как она стала сначала университетской дисциплиной, а потом и наукой. Потому что история точно же не была наукой в Средние века, история не стала наукой даже под пером гуманистов. История стала наукой после того, как сначала появились вспомогательные исторические дисциплины, а потом они соединились еще и с историописанием. В XVII веке они были до смешного разъединены. Великим историком считали красноречивого и морализирующего Ж.Б. Боссюэ, а историками невеликими считали «эрудитов» — людей, которые работали с источниками, которые, действительно, были историками в нашем сегодняшнем понимании. Но потом все-таки эти

потоки соединились — красноречие, построение схем и работа с источниками. Это соединение в XVIII веке началось, в XIX веке закончилось. Но вполне возможно, что в конце XX — начале XXI века заканчивается, в свою очередь, этот «научный» период. Посмотрите на такую интересную проблему, как юбилеи городов, которые сейчас валом идут по России: Казани — 1000 лет, Уфе — 1500 или 2000 лет, я уже не помню, Костроме — 900 лет и т.д. Это идет сейчас везде¹.

Л.Х. Я еще сюда добавила бы юбилеи адыгских аулов. У нас в Адыгее, например, есть 1500—2000-летние аулы...

П.У. Что это значит? По вполне понятным причинам, пока действует данная администрация, ей очень нужно, чтобы круглая дата пришлась на срок ее полномочий. Тогда это повод провести очень важные мероприятия с точки зрения истории-памяти: День города, День аула, День республики, что угодно.

Л.Х. Все дело в финансировании?

П.У. Это и финансирование. Но не только. Это запрос на идентичность. Нужно сказать, что мы — это мы, мы здесь, потому что еще с плейстоцена наши предки здесь жили, творили великую цивилизацию.

Л.Х. А это зачем?

П.У. Затем, что человеку хочется быть укорененным в истории. Это больше заметно в сопредельных странах, на Украине, например. Но сейчас это захлестнуло и Россию. Я думаю, что мы можем привести друг другу немало примеров, взяв их хотя бы из книжки Виктора Шнирельмана^м «Войны памяти»¹. Но интересна реакция профессионального сообщества на это. Либо это вообще не замечается, либо воспринимается как досадная ошибка: «Ну, просто плохо люди работают с источниками». Либо же начинают подыгрывать этому. Надо найти монету, которая доказывает, что Казани на самом деле тысяча лет, — находят. Могилу Ивана Сусанина? Да легко. Нужен доисторический центр евразийской духовности? Вот вам Аркаим, пожалуйста. Находят ведь профессиональные историки, начиная играть в эту игру.

¹ Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., 2003.

Л.Х. Надо найти большую берцовую кость — она же баранья лопатка, выброшенная после свадьбы, которая состоялась года четыре назад...

П.У. ...и находим. И это проглатывается властью. Власть, между прочим, никакой самодеятельности в этом вопросе не допускает. Попробовали организовать юбилей Кенигсбергаⁿ — тут же из Москвы пришел очень жесткий по вполне понятным причинам указ: «Нет, вы — Калининград, и созданы вы в 1945 году, и не забывайте про это». Без санкции Кремля юбилей и коммеморации не организуются. Не уверен, что в Кремле верят в эту берцовую кость искренне; но они считают, что это все нормально с политической точки зрения. А почему, собственно, они там должны отстаивать какую-то иную точку зрения? Им не за это деньги платят. Интересы научной объективности — забота Академии наук или всего сообщества историков. А если мы подобные удревления признаем и проглатываем (иногда с энтузиазмом, но чаще без энтузиазма), то это значит, что история отказывается от своей критической функции. А отказавшись от нее, история сдает свои социальные позиции. Не в том дело, что конкретно против берцовой кости Сусанина или 1500-летия Уфы историки не борются (кстати сказать, началось-то все это с освященного нашими академиками празднования 1500-летия Киева, еще вполне при советской власти), а в том, что историки отказываются увидеть в этом процессе социально значимое явление, отказываются осмыслить его. А ведь критическое осмысление — главное оружие историка.

Почему так происходит — другой вопрос. Я просто фиксирую положение вещей. Вы спрашиваете, история наука или нет? Да, в определенные периоды она претендовала, и успешно, на роль науки. Была ли она на самом деле наукой или не была — не важно, но она претендовала на эту роль, она считала себя наукой. Сейчас, похоже, она готова сдать эту позицию.

Л.Х. Методологическая рефлексия по поводу своих занятий историком нужна?

П.У. Дозированно.

Л.Х. А как вы для себя в свое время определяли степень этой дозированности?

П.У. Я писал об этом в предисловии к своей книге¹. Опасная вещь. Конечно, без методологической рефлексии историк обрезает себе крылья, обедняет себя, не понимая каких-то простых вещей. Но это, наверное, можно с наркотиком сравнить. А может быть, не с наркотиком, а с каким-то крепким чаем или привычкой к крепкому кофе. Это опасно, потому что, как правило, обратной дороги может и не быть. Человек перестает быть историком, стоящим на эмпирической тверди, и уходит в эти безумно интересные размышления о сущности исторической профессии...

Л.Х. И кем он становится?

П.У. Кем-то.

Л.Х. Кем?

П.У. Не знаю кем. Формально он остается историком, он защищает диссертации, обретая степени кандидата или доктора исторических наук. Но историк ли он теперь — большой вопрос.

Л.Х. У вас методологическая «метка» есть?

П.У. Нет.

Л.Х. Что это значит?

П.У. Значит, что ее нет.

Л.Х. Вы эклектик?

П.У. Рене Декарт придумал, что существует метод, что каждую проблему можно разрешить, имея в голове такой вот «рецепт» — раз и навсегда установленные правила мышления. Но я что-то не вижу ни одного удачного историка, который взял какой-то метод, использовал его и что-нибудь открыл при помощи этого метода. Это утопия. Этого никогда не происходит. Назовите мне такого человека.

Л.Х. В таком случае разговоры о методах, методологических принципах познания — это не более чем требования ВАК по поводу квалификационных признаков защищаемых кандидатских и докторских диссертаций?

¹ Уваров П.Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004.

П.У. Давайте ВАК пока оставим в покое, потому что тогда будет похоже, что это что-то, идущее извне. А это очень удобно сказать, что есть мы и есть они...

Л.Х. Почему же? Каждый историк, в том числе и тот, которому посчастливится написать, как вы говорите, настоящую книжку, когда-то в своей профессиональной биографии проходит через эти стадии, контролируемые ВАК...

П.У. ...и ему нужно написать раздел «методология».

Л.Х. Да.

П.У. Во-первых, довольно долгое время, после распада Советского Союза, этого раздела не писали.

Л.Х. Да вы что? Я не застала это время.

П.У. Я застал. Во-вторых, и в советское время это была формальность. И в нес советское это, к счастью, формальность. Все ссылаются на принцип историзма, который неизвестно что значит, и все... Вспоминается Савельич, который говорил Петруше Грине-ву: «Плюнь, да поцелуй злодею ручку». «Плунут, поцелуют злодею ручку», напишут и дальше живут своей спокойной полноценной жизнью. А то еще начинают выражать свою самобытность. Вот один уважаемый мной историк в автореферате написал: «Моим методологическим принципом является следование принципу Леопольда фон Ранке: я желаю знать, как оно было на самом деле». То есть он поставил точку, явно иронизируя, издеваясь над всеми методологическими исканиями; и вместе с тем — какие к нему могут быть претензии... Действительно, ведь есть метод Ранке. Пойдите скажите, что историк не хочет узнать, что было на самом деле (*wie es eigentlich gewesen sein*). И все это прошло нормально. И проголосовали, и утвердили. Так что это требование ВАК, требование внешнее, с ним легко разобраться.

Гораздо интереснее разобраться с требованием, идущим от тех, кто занят методологическими исканиями. Очень многие люди (их, наверное, как я писал, уже больше, чем людей, которые что-то пытаются высидеть в каких-то там архивах) уходят в эту сферу деятельности. Я преклоняюсь перед ними. Не перед всеми, конечно, но перед некоторыми. Это действительно интересно, это требует способности к абстрактному мышлению, очень большой эрудиции,

умения разбирать эти тексты, владения этой терминологией, причем не на уровне попуая. Если реально человек этим овладел, это очень интересно. Но, наверное, как и всякая специализация, это ведет к замыканию в себе, к «искусству для искусства», причем остальные «реальные», «эмпирические» историки только мешают этому процессу или не понимают его. Таким образом, как я тоже уже многократно говорил, происходит отход этих разных групп некогда единого сообщества все дальше и дальше друг от друга. Вот что меня настораживает в этом процессе.

Л.Х. Как случилось, что постепенно в перечне ваших работ появились тексты по теме «историк об историке», «историк об историках», а потом вы стали уходить по этой тропе все дальше и дальше?

П.У. Вы очень пронизательно нажимаете на самую болевую точку. Я предупреждал, что это «барса кельмес»: «Туда пойдешь — назад не вернешься» — в переводе с тюркских языков. Я очень боюсь, что меня занесет в эту сферу. Но мешает неразвитость абстрактного мышления — я могу думать об истории, лишь опираясь на конкретные примеры, так что теоретик из меня не получится. Но меня все просят: «Напишите о таком-то историке. А вот еще об этом. Это интересно, как он работает». И не замечаешь, как втягиваешься... А это забирает время, и остается все меньше и меньше сил на работу с материалом, с реальными людьми.

Л.Х. Павел Юрьевич, правда занятия историей мысли, биографиями историков — это очень увлекательное занятие?

П.У. Безусловно увлекательное.

Л.Х. И оно способно далеко завести?

П.У. Конечно. Ты начинаешь изучать этого человека. Это полезно. Ты находишь что-то созвучное себе, примеряешь на себя, как он это делал, начинаешь себя сравнивать. Это просто интересно и востребовано.

Л.Х. Вы ушли от вопроса о том, как позиционируете себя в методологическом плане.

П.У. Как получится — так и позиционирую.

Л.Х. А как вы позиционировали себя, будучи соискателем кандидатской или докторской степеней?

П.У. Это большая разница. Между этим двумя событиями прошло двадцать лет. Это происходило в разных странах.

Л.Х. Значит, вы все-таки не отрицаете, что контекст, эпоха оказывают на историка большое влияние? Вы были разным...

П.У. Еще бы.

Л.Х. А в чем это проявлялось?

П.У. Сейчас скажу. Когда я работал над своей кандидатской диссертацией (1970-е — начало 1980-х годов), я пытался двигаться в русле того, что потом назовут «третьими «Анналами»», не зная еще, что они «третьи «Анналы»». Я придумал для себя термин «университетская культура». Термин «менталитет» — я его использовал, когда его мало кто слышал; получил за это «по шапке», но все-таки включал в какие-то свои тексты.

Л.Х. Ваша кандидатская диссертация была защищена в 1980-е годы?

П.У. Моя диссертация защищена в начале 1983 года. Написана и представлена к обсуждению в 1982 году.

Л.Х. Статьи А.Я. Гуревича по проблемам менталитета — это вторая половина 1980-х годов.?

П.У. Нет-нет, это — 1970-е годы. Но в этом смысле А.Я. Гуревич на меня мало повлиял. Скорее у нас общий источник вдохновения — Жак Ле Гофф, Жорж Дюби. Если бы я в ту пору задался вопросом самоидентификации, то определил бы свою принадлежность к социальной истории вполне марксистского толка⁹. Я считал, что существует определенная социальная группа носителей университетской культуры, связанных с университетом, университетская среда. Они, в силу особенностей своего положения, своих социально-политических характеристик, вырабатывают особую университетскую культуру, в чем-то схожую с окружающей средой, в чем-то отличающуюся, теоретически связанную со средневековым городом, но все-таки отличную и от него. Черты этой культуры можно обнаружить в разных произведениях, написанных людьми, прямо или косвенно связанными

с университетской средой. Пока все — в рамках теории отражения, в рамках «социальной истории культуры». Но потом достаточно быстро я с удивлением обнаружил, что «университетская культура» обладала способностью существовать автономно. Когда эпоха изменилась, должна была меняться и университетская культура, но она сохраняла свои черты вне жесткой зависимости от окружающего социального контекста. Это было для меня открытием, хотя я не знаю, заслуживает ли оно такого названия. В общем, эта нехитрая идея воспринята в историографии. Я могу назвать работы, в которых меня цитируют; к моему удивлению, термин вошел в научный оборот. Как можно методологически классифицировать этот подход? В 1983 году и в автореферате, и в самой диссертации я честно писал, что являюсь представителем марксистской историографии. Я и был представителем марксистской историографии, считая, что марксизм действительно дает возможность развивать эту идею.

Л.Х. А как соотносятся третье поколение «Анналов» и марксизм? По-моему, в советской историографии это было самое критикуемое поколение. Если мы принимали Ф. Броделя, М. Блока, то, что касается...

П.У. А следующее поколение уже критиковали за марксизм, за детерминизм. И любопытно, кстати, что марксист М. Вовель критиковал антимарксиста П. Шоню за излишний детерминизм, за то, что он выводит идеи культуры из экономического бытия — речь идет о работе Шоню «Смерть в Париже»¹, посвященной эволюции отношения к смерти, отразившегося в парижских завещаниях. Вообще же между тремя поколениями «Анналов» и марксизмом была масса точек соприкосновения. Но марксизм имеется в виду не советского извода, а марксизм в широком смысле этого слова.

Л.Х. Я просто вспоминаю тексты советских критиков школы «Анналов»...

П.У. Извините, прерву... Была ли в моей работе доля конъюнктурности? Конечно, была. Я считал, что надо критиковать «буржуазную историографию», потому что таковы правила игры. Я ее критиковал — кстати, вполне искренне, потому что есть за что критиковать. Но сейчас, наверное, если кто-нибудь захочет под

¹ *Chaunu P. La Mort à Paris: XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles. Paris: Fayard, 1978.*

ту «эпитафию», которую вы зачитали в самом начале, заложить немного динамиту, пусть возьмет мой автореферат и выпишет оттуда пассажи, которые в общем сейчас будут смотреться как вещи малосимпатичные.

Л.Х. А докторская диссертация?

П.У. Докторская диссертация случилась намного позже, в 2000-х годах.

Л.Х. Она «зеркало» своей эпохи?

П.У. Она скорее «зеркало» состояния нашего института, где сложилась уникальная ситуация сосуществования различных направлений, тогда еще представленных очень яркими личностями. Конкурирующие направления вполне органично сосуществовали в одном здании.

Л.Х. На основе вашей докторской монографии, если она «зеркало» института, можно сделать вывод о том, что под крышей этого института обитают люди, в массе своей счастливо сочетающие занятия историей и рефлексией по поводу этих занятий. Или это ошибочное мнение?

П.У. Гуревич Арон Яковлевич и члены его семинара это сочетали вполне счастливо, во всяком случае, до поры до времени. Бессмертный Юрий Львович и члены его семинара тоже не были абстрактными теоретиками, хотя иногда им приходилось заниматься и этим. Я думаю, что этих примеров достаточно, но есть еще и другие. Если человек говорил какую-то глупость с точки зрения источников, если, например, у него была нерепрезентативная выборка или анахронизм в терминологии, ему давали за это по мозгам. Да и в нашем секторе то же самое.

Л.Х. Живые «иконы» корпорации есть?

П.У. Не хочу слово «икона», не надо «икон»...

Л.Х. Хорошо.

П.У. ...потому что икона сразу побуждает к иконоборчеству, небезуспешному иконоборчеству... Выясняется, что при этом он курицу украл у кого-то, и тогда икону нужно выносить из избы и сжигать на помойке, что тоже неправильно. Поэтому не надо икон. Есть память корпорации. Есть коллеги, которые что-то

сделали. Не надо творить себе кумиров — тогда не надо их будет свергать. Для памяти корпорации очень важно существование таких вот групп, таких людей, с которыми себя отождествляешь, перед которыми стыдно, потому что сейчас намного хуже, чем тогда...

Л.Х. Легко хранить память, когда человека нет. А вот те, кто рядом, те, с кем вы «здесь и сейчас»?

П.У. Не понял вопроса.

Л.Х. Гордость корпорации...

П.У. Есть ли такие люди сейчас?

Л.Х. Да.

П.У. Есть.

Л.Х. Кто?

П.У. Не скажу.

Л.Х. Почему?

П.У. Потому что если я скажу, что Х — гордость корпорации, то Y, которого я не назвал, обидится; а если я буду говорить, что Y — тоже гордость корпорации, тогда надо назвать всех остальных, и тогда будет не интервью, а телефонная книга.

Л.Х. От этого вопроса вы тоже ушли.

П.У. Я ухожу по вполне понятным причинам. Мария Васильевна Розанова, когда человек приносит ей стихи, говорит в таких случаях: «Извините, но я стихи живых поэтов не читаю». Вот и я могу сказать: «Давайте не будем говорить о живых». Будем говорить о тех, кого уже нет с нами, тогда уже проще, как-то спокойнее.

Л.Х. Один мой очень талантливый студент, знаток мировой художественной литературы, как-то сказал, что он живых, пусть даже классиков, не читает.

П.У. Вот-вот... Нет, я все-таки читаю «живых», но выстраивать иерархии... Потом я ему сделаю комплимент, а он что-нибудь про меня напишет плохое. Получится, что я в дураках.

Л.Х. Кем труднее быть — вузовским преподавателем или «академиком»?

П.У. Работником академического института?

Л.Х. Да, ученым-исследователем.

П.У. Не очень корректный вопрос, потому что чистых форм нет ни там, ни там. И академические работники очень разные, и вузы разные. Одно дело, кафедра истории Средних веков МГУ во главе с Сергеем Павловичем Карповым. Другое дело... Нет, не буду перечислять кафедры, чтобы не обвинили в снобизме.

Л.Х. А для вас, в вашем случае? Вы ученый — исследователь, вы лидер корпорации...

П.У. Я не лидер корпорации...

Л.Х. «Эпитафию» вашу я озвучила...

П.У. Я преподаю, мне нравится преподавать, но я плохой преподаватель.

Л.Х. Что это значит?

П.У. Ролан Мунье был хорошим преподавателем, он был, судя по всему, тяжелым человеком, но хорошим преподавателем. И он говорил: «Преподавателя вовсе не должны любить, задача преподавателя — научить, а вовсе не снискать любовь учеников». По многим причинам у меня не очень идет это дело. Нет достаточной систематичности.

Л.Х. Но студенты вас любят, так?

П.У. Относятся ко мне хорошо. Да, можно сказать, что антипатии я, как правило, не вызываю у них.

Л.Х. А зачем вы занимаетесь преподавательской деятельностью?

П.У. Ну, во-первых, бывает, что просто нельзя отказаться от каких-то предложений; во-вторых, из-за денег. Но главное — это действительно интересно, это полезно каждому историку-исследователю. Но сейчас, к сожалению, одно идет за счет другого.

Л.Х. Являясь преподавателем, вы вольно или невольно выходите на проблему генерализаций в истории?

П.У. Конечно. Попробуй здесь не выйди.

Л.Х. И как вы для себя решаете эту проблему?

П.У. Как-то решаю.

Л.Х. Та история, которая занималась большими обобщениями, она безвозвратно ушла в прошлое?

П.У. Да нет, никуда она не денется. Но хорошо бы, чтобы она все-таки сопровождалась точностью, скрупулезностью.

Л.Х. Но ведь эта точность и скрупулезность несколько иного рода, чем та, которая...

П.У. Я обещал не приводить примеров и не буду приводить примеров из «ближних» коллег, а из «дальних» коллег — запросто. Работы Бориса Николаевича Миронова, вероятно, очень уязвимы для критики, и много коллег относится к нему с сомнением.

Л.Х. Это по отечественной истории?

П.У. Да-да. Про социальную историю Российской империи¹. Но это пример действительно очень большого нарратива. Человек прочитал тысячи книг, проработал источники и написал историю России XVIII — начала XX века Большую Историю, насыщенную определенной концепцией, точнее — задачей «нормализации» истории России. То есть Россия — это нормальное государство, которое развивалось со своими особенностями, ее история не была чем-то совсем уникальным, ее путь вполне сопоставим по ряду параметров с путем большинства западных стран. Вообще-то людей, которые высказываются по этому поводу в том или ином смысле, — пруд пруди. Но ученых, которые многое посчитали, построили графики, просмотрели тысячи книг, в том числе и не по истории своей страны, — таких немного. Наверняка Миронов где-то ошибся, что-то не учел, наверняка оппоненты, оспаривающие выводы, во многом будут правы, но у него честная работа. Есть о чем спорить. И поэтому очень интересно вообще проследить, как к нему коллеги относятся, как к нему на Западе относятся и у нас. Это пример того, что Большая История никуда не ушла, она существует.

Л.Х. А проект глобальной истории сегодня возможен?

¹ Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2003.

П.У. Поясните, что вы называете «глобальной историей»?

Л.Х. *Global — всеобщий, можно еще так — история земного шара, т.е. история человечества с древнейших времен до наших дней (для этого есть другой термин — «всемирная история»), но здесь речь идет об истории человечества в контексте той природно-географической среды, которая его окружает. Можно ли взглянуть на эту историю с того момента, когда человек стал осознавать себя человеком, до дня сегодняшнего с самой высокой, возможной, доступной для человеческого зрения высоты?*

П.У. Можно.

Л.Х. *Нужно?*

П.У. Наверное, нужно. Но для кого? Вопрос давайте по-другому поставим. Как к этим попыткам отнесется то сообщество, о котором мы сейчас говорим? Вот это интересный вопрос.

Л.Х. *Это самый главный вопрос в данном контексте.*

П.У. Такие работы есть, их сколько угодно. Они востребованы. На них есть колоссальный спрос.

Л.Х. *Но написаны они не историками, да?*

П.У. И историками в том числе. Но не нашими. Я не готовился к встрече с вами специально. Вот взял почитать. (Показывает книгу.) Это тот самый Джаред Даймонд. Французский перевод¹ названия его книги звучит так: «О неравенстве среди обществ», а американское название: «Guns, Germs, Steel» («Ружья, микробы, сталь»)¹.

Л.Х. *Его часто цитируют.*

П.У. Среди медиевистов пока только я, среди специалистов по Новой истории — не знаю, не читал, но вполне допускаю.

Л.Х. *Среди тех, кто занимается генерализациями в истории.*

П.У. Вот они — да.

¹ *Diamond J. Guns, Germs, Steel: The Fates of Human Societies. New York, 1997. Рус. пер.: Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь: судьбы человеческих сообществ / Пер. с англ. М., 2010.*

Л.Х. Но цитируется не историками.

П.У. Историками. Есть люди, которые занимаются большими такими обобщениями. С другой стороны, к ним сообщество относится с очень большим подозрением. Вот, например, Андрей Коротаев предлагает какие-то построения. Человек он эрудированный, очень способный полевой исследователь. Я думаю, что для корпорации это важно — ты любитель поговорить на общие темы или ты все-таки «от сохи», а потом дошел до этого своим умом. Для меня имеет значение, что П. Бурдьё был полевым этнологом, социологом, который берберов своих изучал в Алжире. Человек, который, кстати говоря, для меня «икона», — Э. Геллнер; он практик, который на практике построил свою теорию. И даже К. Леви-Стросс все-таки какое-то время побродил среди индейцев, это очень важно. Если уж я проговорился об «иконах», то для меня это — Натали Земон Дэвис, безусловно, во всех отношениях.

Л.Х. Вы знакомы с ней лично?

П.У. Да. Она человек, который реально все это «потрогал руками», а потом у нее всякие теории пошли. Они могут быть самыми завиральными. Но возвращаемся к теме. Для сообщества Андрей Коротаев должен быть небезынтересен, потому что он действительно путешествовал по Йемену, по этим самым бесплодным пустыням и по руслу высохших рек. Он действительно изучал сабейскую культуру и предложил очень интересную схему, переворачивающую наши представления. Мы считали, что сначала идет родоплеменной строй, а потом складывается государство. Но на юге Аравии в древности существовало государство, достаточно развитое, централизованное, с письменностью, с бюрократией. Оно оказалось слишком дорогим для изменившихся условий, и общество, не завоеванное никем, просто само перешло к более удобным родоплеменным, семейно-племенным, структурам, которые были более органичны. Эти племенные начала дальше усиливались в истории региона. Потом Коротаев стал строить кросскультурные таблицы, сравнивая различные цивилизации между собой, и проводить какие-то очень интересные сопоставления. Издал массу небольших книжек. Вот одна из последних называется ни много, ни мало — «Возникновение ислама». Что может быть интересней? Но ни один востоковед, ни один специалист по исламу не то что раскритиковал — не прочитал и не будет читать, потому что там

человек со стороны предлагает связанное с естественнонаучным изменением среды объяснение этих вещей. Я не говорю, что общество не право, а Андрей Коротаев прав. Подозреваю, что не прав он. У него нет того, что в наших императорских университетах называлось «акрибия» — вылавливание ошибок, неточностей, того, чем гордится профессиональное сообщество. Но сообщество арабистов должно вызвать его «на ковер», объясниться с ним, послушать его, сказать, что тут он не прав, а в этом что-то есть... Тогда происходит диалог. И тогда сообщество работает.

Вот у нас получается рондо — возвращаемся к тому, с чего начали. Сообщество не работает по разным причинам. Может, финансирования мало, может, запрос социальный слаб. Но не только в этом дело. Я даже считаю, что и не столько в этом.

Л.Х. Медиевистам и историкам Нового времени есть о чем поговорить?

П.У. Конечно, но боюсь, что ни специалистам по Новому времени, ни медиевистам не хочется садиться за стол переговоров. Я не вижу взаимного движения.

Л.Х. А может, нужно просто начать?

П.У. Я это и пытаюсь делать.

Л.Х. Пытаетесь?

П.У. Я пытаюсь это делать, у меня даже «справка есть», у меня даже текст на эту тему имеется¹. По-моему, не нужно собирать гигантские пустые конференции, непонятно про что и непонятно зачем. Нужно собрать конференцию за счет Министерства образования и организовать, например, обсуждение, где проводить границу между Средними веками и Новым временем. Историки ни о чем не договорятся, но...

Л.Х. Вы говорите, у вас есть текст на эту тему, «справка»?

П.У. Пожалуйста, в последних «Средних веках» к этому содержится призыв.

*Л.Х. Имеется в виду текст про «полян»?*¹

¹ Уваров П.Ю. На «поляне» раннего Нового времени // Средние века. Вып. 70 (1—2). М., 2009. С. 129—138.

П.У. Да.

Л.Х. Нет, я поняла это как призыв: «Защищай поляну!»

П.У. Я предложил обсудить этот вопрос заинтересованными сторонами. А не обсуждать этот вопрос нельзя, это плохо. Я не против, пожалуйста, считайте это Новым временем, считайте это Новейшим временем, все, что угодно, но не считайте не продумавши. Это наглость — просто прийти и сказать: «С сегодняшнего это дня это так». Почему это так? Вы что-то доказали, вы что-то показали, взвесили?

Л.Х. Насколько я помню, тогда, в начале 1990-х, активность в «постановляющих» частях проявили медиевисты.

П.У. Просто потому, что они вообще были более активны.

Л.Х. И есть.

П.У. Насчет «есть» не знаю, наверное, все-таки это уходит в прошлое, увы. Вы какой вопрос задаете? Почему медиевисты начали этот процесс или почему они не стремятся его продолжить?

Л.Х. Я задала вопрос, надо ли разговаривать?

П.У. Да, надо. Трудно разговаривать, потому что, на мой взгляд, сообщество не ставит перед собой таких задач. И каждый историк в отдельности интересуется своей частной проблемой. Или интересуется тем, «как думают историки», интересуется методами. Он интересуется всем, кроме того, чем, в общем, нужно интересоваться, если ты академический историк, если ты вообще историк-исследователь. Очень хорошо, что тебе интересны какие-то вещи и ты ими занимаешься. Но ты займись тем, что, может быть, тебе и не очень интересно, но что нужно. Попробуй вынести какое-то квалифицированное суждение по какому-то важному поводу, например что такое феодализм. Потом, ссылаясь на твое мнение, это определение можно тиражировать или опровергать. Или не хочешь в это влезать — не влезай, но выступи с критикой. Вот написали учебник, создали концепцию — напиши, что ты с этим не согласен, потому что тут ошибка, тут неверно, это противоречит тому-то и тому-то... Никто это не делает. Это надо писать, это надо проговаривать. Если вдруг найдется человек, который возьмется написать рецензию на вузовский учебник, с него пылинки надо сдувать, даже если я с ним категорически не согласен. Потому что

все говорят: «Время больших нарративов прошло, это устарело». Или: «Где, в какой нормальной стране мира существует учебник по истории для вузов, кроме Китая, может быть, или Северной Кореи?» Но мы живем не в Китае и не в США. И если ты не будешь этого делать, не будешь думать над учебниками и всякими там компендиумами, не будешь на них реагировать, это сделают за тебя и поставят перед фактом, спустят сверху готовое решение. Объяснят тебе, где там Средние века, а где Новое время. От сих и до сих. Поэтому ты обязан делать эту, может, не очень интересную и даже небезопасную, но общественно-необходимую работу, а потом работать уже над своей проблематикой. Потому что ты, может, тем и хорош, что можешь что-то конкретное делать; ты знаешь, как работают историки, потому что ты сам историк; ты знаешь, как выковыривал косточки из оливок византийский крестьянин и у кого Макиавелли позаимствовал именно этот свой пассаж. И тебе есть что возразить «историку вообще» или тому, кто составляет вузовскую программу или учит, как учить истории.

Л.Х. «Кому дано — с того и спросится». Чем гордитесь в своей профессиональной биографии? Чего стыдитесь? Что еще обязательно вы должны успеть сделать?»

П.У. Стыжусь гораздо большего. Ну, это вполне понятно. С чего начать?

Л.Х. С главного.

П.У. Главное — что я хочу успеть. Я хочу написать книжку про Рауля Спифама прежде всего. Это дело моей жизни. Если я ее напишу, то могу умирать. А пока я не написал, это будет обидно, потому что никто, кроме меня, не напишет — я знаю. Для историка, особенно для историка, занимающегося историей не своей страны, очень важно иметь небольшую территорию, где он — лучший. Ну, если не лучший, то один из самых компетентных. Тогда-то он и будет чувствовать себя включенным в мировое сообщество. Сколько угодно можно говорить, что «Россия — часть мирового историографического сообщества». Это всего лишь лозунг. Россия — часть мирового исторического сообщества, потому что приезжает Елена Валерьевна Казбекова — специалист по каноническому праву — в Германию, и она знает больше, чем все остальные ученые Германии по поводу рукописей и комментариев к новеллам Иннокентия IV. Есть несколько человек, которые могут

с ней поддержать разговор, но нет такого, кто теперь может ей сказать: «Девочка, ты ничего не понимаешь». Это мечта каждого, в том числе и меня. Поэтому историк-всеобщник в первую очередь старается решить вопросы, касающиеся своей «территории». И забудьте, что я только что говорил о «долге» историка. Нельзя историка ругать за то, что он ушел в свой мир. Это его идентичность. Ему, наверное, плохо в нашем мире. По телевизору «Дом-2» показывают, а он сидит и занимается житиями ирландских святых. Для него это — все. Лишить его этого — бесчеловечно.

Л.Х. Согласна.

П.У. Но именно поэтому он будет отмахиваться как от назойливой мухи, допустим, от меня, когда я говорю: «Пожалуйста, напишите главу в учебник или раздел во “Всемирную историю”».

Л.Х. Извините, прежде чем вы продолжите — существенное дополнение. Ваш «Апокатастасис, или Основной инстинкт историка»¹ я через себя пропустила. Это для меня вещь очень близкая, во всех смыслах. И на вашего Рауля Спифама я смотрю через этот текст. И именно через этот текст я понимаю ваш пристальный интерес. И в этом я усматриваю, помимо всего прочего, как это ни смешно звучит, романтизм, который не должен быть уже присущ вам с вашей «эпитафией». И тут у меня никаких противоречий с вами в принципе нет и быть не может. Другое дело, что я хотела бы задать вопрос и В.Н. Малову, и вам: почему в его случае Сен-Симон, а в вашем — именно Спифам?

П.У. В случае с Маловым не Сен-Симон, а Ж.-Б. Кольбер. Но Сен-Симона он также хорошо знает.

Л.Х. То есть это не «любовь всей его жизни»?

П.У. Нет. «Любовь всей его жизни» — Ж.-Б. Кольбер. Установить связь с описываемым историческим персонажем, восстановить его жизнь с максимальной полнотой — это «основной инстинкт историка», который стал присущ ему еще в ту пору, когда история не была наукой, и который он не утратит, когда она наукой

¹ Уваров П.Ю. Апокатастасис, или Основной инстинкт историка // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Вып. 3. М., 2000. С. 15—32; а также в этом издании — С.10—32.

быть перестанет. Все равно, стремление восстановить прошлое, воскресить предка, спросить его что-то — очень глубокое, оно было свойственно очень многим историкам, они могут отдавать или не отдавать себе в этом отчет.

Но вернемся к Раулю Спифаму⁷. Он интересен не только сам по себе — через него можно показать время Генриха II, эту очень интересную эпоху, которая оказалась роковой, потому что потом грянет гражданская война. Мне кажется, что эту работу я смог бы написать на более или менее приличном уровне и она была бы востребована не только у нас, но и во Франции. Эту работу я бы хотел перевести на французский язык. Несколько раз речь шла о том, что мою монографию о Франции XVI века надо издать на французском языке. Ее можно издать по-французски, но ее никто не будет переводить. Я ее должен перевести сам — пусть очень даже плохо, сделать подстрочник, а потом его отредактируют. Но это значит потратить год своей жизни на этот перевод. Я думаю, что «овчинка не стоит выделки», потому что монография, в общем, «загочена» под нашего читателя. Может быть, взгляд со стороны небезынтересен и для французов, но в любом случае нет у меня сейчас этого года или полутора лет жизни. А вот книжку о Спифаме я бы перевел даже сам. Мне есть что сказать по этому поводу, и я считаю, что я Спифаму давно задолжал. Это — долг номер один.

Есть ряд работ, которые я тоже хотел бы написать уже сугубо «для внутреннего пользования», для нашего читателя. Что-то про средневековые университеты вообще. Это позор, что ничего нет, что библиография русскоязычных работ (Суворов, Сперанский) ограничивается изданиями до 1917 года⁸ И все! История университетов — это «золотое дно». Ну, если не про все университеты, то хотя бы про Парижский университет написать, и я бы считал этот долг выполненным. Еще хочется написать про Религиозные войны во Франции, но думаю, что и без меня такую работу напишет Владимир Владимирович Шишкин.

Возможны еще какие-нибудь работы, в которых я мог бы перестать играть не свою роль и перейти к выполнению своих прямых обязанностей, то есть выступать в обличье эксперта по XVI веку. Эксперт по какому-то периоду «чужой» истории нужен; его задача — объяснять российскому обществу, как там что было устроено в «его» периоде, чтобы не воображали и не писали глупостей. А то ведь множество неверных представлений, благоглупостей и откровенных спекуляций. Это только кажется, что «чужая» история

на нас не влияет. Например, надо написать об опричнине Ивана Грозного, но так, чтобы читателя успокоить, чтобы ему не очень стыдно было за свою историю. И вот говорят: «Это ничего, это в порядке вещей, во Франции во время Варфоломеевской ночи погибло больше народа». Ну читатель и рад — у нас все как в прекрасной Франции, все в порядке. Хочется крикнуть: «Ребята, не сопоставляйте несопоставимое!» Варфоломеевская ночь случилась не по государеву приказу, это не планомерное истребление, а социальный взрыв, бунт, погром — как угодно назовите, но это не спланированная акция. А то еще читаешь в школьном (!) учебнике уважаемого автора, что, мол, не надо ужасаться деяниям Ивана Грозного, потому что в тот же период испанский король Филипп II каждый день сжигал не менее двух десятков человек на аутодафе. У школьника перед глазами сразу картина людоеда, вместо горячего бутерброда утром поджаривающего еретиков... Если хотите гордиться своей историей, то нельзя этого делать на основании нелепиц. Еще журналисту или политологу это простительно. Но для профессионального историка...

Жестокости, дикого насилия западное общество знало очень много, но надо точно представлять, о чем идет речь. Вот на страже позднего Средневековья — раннего Нового времени я и должен стоять, в этом моя профессиональная обязанность, я отвечаю за этот период.

Но, к сожалению, надо писать какие-то другие вещи, наверное, надо будет написать учебник, надо будет разобраться со «Всемирной историей» — это катастрофа. Но все-таки как-то я думаю, что мы из этого выпутаемся. Да, и еще многолетняя «История Парижа», конечно.

Л.Х. Ваша монография — предмет вашей гордости?

П.У. Понимаете, очень многое у нас в России является предметом гордости лишь с придаточными уступительными.

Л.Х. Но не стыдно?

П.У. Если учесть все обстоятельства ее появления, то, конечно, не стыдно, даже наоборот. А если не учитывать, то не знаю. Так всегда у нас или, во всяком случае, у меня. Взять мою кандидатскую диссертацию. Если учесть, что она писалась, когда у меня было полторы ставки в школе, маленький ребенок и я дома, на кухне, что-то писал ночами, тогда хочется сказать: «Ай, молодец какой!»

Если убрать эти придаточные уступительные, то тут уже сложнее. Но некоторыми текстами я горжусь безотносительно к условиям их возникновения, я бы от них не отказался.

Л.Х. Можете назвать хотя бы некоторые?

П.У. Да, монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам». Конечно, там что-то можно исправить, сейчас я бы так ее не написал. Но она оказалась вышедшей вовремя. Может быть, даже раньше ее надо было написать. Но все-таки она написана. У меня есть статья на эту тему, опубликованная по-французски!. У меня очень мало «французских» текстов, но все-таки один из них заслуживает внимания.

Л.Х. Как она называется?

П.У. «Те, которые немного отличны от других» («Ceux, qui sont un peudifférents des autres»).

Л.Х. О чем она?

П.У. О странных нотариальных актах, о случаях девиантности нотариального поведения, что связано с последней главой моей монографии. Я по-французски написал текст, потом с этим текстом сидел один мой двуязычный приятель, потом его читали двое моих коллег, чесали затылки, но все-таки совокупными усилиями он был переведен и издан во Франции. Я даже нахожу иногда ссылки на него, очень радуюсь. В «Анналы» его не взяли. Сказали, что я слишком погружен в источники. Что ж делать, я на деньги французских налогоплательщиков там полгода сидел, чтобы не быть погруженным в источники, что ли? Очень обиделся, надо сказать. Но потом он был опубликован в журнале, который был основан когда-то Р. Мунье. Так что большое спасибо журналу. Кстати, он называется «L'Histoire, économie et société» — почти так же, каков был и подзаголовок «Анналов» (Économies. Sociétés. Civilisations) до 1992 года.

Ну, наверное, статья о феномене университета и об университетской культуре оказалось небесполезной. Есть у меня статья в «Европейском альманахе», опубликованная в далеком 1993 году.

Л.Х. Как она называется?

П.У. Я придумал хорошее название «Европа университетская», но его перетащили в название раздела, оставив мне иной заголовок⁴. Но работа доступная, залихватски написанная. «Апокатастасис...» я бы тоже назвал важным текстом. Ну еще несколько статей. В общем, на круг не так много.

Л.Х. А за что стыдно?

П.У. Во-первых, за массу неточностей, ляпов, которые я допускаю. Затем чувство вины перед учениками, которые остались обделены моим вниманием и волей, я «не дожимаю» их. Я скверный научный руководитель, не могу принуждать писать тексты. Нина Александровна Сидорова, которую пинают все кому не лень, женщина была жесткая, не дай Бог. Почитайте как-нибудь ее книжку «Очерки по истории ранней городской культуры во Франции» — такой средневековый сталинизм, что закачаешься! Но у нее было немало положительных качеств, и в частности то, что она умела «выбивать» из подчиненных книги. Я же абсолютно лишен этого качества, поэтому у меня два человека только защитились⁵, а желающих писать очень много. Но я не могу им помочь. Поэтому, конечно, я им должен...

Л.Х. К какому типу руководителей вы принадлежите?

П.У. Да никакой я не руководитель.

Л.Х. А кто вы?

П.У. Я собеседник.

Л.Х. Как хорошо!

П.У. Людям нравится, когда с ними беседуют, но результаты плачевные.

Л.Х. Может быть, вы просто слишком строги к себе?

П.У. Мне нужно, чтобы сектором заведовал кто-нибудь другой.

Л.Х. Почему?

П.У. По разным причинам. Я очень хороший второй человек при руководителе — критик, помощник. А первым я не могу быть по определению. Но вот так получилось, стал заведовать сектором Средних веков. Помимо прочих проистекающих от

этого неудобств оказываешься втянут в какую-то очень большую хронологическую цепочку. Вот аристократичный Е.А. Косминский, основатель этого сектора, железобетонный человек Н.А. Сидорова, С.Д. Сказкин со стены смотрит, бывший смершевец А.Н. Чистозвонов (очень, очень интересный был человек, писал по большей части добротные вещи, потом все от него отмахнулись, очень уж он всех давил, но сейчас его работы будут востребованы, я знаю), А.А. Сванидзе, которая мне сектор и передала. С удивлением обнаруживаешь, что ты не сам по себе, а стоишь в каком-то ряду, что, в общем, не входило в мои планы.

Вообще не люблю управлять. Честолюбия во мне в избытке, но оно совсем иначе реализуется, не через власть. А тут приходится тратить силы (причем неумело) на поддержание сообщества, и я не уверен, что оно очень хочет быть поддержанным. Может, мне лучше отойти в сторону, чтобы не мешать каким-то естественным процессам, которые по-другому все перестроили бы? Но это уже всякие психологические тонкости.

Л.Х. Павел Юрьевич, а может, если бы все так приходили на руководящие должности, тогда у нас все по-другому было бы, то есть так, как должно быть?

П.У. Не дай бог!

Л.Х. Почему? Есть профессиональные управленцы, и они должны быть и в науке, да?

П.У. У нас просто нет менеджеров, у нас много чего нет, но отсутствие менеджмента в науке буквально кричащее. Я совсем не менеджер. Креативщиком могу быть, могу что-то придумать, но дальше продавливать, контролировать... Слава богу, мне помогают коллеги, как могут.

Л.Х. По поводу «Всемирной истории». Это тоже часть «завещания»?

П.У. Нет. Надеюсь, что нет.

Л.Х. То есть это то, чего вы стыдитесь?

П.У. Нет, я не стыжусь. Но я сам, по собственной воле, не стал бы писать «Всемирку». Я бы стал писать что-то другое.

Л.Х. Все-таки что положено в основу этого мегапроекта? «История в осколках» или какие-то генерализации?

П.У. Не знаю. Посмотрим, что получится.

Л.Х. А что, вы сначала ввязываетесь в проект?..

П.У. Генеральной идеи, которая лежала бы в основе проекта, — нет. Потому что ее нет вообще в современной историографии, и потому что ее нет, в частности, в нашем институте. Есть потребность написать «Всемирную историю», которая родилась в голове у директора. Я думал о чем-то подобном, но гораздо менее амбициозном. Написать обстоятельную историю средневекового Запада. Это было бы важно для нашего отдела.

Вот есть группа, которая издает альманах «Казус». Если у них спросить строго: «Кто вы такие, чем тут занимаетесь?» Они ответят: «Мы представляем очень важное направление — микроисторию». — «А, ну тогда понятно. А вы, “одиссейцы”, что делаете?» — «А мы суть историческая антропология!» — «Так, а вы?» — «А мы — интеллектуальная история». «А мы — гендер». Ну и так далее. То есть каждый человек чем-то своим занимается, но в рамках общего направления.

А что мы, отдел западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени, сможем ответить? Источники издаем, монографии пишем, журнал «Средние века» выпускаем. Но это не ответ на вопрос: «Како веруеши?» Что нас объединяет, кроме хорошего отношения друг к другу? В чем точка пересечения наших интересов? Таким общим делом мне показалось написание большого текста по истории Средних веков. Ведь если нужна какая-то справка или какой-то материал (для той же Исторической энциклопедии, например), то требуют этого от нас, хотя большинство медиевистов в институте работают вне нашего отдела, так уж получилось. Мне казалось, что нам нужен коллективный проект, во-первых — для того, чтобы было что обсуждать, на чем поддерживать столь необходимую научную коммуникацию, а не превращаться в кружок взаимного самовосхваления. А во-вторых, чтобы это было бы востребовано обществом.

И как раз в этот момент вызывает всех наш директор А.О. Чубарьян с идеей написать новую «Всемирную историю». Почему у него в голове родилась эта мысль? Не знаю. Наверняка было множество внутренних причин. Но помимо них... Я бы применил к нашему директору термин «человек-флюгер», если бы это словосочетание не имело негативной коннотации. У него — способность чувствовать

потребности времени. Не обязательно властей, нет, не так примитивно. Здесь и умение следовать международной историографической ситуации, и знание рыночной конъюнктуры, и общественных ожиданий, но и властных ожиданий, разумеется, тоже. «Всемирная история» — общественно востребованный проект.

Л.Х. Павел Юрьевич, но это настолько очевидно...

П.У. Это не было очевидно никому в институте. В институтских кулуарах идею «Всемирки» восприняли как бредовую. Она во многих смыслах действительно скороспелая, не обеспеченная... В нашем отделе, не побоюсь этого слова, только из хорошего ко мне отношения люди согласились играть в эти игры, воспринимая их как барщину. Размер этой барщины превышает сейчас все допустимые пределы эксплуатации. Потому что это противоречит интересам всех собравшихся здесь людей. Категорически. Система сообщества профессиональных историков функционирует сегодня так, что история обречена быть «историей в осколках». Людям выгоднее писать «историю в осколках».

Л.Х. Павел Юрьевич, не знаю прямо...

П.У. Можете назвать это «теорией заговора»...

Л.Х. Вы начали с таких изящных уходов от всего, а сейчас...

П.У. Потому что, когда «история в осколках», я могу быть гением среди трех других собравшихся людей. Если я занимаюсь «фрагментарной рефлексией», то я могу достичь на этом пяточке если не совершенства, то значительных успехов. А попробуй снискать славу дельного историка, упражняясь в сочинении на тему «Волга впадает в Каспийское море»! Или попробуй сохранить репутацию подающего надежды историка среди трехсот или хотя бы тридцати критически настроенных коллег — вот тут мы посмотрим. Это все на фоне «методологических исканий», «кризиса больших нарративов» и т.п.

Но эпистемология — эпистемологией, а прагматика — прагматикой. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше и как удобнее. Удобно быть востребованным. В том числе и для международного признания (а ведь это важный критерий оценки успеха), удобно быть не специалистом по феодализму вообще и не по французскому XVI веку, а по этой вот узкой проблеме, где я могу надеяться стать

виртуозом (хотя я сейчас третий раз говорю об одном и том же). Это не плохо и не хорошо само по себе, это — естественно, это — экономически целесообразно. А как заставить человека делать нечто экономически нецелесообразное и для него неестественное? Потому-то и выходит, что феодализм — правильный социальный строй, он на внеэкономическом принуждении основан. В данном случае — на административном ресурсе, как и многое в нашей стране.

Вот как был запущен проект «Всемирки» — и не следует представлять себе, что сидели-сидели многомудрые академики, трясли бородами и, обобщив все богатство исторического опыта, выродили наконец концепцию «Всемирки». Такая вот реальность. Плохая реальность? Плохая, безусловно. Правильнее было не писать? Честнее, наверное, не писать. Но нужно писать. Я был всю жизнь антисоветским человеком, и очень не любил советскую власть, и сейчас не люблю. Но сидит внутри пионерская речевка:

Партия сказала — надо!

Есть! — ответил отряд «Гренада».

Это неприятно, но я понимаю, что это надо делать. Я могу отвечать за второй том и отчасти за третий: за Средние века и за XVI—XVII века. У нас некая концепция есть. Какая концепция всего издания? Назначили ответственных за тома. Каждый предложил план своего тома. Сначала это был махровый европоцентризм. Непробиваемый и густопсовый. Потом удалось его хоть как-то скорректировать. Вот и вся концепция. Сопоставлять эту «Всемирку» с тем зеленым гигантским многотомником, который был в советское время, нет никакого смысла. Это разные страны, разные условия и разные задачи. Там огромный коллектив работал, с очень большими средствами, с очень большой властной вертикалью, согласованием на разных этапах и т.д. И главное — с единым драматургическим сценарием. Задача ясна — показать многообразие единого всемирно-исторического процесса развития и смены общественно-исторических формаций. А сейчас что?

Л.Х. А вот с этим минским проектом, 24-томным, который есть в библиотеках всех вузов?

П.У. Это показатель как раз того, что востребовано все, именуемое «всемирной историей». Взяли, нарезали, склеили, издали. Какой там проект? Не знаю. Иногда там встречаются вполне приличные тексты. Иногда не столь приличные. Но никакой системы, концепции нет. Но всемирная история востребована.

Л.Х. Какая идея в основе тех томов, за которые вы отвечаете?

П.У. Ну давайте все-таки я буду говорить про второй том, средневековый, за который отвечаю непосредственно. Идея показать синхронизацию исторического процесса. Не так сложно показать, что в одном месте было совсем иначе, чем в другом. Что культура Индии была самобытной, что культура Китая была самобытной, а уж самобытнее византийской культуры вообще трудно себе что-нибудь представить, разве что культуру японскую. Об этом без труда можно найти информацию в хороших книгах. То, что все везде было похоже и сопоставимо, про это тоже писали, хотя бы в советской «Всемирке». А вот работ, которые бы показывали, что было в Китае в то время, когда Карл Великий создавал свою империю, не так много. Что было в это время в Африке к югу от Сахары или на полуострове Юкатан, тоже, конечно, интересно, но у нас места не хватает это показать с должной полнотой. А вот то, что в это время творилось на Алтае или на Южном Урале, — это, во-первых, мы показать можем, а во-вторых, это уже влияло и на китайцев, и на франков, и они, сами не ведая того, влияли на судьбы Предуралья.

Здесь я в каком-то смысле ориентировался на книгу И.В. Можейко (Кира Булычева) «1185 год»¹. Он взял эту дату (событие, о которых повествует «Слово о полку Игореве») и начал с Бирмы и Камбоджи, которыми он занимался профессионально как специалист по Юго-Восточной Азии; дальше пошел в Японию, Китай, Корею и через Русь до Англии. Такой хронологический стержень оказался востребованным публикой. Были еще и статьи С.Г. Смирнова в журнале «Знание — сила». «Вековые кольца истории» — кажется, так называлась его рубрика. И он писал интересные обзоры — хронологические срезы: «Мир в 500 году», «Мир в 1500 году». Собственно, какая тут идея? Это не идея, это — сценарий. Синхронизация, призванная показать контакты, которые были гораздо интенсивнее, чем мы думали, и, может быть, нащупать какие-то общие вещи, о которых мы иначе не задумывались. Уже есть некоторые гипотезы, которые родились в ходе работы над томом.

Л.Х. То есть в начале пути вы еще не знаете, что получится?

¹ Можейко И.В. Загадка 1185 года. Русь-Восток-Запад. М., 2007.

П.У. Тексты пишутся с большим трудом. Надо будет очень много тратить сил, здоровья на доведение этого. Что из этого получится — я пока не знаю. Что-то получится. Но нельзя ждать от этого слишком многого. Изначально у меня была красивая идея издавать «Библиотеку всемирной истории»... Я вообще придумываю очень хорошие идеи. Они по большей части не реализуются. Вернее, реализуются, но когда-нибудь потом и кем-то другим. Так вот, я исходил из того, что специалиста очень трудно уговорить написать две страницы о том предмете, которым он занимается всю жизнь. Но если дать ему возможность написать какую-нибудь более-менее пространную книжечку на эту тему, которая затем будет опубликована в серии «Библиотека всемирной истории», — это другое дело. Да и читателям объяснить, что мы сейчас говорим о самых общих вещах в самом сжатом виде (ну что такое 30 или даже 35 печатных листов для эпохи в тысячу лет!), а вот подробно это вы сможете прочитать, подписавшись на нашу серию «Библиотека всемирной истории». Это другое дело. А то спрашивают: «А где у вас тут статья об Армении? А где статья о Мадагаскаре?» Да нет у нас таких специальных статей! Нам хорошо, если вообще об Индокитае хоть что-то сказать. А так мы сможем успокоить: «Подождите, обо всем этом будет в “Библиотеке...”» Это дало бы возможность постоянно возвращаться к общей идее, развивать и углублять ее. Да и с коммерческой точки зрения это было бы оправданно, потому что подписные издания — это кладезь. Человек авансирует средства и готов ждать книги. Даже если он не подписался, он будет охотиться за серией. Ничто так хорошо не раскупается, как серии. Но для этого нужно иметь заинтересованного издательского партнера.

Идея была похоронена, а жалко, она была хорошая.

Л.Х. Очень хорошая идея. Павел Юрьевич, спасибо за откровенность.

Комментарий

Впервые опубликовано в кн.: Хут Л.Р. Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX—XXI вв.: М.: Прометей, 2010. С. 469—496.

Л.Р. Хут — профессор Адыгейского университета в Майкопе, преподает курс Новой истории (об этом можно догадаться из обмена репликами,

относящимися к определению границы между Средневековьем и Новым временем. Посвятив свое исследование анализу актуального состояния российской науки о Новом времени, Людмила Рашидовна включила в свою работу интервью, сделанные с девятью современными специалистами. Мало того, что я попал в их число, я затем еще и выступил в роли оппонента на защите ее докторской диссертации в феврале 2010 года. Я согласился оппонировать, поскольку считаю, что анализ современной российской историографии — вещь на удивление дефицитная в нашей стране. Работ, посвященных историкам прошлого много, работ про современных западных исследователей тоже немало, а вот «текущего историографического анализа», интроспекции, нам не хватает, хотя на Западе таких исследований появляется немало. Но оценивать труд, в котором сам являешься одним из предметов анализа, оказалось занятием парадоксальным. Как если бы страусу дали на отзыв работу по орнитологии.

Интервью состоялось в период, когда работа над «Всемирной историей» только начинала раскручиваться, хотя, по идее, должна была вступить в итоговую фазу — отсюда некоторые панические нотки в моих ответах. В 2012 году вышел второй том «Всемирной истории», посвященный средневековой цивилизации Запада и Востока, в 2013 году — третий том, посвященный раннему Новому времени.

^a Речь шла о забытом ныне проекте начала 2000-х годов учредить Российскую историческую ассоциацию. В нашем ИВИ РАН давно пытались создать особую структуру, которая бы взяла на себя работу по ее организации. Лишь сравнительно недавно была создана Ассоциация учителей истории, а затем «воссоздано» Русское историческое общество. Но это сугубо вертикальные структуры совсем иного толка. Попыткой создания профессиональной организации стало Вольное историческое общество, но оно пока (весна 2014 года) находится в подвешенном состоянии и, намереваясь заниматься исключительно историей, в той или иной степени занимается политикой.

^b Всероссийская ассоциация медиевистов, созданная в 1991 году во главе с С.П. Карповым, поначалу работала весьма активно, собирала членские взносы и издавала свой «Бюллетень». Но постепенно ее деятельность затихла, и ассоциация даже не смогла перерегистрироваться. В 2000-х годах в стране менялось отношение к любым общественным организациям, и придание им законного статуса требовало колоссальных административных усилий и финансовых затрат. Время от времени об ассоциации вспоминали, кто-нибудь даже печатал на своей визитной карточке «Член Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего Нового времени», но дальше этого дело не шло. Антиковеды оказались упорнее — их Ассоциация была создана еще в 1988 году по инициативе Е.С. Голубцовой, которую на посту председателя впоследствии сменил Г.М. Бонгард-Левин.

Григорий Максимович был человеком необычайно энергичным и обладал особым талантом общения с властными и финансовыми структурами, но и он не смог разрешить проблему перерегистрации. Ассоциация на некоторое время свернула свою деятельность, но в 2009 году вновь была восстановлена.

^c Лорине Петровне Репиной удалось преодолеть административные препоны, и Российская ассоциация интеллектуальной истории не только была провозглашена в 2001 году, но вскоре сумела зарегистрироваться благодаря самоотверженной настойчивости членов бюро. Отделения этой Ассоциации существуют в 36 субъектах Российской Федерации.

^d Ситуация вскоре начала немного изменяться — в 2010 году в «Новом литературном обозрении» появилась разгромная рецензия Д.Ю. Бовыкина на книгу Л.И. Ивониной о Мазарини. За рецензией последовал шлейф полемики, что неожиданно значительно повысило критикуемому автору индекс цитирования. В «Средних веках» мы сумели организовать нелицеприятные рецензии и даже публиковали ответы на них.

^e Я начал работать в ИВИ РАН в июне 1985 года.

^f Такая команда все же последовала и в первом томе «Истории Франции» (1972 год). Главы писали А.Д. Люблинская, С.Д. Сказкин и Б.Ф. Поршнев.

^g Уваров П.Ю. История средневековых университетов во франко-бельгийской историографии начала 80-х годов // Средние века. Вып. 50. 1987. С. 321—333.

^h Это произошло в ноябре 2007 года после «Марша несогласных».

ⁱ Тогда, в 2009 году еще свежо было впечатление от обсуждения-осуждения моего доклада про А.Я. Гуревича (см. об этом выше, С. 108—109).

^k Речь идет об уже упоминавшийся не раз статье М.А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!».

^l Новый президент республики Башкортостан Р.З. Хамитов проявил достаточно здравомыслия, чтобы приостановить юбилейную лихорадку в Уфе. Однако вскоре в Дагестане началась энергичная подготовка к юбилею Дербента, которому, как утверждали энтузиасты, вот-вот должно исполниться как минимум 5 тысяч лет. Правда, на сей раз сопротивление академических ученых оказалось достаточно эффективным.

^m Еще перед нашим интервью В.А. Шнирельман и А.Е. Петров провели в Академии наук любопытный коллоквиум, материалы которого в конце

концов были опубликованы в сборнике «Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов» (М., 2011).

ⁿ С 2003 года в балтийском эксклаве развернулась кампания по празднованию юбилея Кенигсберга или Калининграда-Кенигсберга, но указ, подписанный В.В. Путиным в 2005 году, предписывал празднование 750-летия Калининграда.

^o В «методологической части» я пытался экстраполировать в прошлое модное тогда понятие «образ жизни», с которым активно работали «передовые социологи», изучая «советский образ жизни». Так, в Институте системных исследований В.И. Бестужев-Лада возглавлял «Сектор прогнозирования образа жизни». Сейчас это направление практически сошло на нет, во всяком случае, «университетский образ жизни» я без особого труда заменяю «университетским хабитусом» по Бурдьё.

^p В 2008 году в Париже в букинистическом отделе (*livres de l'occasion*) я отыскал книгу: Diamond J. *Del'inégalité parmi les sociétés: Essaisur l'homme et l'environnement dans l'histoire*. Paris, 2000. Она помогла найти ключи к композиции второго тома «Всемирки».

^q В 2009 году мы опубликовали материалы трехдневной читательской конференции журнала «Средние века», одна из секций которой была посвящена понятию «Раннее Новое время» и определению его хронологических рамок. Позиция специалистов по Новой истории там не была представлена, что вполне понятно, поскольку речь шла о собрании читателей «Средних веков». Вскоре нам удалось реабилитироваться, созвав в 2010 году еще одну конференцию на эту тему, где новистам было предложено слово, которое прозвучало очень эмоционально. См. электронное издание: *Медиевистика: новые подходы к периодизации // Электронный научно-образовательный журнал «История»*. 2012. Вып. 2 (10). Вскоре это было продублировано в «бумажном» виде.

^r Рауль Спифам (Raoul Spifame) — адвокат Парижского парламента. Он был человеком крайне неуравновешенным и отличался эксцентричным поведением, что заставило родственников взять его под опеку по причине помутнения рассудка. В 1556 году он сумел нелегально опубликовать сборник постановлений, написанных от имени короля Генриха II. В этой книге ему удалось предсказать многие реформы, которые будут осуществлены в следующие три столетия. Загадка Рауля Спифама и двух не менее интересных его братьев заинтересовала меня еще в конце 1980-х годов, когда я работал над первой своей монографией. Твердо пообещав себе написать книгу если не обо всех Спифамах, то хотя бы о Рауле, я вот уже четверть века хожу вокруг этой темы. До книги так руки и не дошли,

хотя я со времен интервью издал еще полдюжины статей, посвященных Спифамам.

^s Недавно одна из этих книг была перепечатана, правда, без всяких комментариев и примечаний: *Суворов Н.С. Средневековые университеты*. М.: Либроком, 2012.

^t *Ouvarov P. Ceux qui sont un peu différents des autres: Singularités, déviations et normes dans les actes notariés parisiens du XVI^{ème} siècle // Histoire, sciences sociales*. 1996. № 3. P. 439—466.

^u *Уваров П.Ю. Университеты и идея европейской общности // Европейский альманах. История. Традиции. Культура*. 1993. С. 115—121.

^v На сегодняшний день защитились пять аспирантов, у которых я считался научным руководителем, но это все равно мало. Во всяком случае, их меньше, чем тех, кто «сошел с дистанции».

«МЫ ТЕРЯЕМ ЕГО!»

Сообщество российских медиевистов
между 1985 и 2010 годами.

В советское время выпуск ежегодника «Средние века» открывался передовицей, например: «Советская медиевистика в IX пятилетке» или «XXV съезд КПСС и задачи советской медиевистики». Автор из числа самых заслуженных мэтров с гордостью перечислял достижения, мягко указывал на имеющиеся возможности для совершенствования. Что, если бы сегодня надо было писать такую статью?

Думаю, что получилось бы неплохо.

Для начала надо оговориться, что отечественная медиевистика до 1985-го или даже до 1991 года занимала хорошие позиции. Другие историки достаточно уважительно относились к медиевистам, среди которых было много знаковых фигур. К истории Средних веков существовал общественный интерес и, как ни странно, — определенный интерес со стороны властей. Во всяком случае, медиевисты той поры без особых проблем могли объяснить, зачем они нужны обществу и какое место их субдисциплина занимает в исторической науке; у профессии существовал признанный набор легитимирующих аргументов, чтобы объяснить властям и обществу, зачем надо изучать «не актуальную» и «не свою» историю. Аргументы в самом общем виде сводились к следующему: только советская историография, вооружившись марксистско-ленинским учением, могла ухватить суть средневекового общества, раскрыв основной закон феодализма. Сделать это было проще на западном примере, поскольку он был лучше изучен и лучше наделен источниками. Обретенное знание давало ключ к правильному истолкованию истории всех остальных регионов мира, вступивших в период феодализма, каковой занимал почетное центральное место в пятичленке общественно-экономических формаций.

Очень важно то, что и у неформальных, и у формальных лидеров советской медиевистики была известность за границей. Эта была разная известность — у А.Я. Гуревича одна, у А.Н. Чистозвонова — другая. Советская медиевистика была важной деталью

ландшафта мировой историографии. Конечно, на Западе многого не понимали в нашем внутреннем раскладе сил. Французы, например, до самого недавнего времени были уверены, что Б.Ф. Поршнев отражал точку зрения советской медиевистики в целом. В этом они, конечно, ошибались. Но кто такой Поршнев — знали хорошо.

Вернемся к достижениям истекших «пяти пятилеток».

В гипотетической передовице ежегодника «Средние века» нам было бы чем отчитываться. Прежде всего — сами «Средние века» стали уже не ежегодником, а ежеквартальным журналом^а. В нем, как и в советское время, продолжает публиковаться библиография работ по медиевистике, изданных в России^б. У нас, таким образом, есть некий объективный количественный показатель. И если мы сверимся сегодня с данными двадцатилетней давности, то выяснится, что число публикаций не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось, невзирая на то что Россия существенно меньше СССР.

Конечно, это связано с изменением институциональных форм организации науки и новыми полиграфическими возможностями. Но все равно: то, что по истории Средних веков появляется так много книг, статей, да и новых журналов, отражает наличие интереса со стороны общества. И наиболее надежный показатель здесь — рост числа переводов, в том числе переводов источников. Да, качество этих переводов в целом упало. Некоторые из них столь плохи, что даже примеры отдельных блестящих успехов переводчиков не спасают положения. В том, что общий уровень переводов неудовлетворителен, сказалось исчезновение института научного редактирования, видимо, понимаемого как мрачное наследие тоталитаризма. Но с количественными показателями все в порядке, не говоря уже о том, что интернет и в целом более свободное владение хотя бы английским языком снимают перед молодыми российскими историками проблему доступа к достижениям зарубежных коллег.

В некоторых регионах изучение западноевропейского Средневековья пришло в упадок, но зато появились новые центры медиевистики, чей уровень не уступает старым школам.

В отдельных областях прогресс вполне очевиден. Англосаксонским периодом истории Великобритании занимаются сегодня порядка двух десятков специалистов, среди которых много молодежи. Это не результат какой-то кадровой политики, скорее стечение обстоятельств, исследователи пришли к своей тематике разными путями. Но высокая концентрация создает высокую плотность обсуждения,

конкурентную среду, что обеспечивает условия для приращения научного знания. Я сейчас вполне умышленно не рассматриваю византинистику, однако не удержусь от того, чтобы привести пример кафедры истории Древнего мира и Средних веков УрГУ. В Екатеринбурге кафедра состоит чуть ли не из одних византинистов. И, несмотря на пессимизм, органически присущий их заведующему, положение дел там обнадеживает. Византинисты вполне могут справиться с чтением курсов по истории западноевропейского Средневековья, а наличие общих интересов и общей специализации рождает высокую взыскательность и благотворно сказывается на уровне научных изысканий уральских византинистов.

И наконец, предмет законной гордости по сравнению с периодом «до 1985 года» — стремительный рост числа научных семинаров, руководимых медиевистами. Правда, сейчас пик семинароторчества, кажется, миновал (пять лет назад таких семинаров действовало не менее десятка одновременно), но и сегодня их стало ненамного меньше^с. В идеале семинар обзаводится своим печатным органом и собственной организационной структурой в рамках Института всеобщей истории. Кроме того, подобные семинары действуют и в других московских научных и учебных заведениях.

Иными словами, внешне все обстоит совсем не плохо. Зачем же тогда такое алармистское название? На что жалуемся?

Но прежде чем жаловаться, надо понять, зачем нужны национальные сообщества историков, специализирующихся на определенном периоде.

С одной стороны, часто говорят, что само понятие «национальная историография» кануло в Лету. Ведь мы смеемся, когда в автореферате соискатель продолжает писать, что к полученным выводам он пришел «впервые в отечественной науке». В ситуации, когда есть немало западных исследований на эту тему, а железный занавес пока поднят, в подобных претензиях видят главным образом стремление замаскировать безнадежную посредственность диссертации.

С другой стороны — существует масса других форм объединения историков. Вот, например, наши коллеги издают журнал, объединяющий антиковедов Поволжья. Есть реальные формы «кустовых» объединений медиевистов. Томск, Кемерово, Новосибирск, Алтай образуют одну зону; Тюмень, Екатеринбург и ряд уральских центров — другую. Можно привести еще несколько

примеров подобных региональных объединений, складывающихся вполне спонтанно. Весьма перспективны небольшие неформальные группы узких специалистов — тех же знатоков англосаксов или специалистов по итальянскому Возрождению. Есть формы объединения историков по методологическому принципу — например, Российское общество интеллектуальной истории. Наконец, есть множество международных ассоциаций, куда входят многие из нас.

И все же сообщество историков продолжает работать, главным образом на национальном уровне. Известный французский историк Жерар Нуарьель в своей книге «О кризисах истории» отмечает, что социальная роль историка состоит в выполнении трех функций: науки, памяти и власти¹.

Научная функция состоит в приращении научного знания — в разработке новых и наполнении новыми смыслами старых научных понятий. Эта функция осуществляется за счет написания научных статей, монографий, выступлений на конференциях.

Функция памяти заключается в том, что историк так или иначе влияет на картину прошлого, которой располагает современное ему общество. Эту картину надо постоянно корректировать и пытаться привести в соответствие с новыми данными, с требованиями науки. Такую задачу историк решает в своей преподавательской деятельности, а также составляя учебники, обобщающие работы, рассчитанные на широкую публику, или выступая в СМИ.

Функция власти, правда, представляется французскому автору не совсем в том ключе, как ее понимают у нас — кто написал донос, кого посадили, кто сумел угодить начальству. Дело в том, что историк сам осуществляет властную функцию, когда пишет рецензию, выступает оппонентом и совместно с коллегами выносит решение о присвоении ученой степени. Тем самым решается важнейшая задача контроля над ростом и пополнением научного сообщества. Именно так с незапамятных времен Средневековья начали работать первые корпорации ученых, заложившие основы для существования интеллектуалов западного типа. Государственная власть в конечном итоге лишь дает свою санкцию, признавая или — реже — не признавая решения ученых, выносящих свой властный вердикт. Поэтому обвинения, брошенные государству,

¹ Noiriël G. Sur la «crise de l'histoire». Paris: Belin, 1996 (2 éd. — Paris: Gallimard, 2005).

что оно сегодня плохо контролирует процесс присвоения ученых степеней, направлены не совсем по адресу.

Но эти три функции осуществимы только при наличии национального сообщества историков, объединяющего представителей одной специализации. Его определяющая роль в осуществлении функции власти и функции памяти вполне очевидна. Но и научная функция немыслима без сообщества. В гуманитарных дисциплинах, и в особенности в истории, с критериями истинности того или иного положения дело обстоит сложно. Для упрощения, говоря об истинах, подразумевают все же конвенции. Есть договоренности, оспаривать которые можно лишь при наличии каких-то новых веских аргументов. Статус конвенции получает то утверждение, которое разделяется либо всем сообществом исследователей, либо значительной его частью или, во всяком случае, не вызывает моментального резкого отторжения. Это выглядит не очень солидно и надежно, особенно по сравнению с естественно-научными дисциплинами, но так проще и удобнее. Так принято.

Историк на основании своих исследований и умозаключений выдвигает новое утверждение и формулирует гипотезу, выступая с ней публично. С гипотезой знакомятся, критикуют, автор возражает, защищается, что-то корректирует в своих положениях, подбирает более убедительные аргументы. Проходит какое-то время, за которое он кого-то убеждает, кого-то не очень, идет научная апробация нового утверждения: выступление на солидных конференциях, публикация серии статей в научных (как сейчас принято загадочно говорить: «рецензируемых») журналах, издание монографии, на которую появляются рецензии, защита диссертации. Отныне утверждение становится уже чем-то большим, чем гипотеза. Оно обретает новый статус, претендуя на роль научного или по крайней мере историографического факта. Теперь с новым утверждением можно спорить, можно опровергать при помощи рациональных доводов, но его нельзя игнорировать.

Очевидно, что вся эта система может функционировать только при наличии сообщества людей, договорившихся действовать по определенным правилам, а также при наличии отлаженных институтов. Причем и сообщество, и его институты должны быть именно национальными. Хотя региональное измерение и важно, а международное еще важнее, научная аттестация по-прежнему ориентирована на национальный масштаб. Степени кандидата

поволжских или северокавказских наук пока еще официально не существует, но и степень PhD, несмотря на все заверения в приверженности к болонскому процессу, по-прежнему вызывает вопросы в отделе кадров большинства российских университетов.

Итак, национальное сообщество историков абсолютно необходимо, но насколько эффективным оно оказывается в современной России?

Не берусь говорить про всех, но про медиевистов скажу вполне определенно. В российской медиевистике сегодня МОЖНО ВСЕ! Мне трудно назвать работу, которая по своему уровню не могла бы быть защищена даже в нашем ученом совете, отнюдь не худшем, а относящемся к числу лучших.

У наших соседей-археологов все же дела обстоят иначе. Конечно, там, как и везде, дают о себе знать личные отношения, которые могут вылиться в интриги; к археологам может быть немало претензий по части методологии, но они достаточно четко представляют себе, что эту вот работу представлять к защите нельзя, а эту можно. Сами они, конечно, в частной беседе также будут жаловаться на размывание критериев качества; но все же грань, отличающая допустимое от недопустимого, у них присутствует, а у нас размыта.

Для историков вообще и для медиевистов в частности есть много способов облегчить свою участь. Свобода маневра предполагает возможность ухода в иные дисциплинарные ниши. Нельзя защитить диссертацию по истории? Прекрасно, пусть это будет диссертация по культурологии, а там совсем другие требования. В данной работе отсутствует работа с источниками? Но мы же можем считать ее диссертацией по методологии исторического исследования!

Но дело не только в этом. Недостатки существующей у нас системы являются продолжением ее достоинств. Вообще-то полицентризм часто полезен для развития культуры и науки — вспомним расцвет греческих полисов или пестроту политической карты ренессансной Италии. Но сейчас получается, что являющееся истиной в одном отделе, центре, на кафедре, считается абсолютной ересью в соседнем отделе, институте, на соседней кафедре. И это отнюдь не специфика ИВИ РАН и даже не специфика Москвы. Сергей Георгиевич Карпюк рассказывал о ситуации в Санкт-Петербурге^d, и его слова о местном климате вполне могут быть распространены и на питерских медиевистов. Не говоря уже о расхождении между

региональными вузами: то, что никак не может быть защищено в городе X, блестяще защищается в городе Y.

Может быть, все дело в неспособности ВАК навести порядок с диссертациями? Проблема девальвации ученых степеней очевидна, и мы все являемся свидетелями или даже жертвами творческих исканий этого почтенного учреждения, стремящегося установить контроль за качеством публикаций. Чем обернулось на практике составление пресловутого «ваковского списка» — всем известно^с. Но интенция была вполне понятной. Странно, что не попытались при этом взять под контроль наиболее слабое звено — назначение оппонентов. Сейчас оппонентов выбирает чаще всего сам соискатель или его научный руководитель. Разумеется, из числа «своих», а не «чужих». Вот здесь бы и вмешаться Рособорнадзору: если, например, диссертация защищается по сагам, а в оппоненты не приглашен ни один из скандинавистов из нашего «пашутинского сектора»^д, ни вообще кто-нибудь из видных медиевистов, знающих древнеисландский язык, то это повод для вопросов. Существующая максимально облегченная процедура приводит к появлению докторов наук, которые защитили свои диссертации по истории Средних веков или Раннего Нового времени, не выходя из возраста, в советские времена именовавшегося «комсомольским». Мы не физики и не математики, где такое в порядке вещей; и если автор к 28 годам пишет докторское исследование по истории Средневековья, в котором, согласно требованиям ВАК, «разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение», то это должно вызывать неподдельный интерес. Если это действительно так, тогда это — событие, о котором должны все знать, и такие книги должны иметь шумный успех. Однако вундеркинды предпочитают не публиковаться в центральных журналах (благо в «ваковский список» щедро включено множество «Ученых записок чухломского педуниверситета»), а защитившись, вспомнив о подобающей возрасту скромности, держатся в тени^е.

Здесь нет чьей-то злой воли, просто у всех есть какие-то конкретные заботы: у соискателей — о собственных перспективах; у оппонентов — о сохранении хороших отношений с научным руководителем; у руководителя — о благополучной защите подопечного; у председателя совета — о сохранении репутации; у отдела аспирантуры — о показателе «защищаемости»; у членов совета тоже могут быть какие-то личные соображения. На этом фоне

забота о научной составляющей, о научной репутации если и присутствует, то на каком-то десятом месте. И не возьму на себя смелость кого бы то ни было ругать за это, я сам такой же. Но коль скоро контроль за научным уровнем не стал нравственным императивом, то эту задачу должна решать внешняя среда. ВАК пытается выполнять эту функцию, но у него это получается по большей части «как всегда»... А иначе не может быть, поскольку Рособрнадзор — государственный орган, тогда как уже отмечалось, по установленным для европейской науки правилам основную функцию контроля должно выполнять сообщество ученых^h.

Тогда почему же оно этой функции не выполняет? Да потому, что самого сообщества-то почти и не осталось.

Отсутствие реакции на безобразно низкий уровень диссертаций — это лишь один из показателей. Не менее важным является отсутствие рецензий. Как главный редактор журнала «Средние века» могу сказать, что нормальные критические рецензии (если речь не идет о заказанных друзьям откликах на свои работы) сейчас стали большим дефицитом. А ведь рецензии всегда считались легким жанром — их до сих пор не склонны расценивать как полноценные печатные работы. Но в этом небрежении как раз и можно усмотреть следы прошлого, когда для настоящего историка писать рецензии было все равно, что дышать. (Число рецензий, написанных Люсьеном Февром, достигает четырехзначного числа! У Марка Блока рецензий меньше — всего несколько сотен.) Нет рецензий на книги, которые, безусловно, должны стать событием в нашей науке. Нет рецензий на учебники и учебные пособия для вузов. Но и дефицит рецензий тоже лишь индикатор распада сообщества. И дело не только в том, что в региональных университетах защищаются плохие работы и публикуются плохие книги — это можно было бы списать на провинциализм, удаленность от научных центров и библиотек и т.д. Не менее серьезна ситуация в столицах, там, где, казалось бы, все хорошо. Отмеченное выше многоцветье школ и семинаров сопоставимо с эффектом Доплера — с «красным смещением», свидетельствующим о разбегании галактик. Процесс раздробления исследовательского поля медиевистов чреват исчезновением их национального сообщества.

А к чему это приводит, хорошо показал Антуан Про: «Траур по тотальной истории влечет за собой отказ от крупных обобщающих трудов. Историки не могут полностью отказаться от истинности и точности, так уж они воспитаны. Но точность достижима теперь

только в малых формах в микроистории, в истории представлений. Избрав такое направление, историки превращаются в ювелиров или в часовщиков. Они производят маленькие драгоценности, чеканные тексты, где сверкают и переливаются их знания и умения, необъятность их эрудиции, их теоретическая культура и методологическая изобретательность. Но при этом речь идет либо о совершенно ничтожных, хотя и превосходно разработанных сюжетах. Либо о сюжетах, не представляющих серьезного интереса для их современников. Бывает также, что они игриво упиваются систематическим экспериментированием с бесконечно пересматриваемыми гипотезами и интерпретациями.

Тем из коллег, кто читал их сочинения, остается лишь аплодировать этим упражнениям в виртуозности, а историческая корпорация могла бы в связи с этим стать клубом взаимного самопрославления, где с удовольствием и по достоинству оценивали бы эти маленькие кустарные шедевры. Ну а потом? Куда нас ведет история, растрачивающая сокровищницу эрудиции и таланта на рассмотрение ничтожных предметов? Или, точнее, предметов, имеющих смысл и интерес только для историков, работающих в данной области?»¹

Антуан Про писал лишь о тенденциях, наметившихся во французской историографии вообще. О тенденциях, распространившихся среди французских медиевистов, примерно то же самое писал Ален Герро². Но то, что на Западе намечается в виде некоей скандальной тенденции, у нас, как всегда, проявилось с удесyтеренной силой по причине врожденной слабости наших институтов.

Поэтому при анализе достижений российской медиевистики панегирик оборачивается мартирологом. Приходится смириться с тем, что исчезают целые направления, хотя, конечно, радоваться этому не приходится. Сгинула былая гордость российской медиевистики — аграрная история. Бледная тень осталась от истории экономической. Можно надеяться на ее возрождение, но непонятно, откуда появятся люди, которые возьмут на себя эту благородную задачу? Можно успокаивать себя тем, что всегда одни темы уходят, другие приходят: вот многие занимаются теперь властью, политической имагологией и, что очень важно, средневековым правом.

¹ Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2001. С. 229.

² Guerreau A. L'avenir d'un passé incertain: Quelle histoire du Moyen Âge au XXI^e siècle? P., 2001.

Но при этом странным образом проигнорированы те вопросы, которые сообщество медиевистов просто обязано ставить перед собой, даже если в своей повседневной работе медиевист с этим отнюдь не сталкивается.

Не то что не были решены, но даже и не были поставлены в новых условиях такие вопросы, как:

— Обладает ли сегодня какой-нибудь эвристической ценностью понятие «феодализм»?

— Если обладает, то что это такое; если нет — то можно ли дать какую-нибудь иную обобщенную характеристику западноевропейскому средневековому обществу?

— Имеет ли изучение этого общества некую универсальную ценность, дает ли оно какое-нибудь знание, которое можно применить для изучения других регионов, расположенных к востоку от Эльбы? Если да, то в чем эта ценность; если нет, то зачем нам надо изучать это удаленное от нас общество?

— Где проходят географические и хронологические границы изучаемого медиевистами явления?

Даже на традиционный хлеб историка — на периодизацию — махнули рукой. Термин «Высокое Средневековье» наши авторы используют для обозначения трех разных периодов — VIII—X века, XI—XIII и XI—XV века. И никого это не волнует. Но что еще более важно — неясной остается судьба XVI—XVII веков.: одни считают его Поздним Средневековьем, другие ранним Новым временем, третьи Новым временем¹. В учебных программах закрепили именно третий вариант, пойдя чисто административным путем, без особых раздумий. С другой стороны, если этим не занимается профессиональное сообщество, то решающей становится директива чиновника. Жаловаться не на кого.

Если не ответы, то хотя бы попытки размышлений на эти темы¹ нужны прежде всего для преподавания. Они нужны для наших коллег — востоковедов, славяноведов, специалистов по русской истории, для «новистов». А если они не нужны нам, то выходит, что по сравнению с советскими медиевистами мы полностью лишены их оружия — системы легитимизирующих аргументов. Пусть они у них были плохи, но у нас-то никаких нет.

Мне могут возразить, что такова ситуация во всем мире, что время общих понятий прошло, что на Западе термины «феодализм», и «абсолютизм», все реже мелькают на страницах учебников для школы (а учебников для студентов у них нет и быть не может

по определению) и что, например, американские медиевисты, собираясь на свои конгрессы в Каламазу⁴, также не озабочены решением «вечных» проблем. Возможно. Но сообществу американских медиевистов нет оснований опасаться за свое существование: необходимость углубленного изучения европейского Средневековья не вызывает сомнений в американском обществе, и — что немаловажно — не вызывает оно сомнения у тех, кто финансирует науку и образование. Не уверен, что мы можем сказать то же самое о себе.

Возможно, я напрасно вижу все в столь мрачном свете. Вероятно, какие-то усилия для консолидации сообщества медиевистов все же предпринимаются. Согласен. Более того, даже уверен, что еще не все потеряно. Иначе и не выступал бы со столь желчными замечаниями.

Комментарий

Доклад был прочитан на «круглом столе» «Трансформации профессиональных сообществ историков (1985—2009)», который был проведен Центром истории исторического знания Института всеобщей истории РАН 30 ноября 2009 года. Вскоре текст был опубликован в первом выпуске интернет-издания: Электронный научно-образовательный журнал «История». 2010. Вып. 1. Историческая наука в современной России. Затем вышла и бумажная версия журнала.

Боюсь, что по сравнению с другими участниками выступления я выбрал слишком печальный тон, и у слушателей сложилось впечатление, что в медиевистике дела обстоят хуже, чем где-либо. Это не вполне справедливо. Но в данном случае, чем меньше бы подтвердились мои прогнозы, тем было бы лучше.

К счастью, подтвердилось действительно не все. Нехотя, со скрипом, но сообщество все же начало втягиваться в обсуждение важных тем, говоря и о периодизации, и о возможностях макроисторических подходов. Работа над «Всемирной историей» и другими коллективными проектами обязала задумываться над некоторыми общими вопросами. Требования публиковаться в «индексированных в РИНЦ» журналах поубавили любви к написанию статей в ротапринтные сборники и постепенно повысили интерес к публикациям хотя бы в «Средних веках». Появилось вольное сетевое сообщество «Диссернет», и грянули различного рода «диссергейты». К сожалению, их инициаторами стало не наше сообщество историков. Без вмешательства политического фактора, наверное, вообще бы ничего не произошло. Но все-таки диссертации стали немного лучше обсуждаться. Некоторые даже отвергаются. Появляются критические

рецензии, порой прямо-таки разгромные. Но в целом добиться перелома ситуации не удалось. «Разбегание галактик» продолжается. Создаются новые центры — одна лишь Лаборатория медиевистических исследований на факультете истории Высшей школы экономики чего стоит. А там еще несколько подобных институций возникло и еще возникнет. Достаточно много выпускников и особенно выпускниц пишут свои магистерские, а то и докторские работы на Западе, многие там и остаются. Это все хорошо; но единой площадки, которая позволила бы российским медиевистам дискутировать, творить репутации, выносить ценностные суждения, как не было, так и нет.

Лет десять назад я пришел в гости к старейшему российскому медиевисту Соломону Моисеевичу Стаму. Он перебрался тогда из своего Саратова в Москву, к дочери. Стремясь ввести его в курс новостей столичной медиевистики, я с увлечением рассказывал о том, сколь интенсивна жизнь в нашем институте, где одновременно работают столько семинаров, создано столько центров, издается столько журналов самых разных научных направлений. Но собеседник почему-то не разделял моего энтузиазма. «Какой ужас! Куда же смотрит директор?» — сокрушался он. Я тогда не понял, что его не устраивает. Сейчас, кажется, понимаю.

^a Ежегодник «Средние века» стал журналом «Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени» с 2007 года (Вып. 68. № 1—4). С 2010 года обычно издается два раза в год в виде сдвоенных выпусков — на этом настояли читатели. Трансформация «Средних веков» из ежегодника в журнал была ускорена введением «ваковского списка» (см. «Свобода у историков пока есть»), куда «Средние века» в виде ежегодника не попадали.

^b Увы, после кончины Маргариты Михайловны Ощепковой библиографию составлять стало некому.

^c В середине прошлого десятилетия в нашем институте одновременно действовали следующие семинары, руководимые медиевистами:

1. Семинар по исторической антропологии, так называемый «семинар Гуревича» (до 2006 года — руководитель А.Я. Гуревич, после — Д.Э. Харитонович и С.И. Лучицкая);

2. Семинар по истории частной жизни и повседневности («семинар Бессмертного») — руководитель И.Н. Данилевский;

3. Семинар по интеллектуальной истории — руководитель Л.И. Репина;

4. Семинар по исторической эмблематике — руководитель А.П. Черных;

5. Семинар «Люди и тексты» — руководитель М.С. Бобкова;

6. «Ассамблея медиевистов» — руководитель П.Ю. Уваров;

7. Семинар по феноменологии культуры — руководитель О.Ф. Кудрявцев;

8. Семинар по методологии истории — руководитель К.В. Хвостова;

9. Семинар «как работают историки» — руководитель М.А. Юсим.

Это не считая постоянных мероприятий, проводимых Центром «Восточная Европа в античном и средневековом мире» (Е.А. Мельникова), Центром теории и истории цивилизаций (В.М. Хачатурян и В.П. Буданова), Центром гендерной истории (Л.И. Репина, А.Г. Суприянович), Отделом истории Византии (Г.Г. Литаврин), а также семинаров, созданных позже, — семинара по специальным историческим дисциплинам (С.М. Каштанов, И.Г. Коновалова), а также — «Русь, Московия, Россия в свидетельствах иноземцев» (И.В. Дубровский, В.В. Рыбаков).

^d В своем выступлении Сергей Георгиевич отметил разобщенность Санкт-Петербургских антиковедов и их склонность конфликтовать друг с другом. Я-то считал, что это свойственно лишь питерским медиевистам. *Карнюк С.Г.* Каждый за себя, но душою вместе: российское антиковедение в эпоху перемен // Электронный научно-образовательный журнал «История». М., 2010. Вып. 1 [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <http://mes.igh.ru/s207987840000022-3-2> (дата обращения: 20.02.2014)).

^e См. выше примечание i к статье «Свобода у историков еще есть» (С. 146 наст изд.).

^f Речь идет о Центре «Восточная Европа в античном и средневековом мире» в ИВИ РАН. Исторически он восходит к исследовательской группе, созданной Владимиром Терентьевичем Пашуто. См. об этом статью: *Мельникова Е.А.* «Исторический источник неисчерпаем»: К 40-летию школы В.Т. Пашуто // Средние века. 2008. Вып. 69 (3). С. 9—45.

^g С тех пор мне удалось познакомиться с некоторыми из «вундеркиндов». Они производят впечатление приятных и работоспособных людей. Но я остаюсь при своем мнении: защищаться так рано им все равно не стоило.

^h Мне самому припомнили эту строку, предложив занять внезапно освободившееся место председателя экспертного совета ВАК. Если бы я не написал этой трескучей фразы, я бы отказался.

ⁱ Термин «раннее Новое время» все более укрепляется в нашей историографии и образовательной системе. Но если начальный его период не вызывает сомнений (конец XV — начало XVI века), то заканчивается он либо в середине XVII века (учебник МГУ под ред. С.П. Карпова), либо

в конце XVII века (Всемирная история в 6 томах. Т. 3: Мир в Раннее Новое время), либо в конце XVIII века (большинство западных стран, согласно «Википедии»), достаточно часто, впрочем, указывается и 1750 год. Все это вызывает понятную ярость школьных преподавателей. См.: Электронный научно-образовательный журнал «История». 2012. Вып. 2 (10). Медиевистика: новые подходы к периодизации // [mes. igh. ru/magazine/numcontent.php?ELEMENT_ID=4427](http://mes.igh.ru/magazine/numcontent.php?ELEMENT_ID=4427); а также: Уваров П.Ю. Раннее Новое время: взгляд из Средневековья // Новая и Новейшая история. 2011. № 2. С. 109—120.

¹ Ответов не появилось, но размышлений прибавилось. Здесь и специальные выпуски «Средних веков», и работа над «Всемирной историей», и необходимость ответа на некоторые вопросы о природе политогенеза, поднятые на конференции «Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств» и других мероприятиях «пашутинцев».

² Каждый год в мае в городе Каламазу местный Университет Западного Мичигана проводит Конгресс медиевистов, принимающий обычно около трех тысяч участников.

РЕВАНШ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Все слышали словосочетание «социальная история» много раз. Определить социальную историю очень сложно, потому что она как бы все и ничто. Наверное, можно сказать так: историю некоторые не считают наукой, ведь она долгое время и не была наукой. Но другие все-таки ее наукой считают и уверены, что в основе ее лежат если не законы, то хотя бы некоторые закономерности, регулярности; именно это позволяет нам уподоблять историю науке. Интересная была полемика в самом начале XX века во Франции между двумя учеными: Шарлем Сеньобосом — известным историком, одним из авторов учебника «Введение в изучение истории», и Франсуа Симианом — по образованию экономистом и сторонником социолога Эмиля Дюркгейма. Сеньобос говорил, что история, в отличие от социологии (она тогда только-только рождалась), занимается чем-то уникальным, неповторимым, единичным — вот это уникальное и составляет предмет исследования историка. Симиан возражал, что, если история хочет быть наукой, она должна заниматься как раз именно тем, что не уникально, что повторяется, что закономерно; она должна заниматься подсчетами, выстраивать серии фактов. Эта полемика имела большое эхо, и потом о ней не раз вспоминали. Во Франции историю по Сеньобосу называли историей «историзирующей», а по Симиану — историей «социологизирующей». Таким образом, те люди, которые настаивают на повторяемости, закономерности исторического процесса, как правило, апеллируют к социальной истории. Поэтому в самом термине «социальная история» заложен подход к истории как к изучению неких закономерных процессов, т.е. как к науке, хотя и не такой, как физика или химия.

Поскольку нахожусь на гостеприимной киевской земле, то обращаюсь к примеру замечательного историка, профессора университета Св. Владимира Ивана Васильевича Лучицкого. Еще в 70-е годы XIX века он занимался такой важной темой, как Религиозные войны во Франции. Здесь, в Киеве, вышли две его интересные книги, где он предложил совсем новую по тем временам интерпретацию этого события^а. Он говорил, что этот религиозный конфликт по

сути своей явился борьбой двух социальных сил. С одной стороны были силы, заинтересованные в укреплении абсолютной монархии и строительстве централизованного государства; с другой — силы феодальной аристократии, встревоженной потерей своих привилегий, своей власти, своих земель. Аристократия свое недовольство выражала то в форме кальвинизма, то в форме ультра-католицизма Католической лиги конца XVI века. Это было новое утверждение, до которого французская историография только начинала «дозревать». До этого не принято было так подходить к Религиозным войнам. Работы Лучицкого имели большой успех не только в России, но и во Франции. Позже И.В. Лучицкий написал другой капитальный труд, уже посвященный Французской революции, точнее — положению французского крестьянства накануне революции. Он хорошо знал французские региональные архивы (в ту пору русских профессоров часто отправляли в командировки), — и его книга стала событием как для российских историков, так и для французских^b. Лучицкий, представитель страны, где аграрный вопрос был чрезвычайно актуальным, стал одним из создателей русской исторической школы, чрезвычайно востребованной в Европе. Он был характерным представителем тех, кого во Франции называли «социологизирующими историками», а мы назовем историками социальными, хотя сам себя Иван Васильевич так не определял. Он исходил из того, что важное событие — в одном случае Религиозные войны, в другом Французская революция — должно иметь важные причины. И это не козни Екатерины Медичи или дурное поведение Марии-Антуанетты, а причины настоящие, глубинные, социальные; в одном случае — борьба феодальной аристократии за свои привилегии, в другом — борьба крестьян за свою землю. Я намеренно упрощаю проблему, чтобы показать кредо социальных историков. Понимая, что история занимается изменениями и событиями, они прежде всего обеспокоены тем, чтобы найти причины этих событий, и ищут их в социальной структуре, в тех противоречиях, которые существуют между социальными группами.

В широком смысле слова социальная история существовала с давних пор — возможно, уже Фукидида можно назвать «социальным историком», и, уж конечно, ими были такие историки позапрошлого века, как Гизо, Соловьев или Грушевский, предлагавшие определенные социальные интерпретации описываемых событий.

Но в узком смысле слова социальная история явилась порождением XX века. И вот почему.

Приступая к описанию таких событий, как Французская революция, Религиозные войны или, например, опричнина, историки начинали с вопроса о причинах этих событий, и ответ искали в социальной структуре и в порождаемых ею социальных противоречиях. А затем уже могли переходить к политическим коллизиям. Но с течением времени предварительные поиски стали занимать все больше времени. Наконец появился особый тип историков, которые уже основное свое внимание уделяли тому, что искали причины, описывая социальные структуры. У них уже просто не доходили руки до разговора о событиях. Появлялись труды, которых становилось все больше и больше, где уже никакой истории в старом смысле этого слова не было. Там не было событий, там не было поступков каких-то личностей, но там было описание социальной структуры — очень детальное, дотошное. Чем больше было этих описаний, чем больше было графиков, таблиц, тем лучше считалась работа. Я помню похвалу, которую воздал мой коллега, взяв в руки мою первую монографию: «Хорошая книжка — таблиц много!» И я был тогда очень горд, потому что действительно таблиц было много, это была настоящая книга, не какой-нибудь сборник анекдотов, но такое вот социальное исследование. Очень крупный французский историк середины XX века. Эрнест Лабрусс любил выражение «тяжелая материя социального». Вот что представляло главный интерес — социальные структуры. 1950—1960-е годы. были звездным часом такой историографии во Франции, а чуть позже настал он и в нашей стране. Историки изучали общество. Идеальным источником для изучения, например, французского общества XVI—XIX веков были как налоговые описи, позволявшие использовать статистические методы, так и нотариальные акты, еще более богатый источник. С одной стороны, акты отражали реальную жизнь во всем ее многообразии, а с другой — были унифицированы в соответствии с определенными юридическими нормами, что облегчает их статистическую обработку. Сохранность парижских нотариальных актов очень высока даже для XVI века, не говоря о более позднем времени. Они становятся предметом исследования множества историков. Команда, собранная Лабруссом, призвана обследовать все французские архивы, чтобы составить «коллективный портрет» основных классов французского общества Старого порядка и XIX века. У них были серьезные оппоненты из

школы консервативного историка Ролана Мунье, которые возражали: «Нет, вы не правы, потому что общество Старого порядка XVII—XVIII вв. на классы не делилось, оно делилось на *ordres*^c — группы, объединенные престижем, которые отделяются друг от друга по своей социальной функции». Эти историки тоже создали команду, которая обрабатывала нотариальные акты (особенный интерес для них представляли брачные договоры), чтобы описать все французское общество, понять его реальную структуру и, соответственно, выявить противоречия, способные объяснить Французскую революцию, Религиозные войны и другие события. Таким образом, и «левые», и «правые» историки сходились в том, что можно и нужно воссоздать реальную социальную иерархию, «настоящую», не ту, которую рисовали идеологи того времени. Весь вопрос был только в принципах классификации — школы Лабрусса и Мунье яростно спорили между собой на знаменитых коллоквиумах, собираемых в середине 1960-х годов в Сен-Клу, в пригороде Парижа.

Это был период триумфа социальной истории с характерным для нее эссенциализмом — убежденностью в том, что социальные группы существуют реально, их «можно потрогать». Реально есть группа «рыцарей», есть «дворянство мантии» (чиновники и судейские, получившие дворянство за службу, купившие дворянский патент), есть полноправный горожанин-буржуа; и человек либо в силу своего рождения, либо в силу социального или имущественного положения принадлежит к той или иной группе. Если тщательно поработать с социальной структурой, то всех людей можно разложить по тем или иным ящикам: опишем все эти ящики, установим их иерархию — пойдем все французское общество. Еще одной характерной чертой историков той поры было стремление объяснять все изменения в обществе внутренними, а потому закономерными и предсказуемыми причинами. Доходило до парадоксальных вещей: Черная смерть 1347—1349 годов (пандемия чумы, опустошившая Европу) была завезена с Востока вместе с крысами на гонуэских кораблях, шедших из нынешней Феодосии. Вроде бы фактор исключительно внешний и случайный, как было внешним и случайным для индейцев появление конкистадоров. «Нет, — говорили историки, — дело в том, что общество в это время вступило в фазу кризиса, то ли в силу перенаселенности, то ли от того, что феодальные отношения зашли в тупик. Люди стали недоедать, организм их был ослаблен, и поэтому такая случайная вещь, как эпидемия, не случайно оказалась такой убийственной»^d.

Это было хорошее время для социальных историков. Их ценили. Они чувствовали себя важными и полезными членами общества. Они стремились открыть законы, с помощью которых можно будет не только описывать прошлое, но и предсказывать будущее. Прогностическая функция, давно признаваемая за историей, была как никогда выраженной.

Однако на смену «просто» социальной истории шли работы новой генерации. Новое поколение историков, чьи представители на рубеже 1960—1970-х годов возглавили знаменитый французский журнал «Анналы» (так называемые «третьи “Анналы”»), думало не совсем так, как их учителя. Они тоже начинали как социальные историки. Вот, например, Эмманюэль Ле Руа Ладюри, сделавший себе имя как историк-аграрник, долгие годы писал капитальный труд «Крестьяне Лангедока». Эта книга затрагивала большой период с XIII по XVIII века, хотя в ней предпринимались экскурсы и в более отдаленные эпохи. Автор изучал аграрные распорядки, социальные структуры, демографические процессы. Одним из первых среди историков всерьез занялся изучением влияния климатических изменений на общество. Предлагал вернуться к наследию Мальтуса, полагая, что в аграрном обществе плодородие почвы определяло пределы возможного роста населения, на демографические показатели влияли эпидемии и долгосрочные изменения климата (он одним из первых ввел термин «малый ледниковый период» для времени XVII—XIX веков). Таким образом, история крестьянского мира с его периодически повторяющимися социальными психозами, голодовками и прочими катаклизмами, по сути, является «неподвижной историей» или даже «историей без людей», коль скоро главные изменения вызывались либо климатическими сдвигами, либо микробами. В 1971 году Ле Руа Ладюри выступил с программной статьей, в которой помимо прочего утверждал, что «историк будущего будет программистом или его не будет вовсе», ратуя за «клиометрию» — историю, основанную на применении количественных методов.

Но не надо было верить ему на слово — Ле Руа Ладюри до сих пор не в ладах с компьютером, да и то, что он писал, меньше всего походило на «историю без людей». В 1975 году вышла самая известная его книга — «Монтайю, окситанская деревня», основанная на источнике, уже давно и хорошо известном. В начале XIV века инквизиция преследовала еретиков, укрывшихся в одной из пиренейских деревень. Расследование вел очень дотошный инквизитор Жак

Фурнье (ставший впоследствии папой Бенедиктом XII), который велел фиксировать абсолютно все показания крестьян, даже и не имевшие прямого отношения к делу. Традиционно этот источник использовался для истории церкви и ересей. Но Ле Руа Ладюри интересовала уникальная возможность взглянуть изнутри на мир средневековой деревни, на то, что творилось в умах средневековых крестьян. И такую возможность источник давал, коль скоро инквизитор интересовался содержанием самых доверительных бесед, добиваясь ответа на вопрос о том, что говорила о Троице одна кумушка другой. Ничего особенного она не говорила, но мы в итоге узнаем все деревенские сплетни, а также и то, что этот разговор шел в тот момент, когда одна собеседница искала паразитов в голове у другой. Выясняется, что крестьяне почти ничего не знают о своем сеньоре, но обеспокоены борьбой семейных кланов и что неформальным лидером деревни был местный священник — он же глава местных еретиков и страшный бабник. Мы узнаем, что ели крестьяне, как относились к своему жилищу, а также и то, что они, вопреки всем догматам, верили в переселение душ. Жизнь окситанской деревни обретает статус «тотальной истории», истории, где важным оказывается все — и питание, и семейные отношения и верования людей, и их взаимосвязь с природой.

Когда Ле Руа Ладюри передал рукопись издателю, тот был в нерешительности: текст гигантского объема, лишенный событийного драматургического стержня, казался совершенно неподъемным. Но неожиданно пришел грандиозный коммерческий успех — издание разошлось огромным тиражом; сразу же последовали переводы на иностранные языки. Этот жанр статичной истории оказался востребованным самым широким кругом читателей.

Еще раньше, в начале 1960-х годов, издательский успех пришел к книге «Средневековая цивилизация» Жака Ле Гоффа. В ней он описывал и социальные структуры. Но, чтобы их адекватно понять, нужно взглянуть на мир глазами средневекового человека, знать, что творилось в головах людей, как они воспринимали мир, как они чувствовали, какие у них были ценности — не те, о которых писали высокоученые церковные авторы, а молчаливо разделявшиеся всеми на бытовом уровне. Так потихоньку рождалось понятие «менталитет», которому было суждено блестящее, хотя и кратковременное будущее. Параллельно в Советском Союзе некоторые историки думали примерно о том же. Арон Яковлевич Гуревич, занимавшийся средневековой Северной Европой, постепенно

убеждается в том, что изучение генезиса феодальных отношений — это, конечно, очень важно и нужно, но для того, чтобы сделать это правильно, необходимо прежде всего понять систему ценностей людей, их мировосприятие, их картину мира. Шел к этому он своим параллельным курсом на своем собственном скандинавском материале, которого французские историки не знали.

Так потихонечку социальная история трансформировалась в то, что будет называться по-разному: социально-культурная история, новая социальная история, историческая антропология, а то и просто, без ложной скромности, *la Nouvelle histoire* — Новая история или Новая историческая наука.

В 1977 году выходит словарь «Новая история» под редакцией Жака Ле Гоффа. Это был словарь терминов, где были такие статьи, как «Экономическая история», «Демографическая история», «Историческая психология», еще много всего; но отсутствовала статья «Политическая история». И это, конечно, не просто забывчивость. Традиционно от истории ждали рассказа о войнах, о деяниях королей или иных политиков. Авторы словаря хотели подчеркнуть, что такая история вообще не должна интересовать «новых историков». Еще Фернан Бродель говорил, что события — это пена на гребне волн, а на самом деле все определяют глубинные морские течения, то есть история «большой длительности» — медленные изменения в экономике, в повседневной жизни людей. Вот почему политическая история представлялась этому авангарду исторического сообщества 1970-х годов чем-то безнадежно устарелым. Для этой «настоящей» истории важно было всё, а не только эволюция социальных структур. Идеалом являлась тотальная история, где все на всё влияло, где трудно было сказать, какие факторы главные, а какие второстепенные.

Приведу лишь один пример такой переоценки ценностей. Существовала такая средневековая практика — прекарый, когда один человек передает все свое имущество другому лицу, а взамен выговаривает себе некие условия. Прекарные грамоты были очень важны для марксистской теории генезиса феодализма, разработанной вполне в духе социальной истории. Грамота гласила: «Я, такой-то, дарую свое имение монастырю такому-то, а за это монастырь разрешает мне пользоваться моим имуществом». Из этого делался вывод: перед нами важный процесс социальной трансформации: свободное крестьянство превращается в класс феодально-зависимых держателей. Крестьяне не в силах самостоятельно вести

хозяйство и, теряя свободу, идут под власть сеньора, в данном случае — сеньора духовного. Но «новые» историки обратили внимание на другое: во-первых, достаточно часто выясняется, что прекарные грамоты составляют люди отнюдь не бедные, порой даже имеющие рабов. Во-вторых, они передают имущество не конкретному аббату, и даже не просто монастырю, а тому святому, которому посвящено данное аббатство. Значит, мотивация у человека совсем иная. Он обеспокоен прежде всего спасением своей души, он передает свое имущество, скажем, св. Петру, а взамен получает небесное покровительство. Обращение к внутреннему миру средневекового человека в корне меняет представление о социальных процессах⁶.

И таких примеров можно привести множество. Расширение «территории историка» (любимое выражение той эпохи) сулило неожиданные перспективы. Так, история Религиозных войн уже не описывалась только как борьба одной социальной группы с другой. Картина обогащалась нюансами. На выбор позиции в конфессиональном конфликте могло оказывать влияние множество факторов: например, если один город высказывался в поддержку религиозной реформации, то его торговый и политический соперник чаще всего предпочитал оставаться верным католицизму. Бывало, что к новой вере примыкал целый клан из чувства родовой солидарности, но нередко один брат оставался верен «вере отцов», другому открывались истины евангелического учения — так семья стремилась «подстраховаться» и при любом исходе спасти родовое имущество от конфискации. Американская исследовательница Нэнси Релкер, изучая пути распространения реформационных учений, обратила внимание на определяющую роль женщин — именно они оказывались наиболее восприимчивыми к речам проповедников новой веры, помогали им уйти от преследований, а затем обращали своих мужей и воспитывали детей в новом религиозном духе. Такой подход был одним из проявлений того, что чуть позже получит наименование «гендерной истории». Как видим, он сулил большие исследовательские перспективы. Очень внимательно в ту пору стали относиться к явлениям народной культуры: в них видели не только и не столько протест низов против социального гнета, но особый, «карнавальный», «перевернутый» взгляд на мир (не случайно в конце 1960-х и 1970-е годов на Западе открыли наследие М.М. Бахтина). Кстати, это был период, когда западные коллеги очень интересовались тем, как работают советские гуманитарии.

Когда у нас началась Перестройка, казалось, что теперь вот эта, то ли историческая антропология, то ли новая социальная история придет на смену историческому материализму, и тогда перед историками не будет преград.

Но оказалось, что звездный час западной социальной истории — что старой, что новой — давно миновал.

Еще в 1984 году вышла работа Франсуа Досса «Histoire en miettes» («История в осколках»), где говорилось, что никакой «тотальной истории» не получается, а единая «территория историка» распалась на массу мелких изолированных участков. Этому было много объяснений. Одно из них — чисто профессиональное. Например, А.Я. Гуревич, занимавшийся историей крестьянства на севере Европы, понял, что для создания работающей, недогматической социальной истории необходимо обратиться к мировосприятию средневекового человека. В конце концов его поиски приводят к «Категориям средневековой культуры» (1972), и затем он публикует еще много книг на эту тему, в глубине души по-прежнему полагая, что эти исследования необходимы для понимания средневекового общества в целом. Он снискал себе славу, особенно у молодых историков, которые уже могли не тратить время на изучение прекарных грамот или аграрных распоряжков, а сразу занимались средневековой культурой. То же можно сказать и о Ле Руа Ладюри — те, кто шли за ним, уже не тратили время в архивах, готовя что-то вроде «Крестьян Лангедока», они сразу изучали ментальность или сексуальность средневекового человека. Это было вполне самоценно, и они не считали необходимым и вообще возможным переходить к социально-экономическим проблемам. Общество как целое не было предметом их интересов.

Другое объяснение относится скорее к социологии науки. В науке должна происходить смена поколений, что всегда вызывает известные трудности, особенно если старшее поколение уходит не собирается. Когда ученых много и становится все больше, а мест на всех не хватает, начинается борьба за выживание. Так, например, Жорж Дюби в 1950—60-е годы ввел термин «феодалная революция», при помощи которого объяснял, почему Запад так рванул вперед начиная с XI в. века.¹ Эта теория получила широкое

¹ «Феодалная революция», или «феодалная мутация» заключалась в том, что публичная власть, до того принадлежавшая императору, перешла в руки местной знати — возвышавшегося класса рыцарей, монополизировавшего

распространение: она многое объясняла и была вполне удобна для преподавания. В конце 1980-х годов подросло новое поколение медиевистов, которое начало свергать с пьедестала «устаревшую» теорию «феодальной революции», говоря, что она многое упрощает, недостаточно подкреплена источниками; что термины, на которых эта теория основывалась, на самом деле датируются иной, более ранней эпохой. Так постепенно эта теория утратила привлекательность. Однако новой теории создано не было, а возникло несколько частных и не очень связанных друг с другом объяснений того, что происходило на Западе после распада Каролингской империи.

Вернемся к объяснению причин Религиозных войн. Многие по-прежнему искали их социальные интерпретации, но каждый выдвигал свою частную версию. Однако все более привлекательными становились призывы объяснять религиозное религиозным, а не социальным. Не так уж важно, какие социальные и экономические причины побуждали человека делать свой религиозный выбор. Ведь часто бывало так, что, когда ему говорили: отрекись от своего учения или ты погибнешь на костре, он выбирал второе. Причем тогда здесь социальные интересы, причем здесь экономика? Важен лишь внутренний мир человека, его страхи и надежды. И вот появляются работы Жана Делюмо, а позже и Дени Крузе, объясняющего религиозное насилие XVI века ростом отчаяния, порожденного страхом приближающегося Светопреставления. Нужна ли для таких интерпретаций социальная история?

Нельзя сказать, что с этого момента все начали объяснять причины Религиозных войн именно таким образом. Прежние концепции быстро не исчезают, люди продолжают разрабатывать их, но мода на них проходит. Хотя теперь мы знаем такое явление, как винтаж: старое не стоит списывать со счетов, оно может обрести вторую жизнь.

и власть, и военную функцию. Наглядным свидетельством этого были многочисленные замки, которыми с данного момента покрывается Европа. Если раньше общество делилось на свободных и несвободных, то теперь — на сильных и слабых, на «работающих» и «воюющих». Это очередное разделение труда приводит к интенсификации производства, и Запад начинает свое уникальное движение по восходящей линии. При том, что видное место в этой теории занимал анализ средневекового менталитета, она по своему типу была порождением классической социальной истории, разыскивая причины важнейшей мутации Запада в глубинных социальных процессах.

Важно отметить, что происходила не просто смена одних масштабных концепций другими. Происходило дробление «территории историка». Каждое направление достаточно быстро становилось самоценным и самодостаточным. Если гендерное направление первоначально было призвано более полно объяснить причины, например, Религиозных войн или революции 1917 года в России (трудно отрицать, что женский вопрос сыграл у нас важную роль), то достаточно быстро гендерной историей начинают заниматься потому, что на это есть спрос: открываются новые кафедры, даются исследовательские гранты. Или, например, столь многообещающие количественные методы. Они становятся все более изощренными и применяются не столько для выявления взаимосвязей исторического процесса, сколько для доказательства собственной виртуозности.

И так с 1980-х годов происходит почти со всеми отраслями исторического знания. Но, возможно, я слишком увлекаюсь частными объяснениями, тогда как причины могут быть и вполне онтологическими: изменяется мир, в прошлое уходит национальное, в прошлое уходит то, что называют «большими нарративами». Ну, например, история классово-борьбы. Кого сейчас занимает история классово-борьбы? Да и история национального государства — главный сюжет, занимавший французов по меньшей мере сотню лет, — начинает уступать историям меньшинств, локальных групп, отдельных семей.

Успехи исторической антропологии объяснялись не только тем, что она заимствовала антропологические (т.е. этнологические) методы исследования, но еще и тем, что в центре ее внимания оказывался человек. Прежнюю социальную историю упрекали в том, что человек в ней выступал по большей части как винтик больших социальных механизмов и процессов. Но вскоре историческую антропологию и историю ментальностей начинают критиковать за то же самое. Есть ментальности — коллективные представления, есть структуры повседневной жизни, согласно которым люди прошлого жили так-то и чувствовали то-то. Но где сам человек во всей своей индивидуальности, где его свобода выбора? Соперничество между исторической антропологией и микроисторией было перенесено и на российскую почву в виде полемики между двумя ежегодниками, издаваемыми в Институте всеобщей истории, — «Одиссей. Человек в истории» и «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». В 1998 году в Москве

вышла статья Михаила Бойцова «Вперед, к Геродоту» (потом она перепечатывалась неоднократно, был даже юбилей этой статьи в 2008 году), где автор, эпатируя публику, утверждал, что закончилась история образца XIX и XX веков, то есть та история, которую изучали, чтобы найти какие-то закономерности, позволявшие предсказывать будущее. Но ведь Геродот и Плутарх не для этого писали историю. «Прогностическая функция» истории была связана с «великими нарративами» — рассказами о национальных государствах, классах и сословиях, которые и были главными действующими лицами истории. Теперь же, в период глобализации, постиндустриальное общество не нуждается в таких рассказах; читателей занимает соразмерная им история — история отдельных людей, их чувств, символов. На Бойцова ополчились тогда многие. Он лишь посмеивался и продолжал время от времени публиковать свои провокативные декларации, что не мешало ему выступать с достаточно широкими обобщениями; например, он выпустил очень интересную книжку о репрезентации власти, о церемониях, обрядах. Кстати говоря, последняя четверть века продемонстрировала нам триумфальное возвращение политической истории. Когда-то Жак Ле Гофф не включил этот термин в словарь «новая история» как безнадежно устарелый, но в 1990-х годах сам выпустил объемную биографию короля Людовика Святого. Правда, это была уже другая политическая история, с учетом ментальностей, с учетом символики власти — процессов, церемоний, языка описаний. Вообще, о «языке власти» пишут сейчас очень многие. Как правило, эти историки уверены в том, что они нашли новый нетрадиционный подход, но на самом деле их так много, что оригинальным исследователям в пору ходить строем.

Что же касается судьбы прежних больших сюжетов социальной истории, то мне трудно удержаться от цитирования книги Николая Копосова со звучным названием «Хватит убивать кошек!»: «Кризис истории связан прежде всего с распадом основных исторических понятий — базовых категорий нашего исторического мышления. Идеи прогресса, цивилизации, культуры, государства, общества, классов и наций перестали казаться самоочевидными и утратили способность организовывать социальный опыт, в том числе и опыт исторического исследования. В театре современной микроистории классы, государства и нации размытой тенью появляются на

заднике сцены. Их выход к рампе вызывает свист в зале»¹. Красиво сказано. Но, на мой взгляд, сказано не совсем верно. Достаточно посмотреть хотя бы на Россию или на Украину, и язык не повернется сказать, что национальное не интересует историков. Это отнюдь не только восточноевропейская ситуация.

Но все же, если говорить о традиционных сюжетах социальной истории, не произошло ли с ней за последнюю четверть века того, что некогда случилось с королем Лиром, все раздавшим дочерям и оставшимся ни с чем?

Из социальной истории когда-то выросли гендерная история, историческая антропология, история ментальностей, микроистория, интеллектуальная история и многое-многое другое. А что осталось у социальной истории сегодня? Изучение классов и сословий? Ну вообще-то такие книжки продолжают выходить, и многие историки работают так, как будто бы ничего не произошло за последние лет тридцать. Хотя трудно сказать, что именно они сегодня являются главными «звездами» историографии. Задавались ли в этот период исторически вопросами о социальной обусловленности крупных исторически событий? Некоторые задавались. Но вот ответы на эти вопросы неожиданны. Выясняется, что Французская революция не была ни буржуазной, ни антифеодальной, ни даже антиабсолютистской. А вот Английской буржуазной революции точно не было, как не было и революции Нидерландской.

Как говорил персонаж одного из киевских авторов, «чего нихватишься, ничего у вас нет». С социальными причинами Октябрьской революции тоже возникли какие-то сложности. Мало кто ее объясняет как результат борьбы рабочего класса и крестьянства с эксплуататорскими классами. Возникают сложности и с интерпретацией последней революции — распада СССР — как результата действия социальных процессов. Егор Тимурович Гайдар писал, что Советский Союз распался из-за резкого изменения цен на нефть, вызванного тем, что американцы сумели договориться с Саудовской Аравией и резко опустили планку. И все. Здесь нет места социальным процессам. А Борис Олейник считал, что Советский Союз распался, потому что Горбачев — антихрист, о чем свидетельствует его родимое пятно².

Нужны ли тогда вообще понятия старой социальной истории, не говоря уже об истории социально-экономической? Интересны

¹ Копосов Н. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005. С. 61.

ли они кому-нибудь? В 2005 году по инициативе А.Я. Гуревича в Институте всеобщей истории провели круглый стол «Феодализм перед судом историков»¹. Сама идея его проведения и подготовки вызвала массу скепсиса — ну кто на него придет, раз понятие «феодализм» настолько устарело, никому не нужно, никто им не хочет заниматься, да и вообще пора забить осиновый кол в его могилу. Однако в зал набилось более ста человек. Вдруг выяснилось, что это очень востребованный термин, все хотели знать, что же такое феодализм, как его понимают сейчас. Весь вопрос в том, готовы ли сегодняшние медиевисты искать на него ответ.

Другой пример. В 2010 году вышла книга Бориса Миронова «Благосостояние населения и революция в имперской России»², с большим количеством таблиц и графиков. Миронов — один из самых известных специалистов по имперской России, автор книги «Социальная история России имперского периода», хорошо встреченной на Западе и весьма неоднозначно в России. В новой книге он цитирует моего любимого Ле Руа Ладюри, который в 1969 году опубликовал работу, где исследовал изменения физических параметров призывников на протяжении всего XIX века. Для России подобных источников сохранилось много, особенно для конца XIX — начала XX века. Физические данные рекрута или призывника зависят и от пренатального периода, от того, как питалась его мать в период беременности, и от того, как питался он сам в самом нежном возрасте. Анализ массового материала показывает, что физические данные русских рекрутов улучшаются — год от года они становятся выше и крепче. Это становится более заметным с 80-х годов XIX века, то есть это поколение, которое родилось после отмены крепостного права. Такая тенденция продолжалась до 1914 года. Миронов, ученый с базовым экономическим образованием, конечно, проверяет эти наблюдения другими выкладками. У него есть своя общая концепция, и он не скрывает своей задачи — «нормализовать» историю России, показать, что Россия развивалась в одном направлении с другими европейскими государствами, в стране шел процесс модернизации, конечно, окрашенный в специфические краски, но в целом вектор

¹ Одиссей. Человек в истории. 2006: Феодализм перед судом историков. Наука, 2006. См. также сборник: Феодализм: понятие и реалии. М., 2008.

² *Миронов Б.Н.* Благосостояние населения и революции в имперской России. М.: Новый хронограф, 2010.

прогрессивного развития не вызывает у него сомнений. И накануне революции не было никакой «мальтузианской петли», аграрного кризиса, вымирания деревни, вопреки писаниям тех, кого Миронов называет «большевистскими авторами». Он, кстати, оспаривает справедливость обвинений министра финансов Вышнеградского в «человеконенавистническом» лозунге, выдвинутом им перед угрозой голода 1891 года: «Недоедим, а вывезем!» Неурожаи и недоедание были, но не шли ни в какое сравнение с теми, что обрушатся на СССР в 20-е, 30-е и 40-е годы. Прочитайте эту книгу.

Кстати, на обложке первого издания — репродукция картины Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем», чтобы было сразу видно, как жил российский народ^g. Правда, Кустодиев рисовал эту купчиху в 1918 году, выражая тем самым ностальгию по минувшему миру. Но, с точки зрения Бориса Миронова, не было для русской революции социально-экономических причин, неразрешимых противоречий. Революция была следствием борьбы за власть между разными группами элит — или между властью и контрэлитой.

Лежит ли работа Миронова в области социальной истории? Безусловно, несмотря на то что ответы на традиционные вопросы у этого автора выглядят отнюдь не традиционно. Но, может быть, перед нами один из последних воинов на поле социальной истории (он начал публиковать свои работы свыше сорока лет назад) и оттого среди его противников много историков с богатым советским опытом?

Но самое интересное, что наиболее ожесточенными критиками концепции Миронова оказываются сравнительно молодые исследователи, связанные с издающимся по-английски журналом «Клиодинамика / Cliodynamics» (надо сказать, что это один из редких примеров востребованного во всемирном масштабе «продукта» российских современных историков). Среди них — Сергей Нефедов из Екатеринбурга, выступающий как специалист по долговременным демографическим процессам. Он тоже использует в своих исследованиях множество таблиц, рисует кривые Гаусса, гиперболы и параболы и приходит к совершенно противоположному выводу: о наличии в пореформенной России ярко выраженного аграрного кризиса, вызванного перенаселением. Этот сюжет, казалось бы, традиционной социально-экономической истории порождает сегодня полемику, и какую бурную! Интересно, что один из заголовков ответной реплики Миронова: «Ленин жил, Ленин жив, но вряд ли будет жить»^h.

Сергей Турчин (главный редактор «Клиодинамики», работающий в США), втягиваясь в полемику, говорит, что пореформенная Россия столкнулась не с «мальтузианской петлей» избыточного роста крестьянского населения, а со структурно-демографическим кризисом элит, с перепроизводством элиты. На примерах многих аграрных обществ Средневековья автор прослеживает циклы, венцом которых являются подобные кризисы,

Коллектив таких «макроисториков» состоит из весьма интересных людей. Не могу сказать, что они существенно влияют в данный момент на климат профессионального сообщества историков в России, но они весьма активны и неплохо известны в англоязычных странах, причем выступают с самыми неожиданными теориями, относящимися к самым разным регионам, периодам, проблемам. Но их объединяет, помимо использования математических методов, вера, что в истории действуют законы и что исследователи призваны устанавливать корреляции между различными сериями явлений.

Одна из книг этого направления так и называется: «Законы истории. Математическое моделирование развития мир-систем»¹. Можно сказать, что эти авторы так или иначе стилистически связаны с «клиодинамикой». Точно так же, как и коллектив трех авторов, в котором к арабисту А.В. Коротаеву присоединяются В.В. Клименко, введший в оборот термин «историческая климатология», и специалист по синергетическим подходам Д.Б. Пруссаков. В своей книге² они объясняют ни много ни мало, почему возник ислам. А возник он, потому что в Индонезии в VI веке произошло крупное извержение вулкана, о котором мы можем судить по данным гляциологических наблюдений в Антарктике. Облако от этого вулкана пронеслось через Индийский океан и накрыло Аравийский полуостров. Там резко изменились экологические условия, изменился климат, ухудшились условия для хозяйствования. Демонстрируя тезис о том, что история далека от линейности и одномерности, арабы перешли не к более сложной, а к более простой, племенной форме организации. Такая система была более экономичной. Но

¹ Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Законы истории. Математическое моделирование развития мир-систем. Демография, экономика, культура. 2-е изд. М.: КомКнигаURSS, 2007.

² Коротаев А.В., Клименко В.В., Пруссаков Д.Б. Возникновение ислама: социально-экологический и политико-антропологический контекст. М.: О.Г.И., 2007.

нужна была координация на межплеменном уровне (улаживание конфликтов, контроль над караванными путями, ответ на внешнюю угрозу со стороны могучих соседей — Ирана, Византии, Аксума). Роль координаторов брали на себя пророки. Одни были в большей мере связаны с иудаизмом, другие с христианством, третьи с зороастризмом или с манихейством. Но один из них, Мохаммед, оказался более независим от чужих религий и сумел добиться успеха.

И это только один из многочисленных примеров подобных подходов.

Можно ли говорить об успешном возвращении макроистории, той самой «истории без людей», истории, ориентированной на поиск объективных закономерностей, истории, базирующейся на междисциплинарном синтезе?

Можно, но с известной осторожностью. Книга «Возникновение ислама» вышла в начале 2007 года, но на нее так и не появилось ни одной рецензии — ни хвалебной, ни ругательной. Востоковеды ее просто не заметили. Историки на подобные книги смотрят в лучшем случае недоуменно: какие такие историческая климатология, структурно-демографические теории, клиодинамика, политическая антропология, кросскультурный анализ? Откуда они берут свои данные, не слишком ли много там допущений и экстраполяций?

Но сдвиг есть. Его явное доказательство — издание перевода книги микробиолога по образованию Джаред Даймонда «Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ»¹, за которую автор получил в 1997 году престижную Пулицеровскую премию в США. Через 13 лет ее наконец перевели на русский язык. Она обречена на шумный читательский успех, тем более что одновременно появилось два перевода этой книги, а сразу за этим — и перевод новой работы Даймонда «Коллапс»², посвященной экологическим катастрофам в истории. Труд Даймонда — это скорее макроистория, чем «микро», хотя персонажи книги — микробы. Это история человечества, написанная с позиции этих микроорганизмов. Но перед нами труд, который объясняет многое — неолитическую революцию, распространение письменности, эволюцию

¹ Даймонд Джаред М. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ. М.: АСТ, 2010.

² Даймонд Джаред М. Коллапс. Почему одни общества приходят к процветанию, а другие — к гибели. М.: Астрель; Corpus, 2011.

государственных форм, технический прогресс. Центральная идея заключается в том, что глобализация в рамках Старого Света (Евразия и Северная Африка) произошла много тысяч лет назад, когда начался неспешный обмен между регионами — технологиями, новыми видами одомашненных растений и животных, но главное — бактериями. Обмен этот таил в себе много бед, чреват был пандемиями, но в итоге принес жителям громадного региона бесценный дар — способность вырабатывать и передавать по наследству антитела, гарантирующие устойчивость к большинству инфекций. Именно этим объясняется быстрая депопуляция регионов, куда, начиная с XVI века, высаживался белый человек.

Трудно назвать такие книги исследованиями по социальной истории. Но налицо поиск закономерностей, стремление ставить глобальные вопросы и искать на них ответы, черпая материал из кладовых иных наук, организуя настоящий междисциплинарный диалог. Отсюда — появление и, главное, читательский успех подобных «всемирных» трудов. Так, например, книга математика Дэвида Козандея, в которой он задумывается о «Секрете Запада», пытается найти геополитические и социальные объяснения взлета европейской науки. Вышла книга под редакцией французского историка Патрика Бушрона «Мировая история XV века». И опять — шумный успех. В этом свете и проект написания новой «Всемирной истории», которым занимается Институт всеобщей истории РАН, выглядит сам по себе не таким уж и анахронизмом.

Значит ли это, что «праздник непослушания» закончился, все возвращается на круги своя и мы вернемся к «тяжелой материи социального»? Не совсем. Во-первых, потому, что вышеназванные подходы в отличие от «классической» социальной истории предпочитают как раз «внешние» объяснения — изменение климата, распространение микробов, комбинирование внешнеполитических факторов, соотношение плодородия почвы и демографического на нее давления. «Внутренние» причины присутствуют, но скорее как некоторый дополнительный, хотя и немаловажный фактор. Для многих средневековых стран (исламский мир, Китай) перепроизводство элиты было повторяющимся фактором. Среди элиты было распространено многоженство, а простолюдины не могли себе этого позволить. Когда ситуация уже соответствовала соответствующей формуле «один с сошкой, семеро с ложкой», начинались междоусобицы и восстания, чем пользовались новые завоеватели¹. В католической Европе все было иначе. Значительную часть элиты

составляло духовенство, дававшее обет безбрачия (целибат), для остальной знати действовала строгая моногамия (внебрачные дети были, но они лишались права наследования), причем и среди законных детей наследство не делилось поровну. Львиная доля доставалась одному из сыновей, чаще — старшему (майорат), иногда — младшему (минорат). Это сдерживало естественный рост числа «тех, что с ложкой».

Во-вторых, возвращаясь к проблемам социальной стратификации, многие историки делают это по-новому, стремясь не упустить из виду активную роль личности. Вот пример из моего собственного исследовательского опыта. Работая с нотариальными актами XVI века, я убедился, что вопреки нашим представлениям о традиционном обществе как жестко сословном, где «всяк сверчок знал свой шесток», человек мог иногда довольно существенно «подправлять» представления о своей социальной идентичности. В одном акте он именуется дворянином, а в другом — парижским буржуа, потому что ему так было выгоднее. Конечно, он не был абсолютно свободен в выборе социальной личины, человек должен был убедить своих контрагентов, что он — именно тот, за кого себя выдает. В результате его социальный статус зависел от сложных взаимодействий с другими людьми. Социальные структуры видятся теперь не столько в эссенциалистском, сколько в конструктивистском ключе. Для их анализа нужен учет персональной стратегии, человеческих отношений, роли языковых практик. Очень важно здесь слово «перформативность», которое мы пока не приспособились с ходу переводить на русский язык. «Как вы судно назовете, так оно и поплывет» — грубо говоря, в этом и есть суть перформативности. Речевой акт из простого средства коммуникации, отражающего некую «объективную реальность», становится структурообразующим элементом социальной реальности. И социальная история на новом этапе не может не учитывать эту важнейшую роль языка.

Роль больших групп в социальных процессах неопровержима, как неопровержимо и определяющее влияние этих социальных процессов на общество. Но при описании социальных групп важно учитывать не только их материальные обстоятельства, но и культурный код, объединяющий людей, даже если они являются горячими противниками друг друга. Важно не только объяснить, но и понять внутреннюю мотивацию человеческих поступков. Для этого надо взглянуть на мир глазами людей той

эпохи. В отношении все тех же причин Религиозных войн — на призыв объяснять религиозное религиозным — следует теперь ответ: «Это такой же анахронизм, как и объяснять религиозное через социальное». Ведь в то время вера никак не была отделена от общества — никто из людей, живших в XVI веке, ни католик, ни протестант, даже в самом страшном сне не мог представить и себя, и общество вне Веры. Понятия «общество» и «религия» появятся не ранее того момента, как распадется доселе единственно мыслимая форма человеческого существования — единая Церковь (не в смысле здания или организации, но как «община верных»). А этот момент в XVI веке еще не настал.

Итак, видно, что сюжеты социальной истории и даже «большие нарративы» вновь возвращаются. Но возвращаются обогащенными. Путь исканий последних тридцати лет был не напрасным — и историческая антропология, и изучение дискурсивных практик, и гендерные исследования или, например *aging* (изучение пожилых людей) — конечно, очень важны. Без этого нельзя. Но при условии, что это в конечном счете разрабатывается не только как «вещь в себе», но еще и для обогащения нашего понимания социальной истории.

Комментарий

Лекция, прочитанная 17 февраля 2010 года в Киеве, в Доме ученых, в рамках проекта «Публичные лекции “Політ.УА”».

Информационно-политический канал «Полит.ру» давно уже организует публичные лекции. В 2009 году я выступал в их лектории, рассказывая про рождение университетской корпорации. Вскоре после этого мне предложили выступить с лекцией на их киевской площадке — «Полит.уа». Выступление состоялось в феврале 2010 года, в Киевском доме ученых Академии наук Украины. После него была довольно-таки забавная дискуссия, которую я не включил в нынешнюю публикацию. Однако с ее стенограммой можно ознакомиться: <http://polit.ru/article/2010/03/23/history/>. Я снял также пассаж из начала лекции, где рассказывал о работе над подготовкой «Всемирной истории». Наши тома изданы, и теперь вполне очевидно, что социальная история дала удобный ракурс для сопоставления между собой разных цивилизаций и разных эпох.

К тому времени я уже несколько лет выступал в роли защитника социальной истории. И даже словосочетание «реванш социальной истории» уже использовал. Разбирая новые работы по истории средневековых университетов, я вдруг заметил, что они могут быть охарактеризованы

скорее как «социальная история интеллектуальной сферы», чем «история идей» или «история институтов» (см.: Уваров П.Ю. Университетская среда и политическая власть в Европе XII—XIII вв. — реванш социальной истории // Политическая культура в истории Германии и России. Кемерово, 2009. С. 175—190).

По прошествии пяти лет возвращение социальной истории представляется свершившимся фактом. И если мои декларации не обязательно брать на веру, то специальный выпуск журнала «Анналы» выглядит уже более весомым свидетельством интереса к, казалось бы, устаревшим проблемам (Annales: Histoire, Sciences sociales. N4 / 2013. Statuts sociaux).

^a Лучицкий И.В. Феодалная аристократия и кальвинисты во Франции. Киев, 1871; Он же. Католическая лига и кальвинисты во Франции. Киев, 1877. См. также переиздание «Феодалной аристократии...», осуществленное в 2012 году медиевистом С.И. Лучицкой, правнучкой киевского историка. Это был настоящий научный подвиг, ведь в XIX веке не принято было оформлять сноски так, как это принято сейчас, тогда довольствовались просто отсылкой к фамилии того или иного автора, порой даже не указывая страницу. Светлана Игоревна сумела отыскать все цитируемые издания и переделать научный аппарат согласно современным требованиям. Я называю это подвигом потому, что подобная трудоемкая, но очень полезная работа никем не будет учтена в соответствии с сегодняшними критериями оценки и эффективности деятельности ученого, его «публикационной активности».

^b Лучицкий И.В. Состояние земледельческих классов во Франции накануне революции и аграрная реформа 1789—1793 годов Киев, 1912. Эта книга также была переиздана в 2012 году Но на сей раз речь идет лишь о простой перепечатке.

^c *Les orders* часто переводят на русский язык как «сословия», но Р. Мунье возражал против этого. В его интерпретации *orders* не имели особого юридического статуса. Речь шла о группах, негласно наделенных определенным социальным престижем. Между собой *les orders* находились в отношениях иерархии, понятной современникам, но почти никогда не формализуемой.

^d В определяющей роли факторов внутреннего состояния страны по сравнению с внешними угрозами были уверены и строгие конфуцианские чиновники средневекового Китая. Вот как рассуждал придворный философ во время опустошительного чжурчженского вторжения 1112 году: никто не слышал, «чтобы угроза варварского нашествия зарождалась извне, когда нет к тому повода внутри страны. Как гласит поговорка:

колокол не загудит, пока не выпадет иней; колонна не отсыреет, пока не пройдет дождь. Одно зло порождает другое — таков непреложный закон. Так, у больного, когда он долго страдает от внутреннего недуга, изначальный эфир истощается, и в него отовсюду входит нечисть, от которой заболевают руки, ноги и кости... Поднебесная как раз и напоминает такого крайне истощенного больного... Если бы все внутри было наполнено жизненным эфиром, а процветание защищено от внешнего удара, откуда бы явиться беде? Ныне нашествие орд инородцев накликал не кто иной, как... первый министр, стоящий во главе залы высокого правления... Оказавшись не в состоянии помогать Государю в постижении нравственных истин, поощрении естественного начала и просвещения, а низжестоящим должностным лицам — во внедрении добродетельного правления, в охране народа и любви к нему, он пекся только о собственной корысти и жалованье, мечтал сделаться Вашим любимцем и укрепить свое положение».

^e Не следует думать, что первая концепция абсолютно ошибочна, а вторая абсолютно верна. Каждое из объяснений может быть справедливым применительно к каким-либо конкретным условиям. Иногда подобное прекарное дарение отражало стремление знатной семьи сохранить свое родовое имущество от раздробления между наследниками. Земли передавались «своей» церкви, находящейся под патронатом данной семьи, «своему» аббатству, во главе которого стоял какой-нибудь младший родственник. Церковное имущество затем могло предоставляться во временное пользование для неотложных нужд членов семьи и их союзников, но оставалось под контролем всего клана (Всемирная история: В 6 т. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока. М., 2012. С. 428).

^f Олейник Б.И. Князь тьмы. М., 1992.

^g Второе, исправленное и дополненное издание этой же книги (2012) украшено гораздо менее привлекательной картинкой на обложке.

^h См. посвященный полемике по поводу данной книги Б. Миронова специальный выпуск альманаха «История и математика» [вып. 7], изданный в виде своеобразной «коллективной монографии»: О причинах русской революции. М., 2010. В нем приведены статьи противников и сторонников концепции Миронова, включая и его собственные реплики. В 2013 году Борис Николаевич издал специальный труд, объединивший его полемические ответы оппонентам: Страсти по революции: Нравы российской историографии в век информации. М., 2013.

ⁱ Сказанное является иллюстрацией к постулатам арабского мыслителя Ибн Хальдуна, жившего на рубеже XIV—XV веков; его считают одним

из первых социологов и экономистов. На труды Ибн Хальдуна любят опираться «клиодинамики» и некоторые социологи. Профессиональные арабисты, как правило, предостерегают от неизбежных упрощений и настаивают на непереводаемости арабской средневековой философии на язык современных европейских социальных наук.

МЕЖДУ «ЕЖАМИ» И «ЛИСАМИ»: ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА ЛЕ РУА ЛАДЮРИ В СССР И В РОССИИ

Трудно сказать, что именно хотел сказать Архилох, обогатив западную культуру оппозицией: «Лис знает много, еж — одно, но важное», но эта классификация неоднократно применялась по отношению к творческим людям. Мы можем ее найти у Исайи Берлина¹, для которого лисами были Шекспир и Пушкин, а «ежами» — Достоевский и Ницше; и у Сержа Московичи, для которого эта пара зверей символизирует два лика исследователя². Пока ученый находится в поиске, он рыщет, не разбирая дороги, хитрит с методами, произвольно комбинирует разрозненные факты, поскольку главное для него — схватить добычу. Но все меняется, когда исследователь решит взяться за объяснение массы полученных результатов. Он, как еж, сворачивается в клубок и выпускает иголки, отвергая все, что противоречит его собственному мнению и ущемляет его. Свои результаты он рассматривает в контексте одной дисциплины и, исходя из единственной причины, ищет ключ к загадкам. С точки зрения Московичи, каждый исследователь временами предстает в одном из этих обликов. И все же трудно отрицать, что некоторые из нас в большей степени ежи, а другие — лисы.

Эммануэль Ле Руа Ладюри — классический «лис»: обладая завидной исторической интуицией, он не просто умеет находить материал в самых неожиданных местах, но всю жизнь смело вторгается на новые территории, прокладывая путь для будущих любителей междисциплинарных связей. Он один из первых всерьез занялся историей климата, соотнес данные хроник и налоговых описей с данными гляциологов, и даже сам, обзаведясь бензопилой, валил деревья на своем участке, чтобы постичь тайны

¹ Берлин И. Еж и лиса // История Свободы. Россия. М., 2001. С. 183—286.

² Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998. С. 22—24.

дендрохронологии. Он был сторонником применения радиоуглеродных методов датировки и в команде с физиками и химиками при помощи изотопов пытался определить происхождение серебра испанских монет, чтобы понять, когда именно серебро перуанских рудников в массовом порядке хлынуло в Европу. Был также энтузиастом количественных методов, но вместе с тем его можно причислить к числу «отцов-основателей» исторической антропологии. А вот в личине «ежа» его трудно себе представить. Недаром в советские времена его у нас объявляли противником исторического монизма и ярким представителем теории многофакторности. Трудно было представить, что, собрав в одну кучу всю свою добычу, он создаст на ее основе некую «теорию всего» и затем, ошестившись, будет оберегать свою стройную универсальную методологию.

Таким вот «лисыим» характером этого историка и объясняется название недавней конференции, посвященной его 80-летию, — «История, экология и антропология. Творчество Эмманюэля Ле Руа Ладюри перед лицом трех поколений исследователей»¹. Состав выступавших в роскошном зале фонда Зингер-Полиньяк напоминал Ноев ковчег: специалисты по истории климата, гляциологи, демографы, виноделы, специалисты по антропометрическим исследованиям, по исторической географии, аграрной истории, истории институтов, знатоки Ренессанса и любители травелогов, исследователи Религиозных войн и придворной культуры, специалисты по революционному террору. Но их соединение в одном месте оказалось вполне органичным, потому что всеми этими дисциплинами в разное время занимался юбиляр, который на протяжении двух дней конференции сидел в президиуме, сопровождая буквально каждый доклад своими комментариями², как всегда, непредсказуемыми и парадоксальными.

Подзаголовок конференции предполагал участие трех поколений историков — современников Ле Руа Ладюри, его учеников и учеников его учеников. Кроме того, одна из секций была посвящена восприятию его идей в разных странах, в частности — в Италии, Польше и России. Рассказать о рецепции творчества юбиляра в нашей стране пригласили меня, и я с радостью согласился, подготовив текст, который теперь предлагаю вниманию читателей.

¹ Histoire, écologie et anthropologie. Trois générations face à l'œuvre d'Emmanuel Le Roy Ladurie. Les 15 et 16 janvier 2010. С материалами конференции можно ознакомиться на сайте: http://www.dailymotion.com/playlist/x17ois_SINGER-POLIGNAC_1-oeuvre-d-e-le-roy-ladurie/1.

Но чтобы показать французам, какими путями шло знакомство российской аудитории с творчеством Ле Руа Ладюри, мне пришлось объяснять некоторые вещи, на мой взгляд, совершенно банальные. Я даже думал опустить эти пассажи в русском варианте текста. Однако, к моему удивлению, выяснилось, что именно они-то и стали откровением для французских коллег, которые потом признались мне, что совершенно не представляли себе условий работы советских историков. И я подумал, что если во Франции три поколения историков работают, хотя и по-разному, но примерно в схожих условиях, то в нашей стране уже выросла генерация, для которой особенности существования советской науки выглядят такой же экзотикой, как и диспуты средневековых схоластов. Поэтому я оставил текст без существенных изменений.

* * *

Работы Э. Ле Руа Ладюри получили первый отклик в СССР на рубеже 1960—1970-х годов. Надо напомнить, что советские историки обладали рядом важных особенностей. Прежде всего, бросается глаза, что людей, занимавшихся историей не своей страны, а историей Запада (особенно Франции) периода Средних веков и Нового времени, было неожиданно много и они пользовались большим престижем среди прочих коллег. Еще до революции 1917 года некоторые отличившиеся в этой области российские историки завоевали высокую международную репутацию, в особенности те, кто занимался историей крестьян — И.В. Лучицкий, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов, Д.М. Петрушевский. Уроженцам страны, где аграрный вопрос был необычайно острым, было что поведать западным коллегам об аграрном строе Средневековья и Старого порядка.

После революции эта традиция оказалась прервана; но когда в середине 1930-х годов. началось восстановление системы исторического образования, в ней достаточно важное место заняла медиевистика, чья хронологическая граница была теперь поднята вплоть до эпохи «буржуазных революций». Поле медиевистики лучше всего подходило для демонстрации преимуществ марксистского метода исторического познания. Только советская историография, вооружившись единственно правильным учением, могла ухватить суть средневекового общества, раскрыв «основной закон феодализма». Сделать это было проще на западном примере,

поскольку он был лучше изучен и лучше освещен в источниках. Обретенная марксистская методология давала ключ к правильному истолкованию истории всех остальных регионов мира — истории, безнадежно искаженной буржуазной наукой.

Оставляю в стороне особенности работы советских медиевистов: неизбежно-агрессивный тон полемики, в особенности — полемики с западными коллегами (методологий и научных позиций могло быть только две: правильная, то есть марксистская, и все остальные), невозможность командировок в изучаемые страны, страх репрессий и т.д.

С середины 1950-х годов «высокий сталинский стиль» понемногу стал смягчаться — стало возможным участие в международных коллоквиумах, из лагерей возвращались уцелевшие историки, было дозволено и цитирование зарубежных авторов без обязательного эпитета «реакционный буржуазный историк». В 1960-х годах стало допустимым говорить о некоторой вариативности трактовки прошлого, разумеется, в рамках единой марксистской концепции исторического материализма. Но после отставки Хрущева в 1964 году началось «ужесточение», ставшее особенно заметным после Пражской весны. В журнале «Коммунист» появилась статья, где обличались некоторые советские историки, в основном античники и медиевисты, увлекшиеся модными течениями структурализма. Многие ждали новой волны арестов.

И вот в этих условиях А.Д. Люблинская и В.Н. Малов пишут развернутую рецензию на объемистый и, пожалуй, самый значимый труд Ле Руа Ладюри — «Крестьяне Лангедока»¹. Эта рецензия носила положительный, местами даже восторженный характер. А.Д. Люблинская была наследницей старой петербургской школы, прекрасным знатоком источников и яростным противником схем Б.Ф. Поршнева. Ее ученик В.Н. Малов, ответственный секретарь редакции «Средних веков», в ту пору увлекался применением математических методов в исторических исследованиях. Помимо работ по палеографии он интересовался динамикой хлебных цен при Старом порядке. И хотя с некоторыми положениями Ле Руа Ладюри они были не согласны — например, с отсутствием полноцен-

¹ Люблинская А.Д., Малов В.Н. Рец. на кн.: E. Le Roy Ladurie. Les pausans (sic!) de Languedoc. Paris, 1966 (Bibliothèque générale de l'École Pratique des Hautes Études VI section). Э. Ле Руа Ладюри. Крестьяне Лангедока. Париж, 1966 // Средние века. Вып. 34. М., 1971. С. 317—323.

ного анализа социальных структур сельского мира, с увлечением психоанализом, способным превратить историка в психиатра, — в целом рецензенты пришли к выводу, что книга «рекомендуется советскому читателю». Эта рецензия была опубликована в 1971 году. В том же году географическое издательство в Ленинграде издало сокращенный перевод «Истории климата»¹. Однако следует помнить, что издательский цикл в СССР был длинным — и рецензия, и перевод готовились еще в 1969 году, если не раньше.

А с тех пор времена изменились — гайки закручивались всё туже. Вскоре В.Н. Малов, не проявивший должной идеологической бдительности, был смещен с должности ответственного секретаря «Средних веков». Больше научных рецензий на труды Ле Руа Ладюри до самого конца советской власти не публиковалось.

Зато его имя часто упоминалось в историографических обзорах. Так, в 1976 году на страницах журнала «Коммунист» была опубликована статья на тот момент наиболее авторитетного из советских историков Французской революции, А.З. Манфреда, где давался отпор поползновениям таких историков, как Ф. Фюре, Д. Рише и Э. Ле Руа Ладюри, взявших под сомнение антифеодальный характер революции XVIII века. Причем Ле Руа Ладюри отводилась роль лидера «новой школы». Но это вовсе не накладывало табу на анализ его работ, а как раз напротив; ведь, по выражению того же Альберта Захаровича, «стрелы, направленные против Французской революции XVIII века, целят дальше, — это стрелы и против Великой Октябрьской социалистической революции, могущественного Советского Союза, против мировой системы социализма, против рабочего и национально-освободительного движения, против всех демократических, прогрессивных сил, с которыми связано будущее человечества»². Перевод этого высказывания из плоскости идеологической в прагматическую означал следующее: изучать причины Французской революции крайне важно, поскольку такие штудии находятся на острие главного противостояния современности. В связи с этим пристального внимания заслуживает современная историография Французской революции, и в частности фигура Ле

¹ Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года. Л., 1971.

² Манфред А.З. Некоторые тенденции зарубежной историографии // Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983. С. 419. Цит. по: Чудинов А.В. Смена веков: 200-летие Революции и российская историография // Французский ежегодник, 2000. М., 2000. С.5—23.

Руа Ладюри как «вдохновителя ревизионистов». Тем самым повышался статус работ этого французского исследователя.

И действительно, работам экстравагантного французского историка отныне уделялось достаточно много внимания. В 1979 году вышла книга, посвященная основным тенденциям в новейшей французской историографии¹. Ее автор, М.Н. Соколова, ученица академика Е.А. Косминского, начинала свою исследовательскую деятельность как специалист по истории средневековой Англии, однако впоследствии переключилась на критику «буржуазной» историографии. Это был особый жанр, в целом поощряемый властями. Важно было показать «разложение» буржуазной науки и триумф метода исторического материализма. Но, как это бывало в средневековом богословии, яростная критика еретиков давала шанс составить представление об их взглядах. В ряду критикуемых ею авторов (Р. Мунье, Ф. Бродель, Ф. Фюре, Э. Лабрусс, Ж. Ле Гофф и др.) важное место занимал и Э. Ле Руа Ладюри. Обвинения в мальтузианстве, в отказе от исторического монизма в пользу многофакторности, в игнорировании классовой борьбы, в биологизме и итоговая констатация провала проекта тотальной истории не помешали Соколовой достаточно подробно ознакомить читателя с достижениями этого историка. Однако акцент был сделан на том, какой вред проистекает от столь безудержной междисциплинарности².

В.М. Далин, историк старшего поколения, неслыханный марксист, отсидевший в сталинских лагерях, знаток Французской революции, публикатор документов архивного фонда Гракха Бабёфа, выпустил в 1981 году книгу очерков о русских и французских исследователях, изучавших в XIX—XX веках историю Франции. В одном из очерков, посвященном судьбам школы «Анналов», нашлось место и «Крестьянам Лангедока». Виктор Моисеевич отдавал должное богатству использованных автором методов и разнообразию привлеченных источников (он даже объяснил русскому

¹ Соколова М.Н. Современная французская историография. М., 1979.

² «Следует отметить, что идеи Ле Руа Ладюри, хотя они и способствовали развитию некоторых более точных методов исследования, сыграли немалую роль в противоборстве марксистскому пониманию истории. Динамизму, в котором решающее место принадлежит массам, их борьбе за свои права, Ле Руа Ладюри противопоставил «структурообразующие факторы», «неподвижную историю», в основе которой лежит антиисторизм, отрицание роли исторического факта» (Соколова М.Н. Указ. соч. С. 292).

читателю, что такое *сotроix*^{b)}), но в целом вывод был таков: «... книга прекрасно написана, в ней бьется новая мысль, но стремление быть оригинальным приводит автора к поспешным выводам»¹. Главный упрек — сознательный отказ рассматривать в качестве главной сюжетной линии книги проблему генезиса капитализма во французской деревне. И вообще — явно недостаточное внимание проблемам социальной стратификации и социальной борьбы. Так, антианалоговая составляющая восстания камизаров на словах признается, но ей уделено лишь две страницы, тогда как различным крестьянским «неврозам» — целых шестнадцать. Далин подчеркивал отличие Ле Руа Ладюри от представителей «русской школы»: они сочувственно описывали трудную долю французских крестьян, а у французского автора, описывающего восстания как порождения мазохизма и истерии, этого сочувствия не видно. Далин весьма скептически отнесся к «клиометрическому манифесту» Ле Руа Ладюри, заявившему, что «историк завтрашнего дня будет программистом или его не будет вовсе»², и не без ехидства заметил, что за истекшие десять лет Ле Руа Ладюри так и не стал программистом, хотя и не перестал быть историком. В книге приведены возражения таких признанных мэтров западной экономической истории, как Б.Х. Сликер ван Бат и М. Морино, против выводов «Истории сельской Франции», обобщающего коллективного труда под редакцией Ле Руа Ладюри. Но самый главный упрек Далина состоял в том, что Ле Руа Ладюри симпатизирует «ревизионистам» истории Французской революции — Д. Рошу, Ф. Фюре и Д. Рише. Позиция автора «Историков Франции» — это позиция не огульного критика, но, по его собственным словам, — взволнованного сочувственного наблюдателя истории «Анналов», когда-то державшего в руках первый номер этого журнала и с тревогой следящего за его эволюцией. Далин приводил фразу М. Блока из «Странного поражения»: «Две категории французов никогда не поймут истории Франции: те, кого не волнует память о коронации в Реймсе, и те, кто без трепета читает о празднике Федерации», — и тут же продолжал: «...увы, к празднику Федерации клиометристы третьего поколения “Анналов” совершенно равнодушны. И в этом, может быть, особенно явственно сказывается и отход от направления “Анналов” М. Блока, Л. Февра и Ф. Броделя»³.

¹ Далин В.М. Историки Франции XIX—XX вв. М., 1981 С. 222.

² Там же. С. 232.

³ Далин В.М. Указ. соч. С. 249.

В 1980 году вышла книга Ю.Н. Афанасьева «Историзм против эклектики»¹, посвященная исключительно «школе “Анналов”». В отличие от Соколовой и Далина, Афанасьев не был «практикующим историком»: сразу же после университета он пошел на комсомольскую работу. И только уже совсем в зрелом возрасте, оставив поприще партработника, начал писать диссертацию по историографии. Само заглавие работы противопоставляло истинное и ложное знание. И хотя сегодня это противопоставление выглядит уже не столь явным (Морис Эмар не без гордости называет эклектику вполне подходящим термином для «стиля “Анналов”»²), в ту пору заглавие, как и общие выводы, казалось, не оставляли сомнений в позиции автора: современное состояние школы «Анналов» отражает усиление противоборства сил коммунизма и антикоммунизма, причем «третьи “Анналы”» представляют собой последнее усилие буржуазной науки в этом противостоянии.

Среди прочих историков Афанасьев отдавал должное и Ле Руа Ладюри, признавая, что тому удалось в «Крестьянах Лангедока» достичь уровня тотальности. Автор даже познакомил советского читателя с метким прозвищем, которое французская пресса дала Ле Руа Ладюри: «браконьер Клио». Однако пороки этого «браконьера» велики: стремление создать «историю без людей», апологетика антинаучного учения Мальтуса, проникновение биологии и натурализма в гуманитарные науки. В итоге получилась раздробленная история, не учитывающая специфику предмета исторической науки. В этой истории нет общества, которое обладает самостоятельным бытием, специфическим качеством целого, а не является механической суммой отдельных входящих в него субъектов³. Но любопытно, что для доказательства этой мысли автор взывал к авторитету не К. Маркса, Ф. Энгельса или даже Г.В.Ф. Гегеля, но А.Ф. Лосева. К сожалению, для будущих поколений исследователей советской культуры может оказаться утерянным этот особый семантический код, которым владели советские гуманитарии-«обществоведы». При абсолютной необходимости подкреплять

¹ Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. Французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. М., 1980.

² Эмар М. «Анналы» — XXI век // Одиссей. Человек в истории. 2005. М., 2005. С. 132.

³ Афанасьев Ю.Н. Указ. соч. С. 213.

свои мысли мнениями авторитетов, автор обладал некоторой свободой выбора — мог сослаться на решения очередного съезда КПСС, а мог на работы Антонио Грамши. Выбор говорил о многом. В данном случае А.Ф. Лосев хотя и был назван «советским философом» (благодаря чему его мнение вполне резонно противопоставлять буржуазным «электикам»), но советские-то читатели прекрасно понимали, что Лосева, ученика и последователя Павла Флоренского, при всем желании нельзя было считать марксистом. Пройдет еще несколько лет, и Лосева открыто начнут величать «русским религиозным философом». Уже одна эта деталь может указать на недогматический стиль работы Афанасьева, предпринявшего, по сути, весьма успешный анализ движения «Анналов». В отличие от Соколовой, он настаивал на единстве «Анналов», разглядел он и потенциальную угрозу бесконечной фрагментации исследования (о чем вскоре напишет Франсуа Досс¹). Видно было, что автор — весьма вдумчивый критик. И уже в этой книге с боевым названием можно было усмотреть зерна будущей научной эволюции Афанасьева.

Специальные историографические труды не были единственным каналом ознакомления советских историков со «школой Анналов», и в частности с трудами Ле Руа Ладюри. В СССР существовала параллельная сеть информации — информационные центры по естественным и общественным наукам, которые имели возможность выпускать особые реферативные журналы и сборники, содержавшие объективное, нейтральное изложение книг западных авторов. Эти издания не поступали в продажу, а распространялись по особым спискам в научные библиотеки, имея гриф «для служебного пользования», что либо освобождало их от цензуры, либо сильно облегчало ее условия. И что очень важно — с этими сборниками можно было ознакомиться в научных библиотеках.

Рефераты писали такие интересные историки, как А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный, А.П. Каждан. Они же с редактором серии А.Л. Ястребицкой выступали составителями сборников, подбирая для реферирования наиболее важные книги. Так я впервые узнал о «Монтайю — окситанской деревне» и о «Карнавале в Романе» — двух бестселлерах Ле Руа Ладюри 1970-х годов.

Эта параакадемическая деятельность была весьма характерна для формирования того, что Н. Копосов назовет «несоветской

¹ *Dosse F. L'histoire en miettes. Des «Annales» à la «nouvelle histoire». Paris, 1987.*

медиевистикой в СССР»¹, обозначив так группу гуманитариев, формально не порывавших связей с официальными научными структурами, но все дальше отходивших в своих работах от стилистики исторического материализма. Наиболее характерен в этом отношении пример скандинависта А.Я. Гуревича, в 1972 году опубликовавшего свою книгу «Категории средневековой культуры», где не было ни единой цитаты из классиков марксизма. Полуофициальные конференции и семинары, полуофициальные рефераты и рукописные переводы — на моих глазах формировалось нечто вроде исторической «контркультуры» со своей этикой, своим пантеоном авторитетов, в который входил и Ле Руа Ладюри. К «анналистам» относились с большим интересом, что не мешало их критиковать. Уже много позже Гуревич опубликует книгу «Исторический синтез и школа “Анналов”», где обобщит и то, что он ранее писал о Ле Руа Ладюри. Его анализ напоминал рецензию Люблинской и Малова. Видно, что пишет скорее «практикующий историк», чем историограф. Для Гуревича оригинальный стиль Ле Руа Ладюри — не второстепенное, но главное качество. И основную его заслугу он видит в умении раскрыть внутренний мир «немотствующего большинства»². Разбирая «Крестьян Лангедока» и «Карнавал в Романе», Гуревич вполне критичен, ему претит увлечение автора психоанализом, смелые параллели с современностью и даже недостаточное внимание к эволюции социальных отношений в деревне. Словом, он подмечает то же, что и другие советские историки. Но если для Далина и Афанасьева вина Ле Руа Ладюри заключалась в отходе от «линии Броделя», то для Гуревича недостатки в работах Ле Руа Ладюри объясняются именно негативным влиянием Броделя. Для Гуревича, воспевавшего историческую антропологию, монументальные сочинения Броделя были отступлением от поисков человека в истории, начатых Блоком и Февром. И заслуга «третьих “Анналов”» виделась ему в том, что Ле Гофф и Ле Руа Ладюри сделали важный шаг к возвращению человека в качестве основного центра исторического исследования, к утверждению «исторической антропологии»³.

¹ *Копосов Н.* (при участии Бессмертной О.). Юрий Львович Бессмертный и «новая историческая наука» в России // *Номо Historicus*. К 80-летию Ю.Л. Бессмертного. Т. 1. М., 2003. С. 131.

² *Гуревич А.Я.* Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993. С. 169.

³ «Если не ошибаюсь, он назвал себя где-то последователем Фернана Броделя. Я не склонен принимать это утверждение всерьез... Ле Руа Ладюри с самого начала пошел другим путем, путем историка, для которого история

Итак, мы наметили два основных маршрута, по которым осуществлялось знакомство русских историков с трудами Ле Руа Ладюри. Но было бы упрощением видеть в них его «врагов» и «друзей». «Друзья» порой были настроены критически, «враги» признавали неоспоримые заслуги. Разница была в акцентах, интонации и установках, но она диктовалась еще и законами жанра. Историографическое обозрение должно было показать тавтологическую несостоятельность буржуазной (или как эвфемизм — «немарксистской») методологии именно потому, что она была немарксистской. Но люди, действительно не принимавшие школу «Анналов», просто ничего не писали о ней или ругали, не анализируя¹. Во всяком случае, между двумя маршрутами вскоре наметилось сближение.

Уже статья Афанасьева в «Вопросах истории» (написанная еще до перестройки) намечала пути для такого сближения², тем более что он, пользуясь своим влиянием, готовил масштабный проект издания «Материальной цивилизации» Броделя. Оба маршрута пересеклись в 1989 году, когда усилиями Афанасьева, Гуревича и Бессмертного, а также нового директора Института всеобщей истории А.О. Чубарьяна была проведена масштабная конференция, посвященная юбилею школы «Анналов». По свидетельству очевидцев, ситуация немного походила на карнавальную инверсию — в президиуме

вещей представляет интерес лишь постольку, поскольку в ней выражается человеческая ментальность» (Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». С. 189).

¹ Примером такого отношения может служить «методологическая» статья ответственного редактора ежегодника «Средние века» (Данилов А.И. Историческое событие и историческая наука // Средние века. Вып. 43. М., 1980. С. 13—31), направленная против западных «структуралистов», особенно против Броделя, а косвенно — против их советских единомышленников. В этой статье Ле Руа Ладюри упоминается как сторонник версии о неподвижности европейской экономики XIII—XVIII веков, но цитируется в пересказе другого историка, в ту пору являвшегося заместителем главного редактора того же издания, см.: Чистозвонов А.Н. Валовый доход крестьянских хозяйств и государственное налогообложение в Голландии в начале XVI века // Средние века. Вып. 42. М., 1978. С. 84—97. Но и в той, на сей раз не «методологической», а конкретно-исторической статье работа Ле Руа Ладюри цитировалась лишь однажды, да и то речь шла вовсе не о «Крестьянах Лангедока» и даже не об «Истории сельской Франции», а о программной статье в «Анналах» про «неподвижную историю».

² Афанасьев Ю.Н. Вчера и сегодня «Новой исторической науки» // Вопросы истории. 1984. № 8. С. 24—37.

вчерашние «невыездные» историки, а представители советского историографического истеблишмента — в зале, на правах зрителей и статистов¹. Советские историки обсуждали пути синтеза лучших традиций марксистского направления с достижениями школы «Анналов». Гости вежливо кивали головами. Среди французских звезд первой величины был и Ле Руа Ладюри.

Здесь можно было бы поставить точку — это был триумф...

Марксизм-ленинизм как единый метод всех советских историков рухнул с еще большим шумом, чем Берлинская стена. Но ни ученые, ни преподаватели не могли существовать без надежного каркаса цитат, без пантеона авторитетов. В наш Институт всеобщей истории приходили встревоженные письма: «Мы поняли, как не надо писать историю и как не надо ее преподавать. Но вы должны срочно нам объяснить, как теперь ее надо преподавать!» Одним из вариантов ответа на этот вопрос было желание писать историю так, как учит «правильный» научный метод школы «Анналов». Мэтров не только «первых» и «вторых», но и «третьих» «Анналов» заставили играть несвойственную им роль Маркса—Энгельса—Ленина, начав цитировать по каждому поводу. В РГГУ — университете, созданном Ю.Н. Афанасьевым в здании бывшей Высшей партийной школы, — был основан Центр исторической антропологии им. Марка Блока². Он был призван стать форпостом распространения нового подхода к истории, идущего на смену устаревшим историческим школам, над которыми тяготел первородный грех советского марксизма.

Впрочем, это была всего лишь тенденция, поскольку школа «Анналов» менее всего подходила на роль «всепобеждающего учения». Для того чтобы работать с такими авторитетами, требовалось искусство куда более тонкое, чем у средневековых глоссаторов. И Ле Руа Ладюри был для этого одним из наименее подходящих авторов. Одни ссылались на него как на апологета «истории без людей»; другие — как на борца за «возвращение человека в историю»; третьи — как на сторонника неподвижной, несобытийной истории; четвертые, наоборот, — как на мастера реконструкции исторического события. Одни провозглашали его зачинателем «истории ментальностей» и отцом-основателем «исторической антропологии», другие же видели в нем верного представителя микроистории на французской почве.

¹ *Консов Н.* (при участии Бессмертной О.). Юрий Львович Бессмертный и «новая историческая наука» в России... С. 143.

Превращения в классика «советского образца», к счастью, не произошло. Ле Руа Ладюри оказался слишком неудобен для этого, слишком уж противоречив. Но и с ним, и с другими «анналистами» происходила типичная процедура превращения в классика современного западного типа — цитируемого, но не читаемого.

Да и читать его по-русски было довольно сложно. В 1993 году перевели наконец на русский язык его статью «Неподвижная история», опубликованную в альманахе *Thesis*, взявшем на себя в новых условиях функции прежних реферативных сборников. До сих пор ссылки на Ле Руа Ладюри в Рунете в основном относятся к этой статье¹.

Альманах *Thesis* просуществовал недолго. Но программа «Пушкин» французского правительства, призванная облегчить издания французских авторов на русский язык, а также плодотворная деятельность программы *Translation project* Центральноевропейского университета и других институтов, связанных с фондом Сороса, вызвали целый вал изданий французских авторов. «Короли-Чудотворцы» и «Феодалное общество» Блока, «Время соборов» Дюби, две книги Арьеса, десяток книг Ле Гоффа, три эпопеи Броделя в девяти томах, но долгое время — ни одной книги Ле Руа Ладюри.

Это легко объяснимо. Такого автора очень трудно переводить, но не из-за сложного языка (по сравнению с Фуко или Рикёром он пишет очень просто), а из-за «лиських» особенностей его стиля. Он постоянно вторгается на территории других дисциплин, проводит смелые аналогии, играет неожиданными метафорами, приближаясь к стилю Мишле и, что еще хуже, постоянно взывая к эрудиции читателей. Для иностранного потребителя его трудов, сколь ни был бы хорош переводчик, обязательно нужны пространственные комментарии и научный редактор.

Наконец, в 2001 году в Екатеринбурге издали «Монтайю...»². Это огромный том. Для перевода он непросто, помимо прочего в тексте много специфически окситанских слов, масса сельскохозяйственных терминов. И вся эта работа шла на фоне кризиса, вызванного дефолтом. Надо отдать должное В.А. Бабинцеву, который направил свой перевод в Институт всеобщей истории, где

¹ Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история // *Thesis: Теория и история экономических и социальных институтов и систем*. Вып. 2. М., 1993. С. 153—173.

² Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294—1324) / Пер. с фр. В.А. Бабинцева и Я.Ю. Сенцова. Екатеринбург, 2001.

опытный комментатор Д.Э. Харитонович взялся быть научным редактором и автором примечаний, обращаясь за консультациями ко многим медиевистам. В итоге перевод получился адекватным и удобочитаемым. Во всяком случае, по нему наши преподаватели охотно учат студентов. А если пуристы недовольно морщатся над отдельными абзацами, то их можно отослать к переводу следующего труда Э. Ле Руа Ладюри — «Королевской Франции», опубликованной в 2004 году. Любопытно, что выпустило эту книгу солидное московское издательство с хорошим советским стажем¹. Но текст производит впечатление джунглей, куда не ступала нога человека. Советник Парижского парламента Ан Дюбур, казненный в 1559 году, например, превратился в мученицу Анну дю Бург, «мужественную руководительницу мелких протестантских фракций в Парламенте», а *Le Quart Livre* (Четвертая книга) «Пантагрюэля» в известное сочинение Рабле «Четверть ливра»¹. Самое пикантное, что и это издание финансировалось за счет программы «Пушкин», то есть из кармана французских налогоплательщиков. Рынок и свобода привели к тому, что институт научного редактирования канул в Лету как уродливое порождение тоталитаризма. Увы, это в какой-то мере относится и к изданию «Регионов Франции», принятому уважаемым мною издательством РОССПЭН, которое почему-то на сей раз решило сэкономить на редакторе². В отличие от «Монтайю...», ни «Королевская Франция», ни «Регионы...» не вызвали особой реакции российского читателя.

Помимо падения культуры перевода и книгоиздания, сложность восприятия творчества Ле Руа Ладюри в современной России можно объяснить и тем, что для адекватного его понимания надо знать реалии французской истории, историографии, культуры. Если тридцать лет назад таких людей в нашей стране было немало, то сегодня ситуация совсем иная. Как мамонты, вымерли историки,

¹ Ле Руа Ладюри Э. История Франции. Королевская Франция. От Людовика XI до Генриха IV. 1460—1610 / Пер. с фр. Е.Н. Корендясова и В.А. Павлова. М., 2004. С. 187, 190.

² Ле Руа Ладюри Э. История регионов Франции. Периферийные регионы Франции от истоков до наших дней / Пер. с фр. М.Б. Ивановой. М., 2005. См., например: «Более тысячи колонистов насадили таким образом в волюнтаристской манере генуэзское присутствие, установившееся над высоким мысом Бонифачо, маленькой почкой в известковой рудной жиле, напоминавшем скалы Кента, контролировавшим южное направление, как Дувр был «воротами Альбиона»» (С. 187).

занимавшиеся аграрной историей Франции, да и вообще — экономической историей. Мало кто может теперь оценить эмпирическое богатство работ этого «браконьера Клио». Кроме того, исчезло само стремление с любопытством заглядывать в дырки «железного занавеса». Поиск методологических ориентиров ведется в основном уже в иной плоскости, а в условиях лингвистического поворота и деконструктивизма автор, открыто признающийся, что его «вещи» интересуют больше, чем «слова», кажется смешным анахронизмом. Ле Руа Ладюри продолжают цитировать часто, но цитаты эти взяты, как правило, из вторых рук. Парадоксально, что его, известного «философоба», охотно цитируют «историсофы» и «методологи», преподаватели теории и методологии исторического знания. Труды историка, буквально «помешанного» на работе с первоисточниками, используют у нас в основном люди, не имеющие опыта архивных изысканий и работы с эмпирическим материалом. Стоит ли удивляться, что российский читатель ничего не знает о его исследованиях, посвященных Сен-Симону¹ или Платтерам², которые широко обсуждались во Франции в последние двадцать лет.

Но мне не хотелось бы заканчивать свой рассказ брюзжанием. На самом деле идеи Ле Руа Ладюри присутствуют сегодня в трудах российских ученых в гораздо большей мере, чем это может показаться на первый взгляд.

Приведу лишь несколько примеров.

1. В ту самую эпоху, наступившую с конца 1980-х годов, когда все кинулись искать новые авторитеты, большую популярность приобрели идеи Л.Н. Гумилева. В свое время его с полным основанием можно было бы отнести к уже упомянутой «неофициальной советской науке»; да и главное его теоретическое сочинение «Этногенез и биосфера земли», хотя и защищенное у географов, было не опубликовано, но депонировано, оказавшись все в той же «серой» зоне, что и реферативные сборники ИНИОНа. Доказывая связь главного субъекта истории — этноса — с климатическими, географическими, генетическими факторами, Гумилев решительно расходился с историческим материализмом. Сегодня он стал знаменем евразийцев: его именем назван университет в Астане, памятник ему стоит в центре Казани. В глазах современного сообщества историков он — фигура, мягко говоря, неоднозначная. Но для нас

¹ *Le Roy Ladurie E. Saint-Simon ou Le système de la Cour. Paris, 1997.*

² *Le Roy Ladurie E. Le siècle des Platter. 1499—1628. T. 1—3. P., 1995—2006.*

важно, что именно Гумилев первым в нашей стране опубликовал рецензию на русский перевод «Истории климата»¹ в журнале «Природа». Впоследствии он часто ссылался на Ле Руа Ладюри в своих обобщающих работах, в которых старался набросать общую теорию этноса, рассказать об изменении уровня Каспийского моря или об отношениях Руси со Степью. Лев Николаевич ушел из жизни четверть века назад, но, учитывая популярность его работ, можно сказать, что благодаря Гумилеву происходит постоянная реактуализация идей Ле Руа Ладюри.

2. Сравнительно недавно, в 2007 году, А.В. Коротаев, В.В. Клименко и Д.Б. Пруссаков предложили оригинальную теорию возникновения ислама². Авторы констатировали катастрофическое изменение климата в Аравии VI века, вызванное извержением вулкана в Индонезии (о чем, в частности, свидетельствуют гляциологи, изучавшие антарктический шельф). Сокращение «потолка возможностей» привело к тому, что существовавшие на Аравийском полуострове достаточно сложные государственные или протогосударственные структуры оказались слишком «дорогим удовольствием» и арабские племена перешли к более экономичной кланово-племенной организации. Но для урегулирования отношений между кланами, мобилизации их для решения важных задач (в условия экспансии соседних «сверхдержав» — Ирана, Византии, Аксума) требовались межклановые и межплеменные посредники. Их роль выполняли многочисленные пророки. Мухаммед был одним из них, в силу ряда причин более удачливым.

В таком подходе без особого труда можно увидеть черты «стиля Ле Руа Ладюри». В этой работе нет прямых ссылок на Ле Руа Ладюри, однако В.В. Клименко известен как создатель дисциплины, которую он именуется «исторической климатологией», объясняющей в том числе причины взлетов и падений мировых империй³. И он среди авторитетных исследователей, заложивших основы системного подхода к влиянию климата на историю, называет и Ле Руа Ладюри с его «историей климата». Другой автор упомянутой книги

¹ Гумилев Л.Н. От истории людей к истории природы: рец. на кн.: Э. Ле Руа Ладюри. История климата с 1000 года / Пер. с франц. Л., 1971 // Природа. 1971. № 11. С. 116—117.

² Коротаев А.В., Клименко В.В., Пруссаков Д.Б. Возникновение ислама: социально-экологический и политико-антропологический контекст. М., 2007.

³ Клименко В.В. Климат. Непрочитанная глава истории. М., 2009.

о возникновении ислама — востоковед А.В. Кортаев — также опирается в своих исследованиях на «браконьера Клио», но уже как на одного из «отцов-основателей» науки о демографических циклах доиндустриальных обществ, сформулированной в «Крестьянах Лангедока»¹.

3. Сергей Нефедов, уральский историк, занимающийся факторным анализом, воссоздает историю демографических циклов, распространяя свои наблюдения на всю Евразию. Он солидаризируется с Ле Руа Ладюри в том, что демографические изменения нельзя связывать лишь с климатическими факторами. Факторный анализ позволяет ему, в частности, сделать важный вывод о том, что русская деревня конца XIX века страдала от недоедания, вызванного в первую очередь демографическими процессами — аграрным перенаселением².

4. Борис Николаевич Миронов — историк старшего поколения, автор нашумевшей в свое время «Социальной истории Российской империи»³, основная идея которого заключается в «нормализации» русской истории. Автор отстаивает тезис, что при всех национальных особенностях развитие российского общества шло примерно в том же направлении, что и развитие других модернизирующихся стран Запада. И в этом смысле революция 1917 года скорее была нарушением естественного хода вещей. Но в своем последнем исследовании, посвященном благосостоянию населения накануне революции⁴, Б.Н. Миронов избрал отправной точкой антропометрические данные — сведения о росте и массе тела сотен тысяч рекрутов и призывников за последние полтора столетия существования Российской империи. Эти данные свидетельствуют о неуклонном улучшении физических показателей крестьянского населения, ставшем особенно заметным после реформ Алексан-

¹ Кортаев А.В. Долгосрочная политико-демографическая динамика Египта. Циклы и тенденции. М., 2006. С. 83.

² Нефедов С.А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург, 2007. С. 125—127; Он же. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. Екатеринбург, 2005.

³ Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 1999. Т. 1—2; 2-е изд., испр. — СПб., 2000.

⁴ Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века. М., 2010.

дра I. Подкрепляя свою гипотезу множеством статистических данных, Б.Н. Миронов приходит к выводу об ошибочности считать причиной революции мальтузианский кризис (аграрное перенаселение): причины ее, считает он, лежат в сфере политической борьбы внутри групп элиты или между элитой и контрэлитой. Для нас важно, что и на сей раз отправной точкой для автора стало старое исследование Ле Руа Ладюри, посвященное перспективам применения количественных методов к анализу антропометрических данных французских призывников¹.

Таким образом, идеи Ле Руа Ладюри оказываются востребованными в России скорее «лисами», чем «ежами»^е. Единства мнений между ними ждать не приходится², такие люди редко ходят строем, и они никогда не склонны затушевывать имеющиеся между ними научные и даже идеологические противоречия. Но есть между ними и общее — они в чем-то похожи на Ле Руа Ладюри. Они-то и являются его благодарной аудиторией.

Комментарий

Ле Руа Ладюри 80 лет исполнилось летом 2009 года. Но торжественный коллоквиум в его честь состоялся позже — 15—16 января в роскошном здании фонда Зингер-Полиньяк в Париже. О престиже мероприятия может свидетельствовать и подробная трансляция — с ее ходом можно и сегодня (весна 2014 года) ознакомиться по адресу: http://www.dailymotion.com/video/xbzg5h_1-oeuvre-d-e-le-roy-ladurie. И этот парад знаменитостей действительно стоит посмотреть.

Текст моего выступления был опубликован по-русски во «Французском ежегоднике»: Французский ежегодник 2010. М., С. 75—92, а вскоре вышел и по-французски: Ouvarov P. La perception de l'oeuvre d'E. Le Roy Ladurie en URSS et en Russie // Histoire, écologie et anthropologie Trois générations face à l'oeuvre d'Emmanuel Le Roy Ladurie. Paris, 2011. P. 411—425.

¹ Bernageau E.N., Le Roy Ladurie E., Pasquet Y. Le conscript et l'ordinateur. Perspectives de recherches sur les Archives militaires de XIX^e siècle français// Studi Storici. 1969. Vol. 10. N 2. P. 260—308.

² Так, на страницах электронного журнала «Клиодинамика» развернулась ожесточенная полемика между сторонниками С.В. Нефедова и Б.Н. Миронова. Приведу заголовок лишь одного из ответов Миронова оппоненту: «Ленин жил, Ленин жив, но вряд ли будет жить» http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1.

^a Надо знать неподражаемую манеру Ле Руа Ладюри. Он имеет обыкновение выкладывать вокруг себя клочки бумаги (говорят, что раньше он использовал даже билетки на метро, однако в последние годы зрение его ухудшилось, и он предпочитает более крупный формат) и быстро-быстро наносит на них какие-то пометки. Затем берет слово, раскладывает свои бумажки на столе как пасьянс и высказывает достаточно развернутые и, как правило, неожиданные замечания.

^b Так называли на юге Франции древние земельные кадастры.

^c Полное наименование: «Российско-французский учебно-научный центр исторической антропологии имени Марка Блока».

^d Это было издательство «Международные отношения».

^e В 2012 году Ле Руа Ладюри присвоили наконец звание «почетного доктора» Российской академии наук.

ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИЕ ЗАМЕТКИ О СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Социальная история имеет репутацию основы научного исторического знания. Но привилегированным положением она обязана в немалой степени размытости своих границ. При известной доле желания любое исследование можно отнести именно к этой проблематике, посвящено ли оно биографии какого-нибудь монарха, истории какой-либо войны или анализу какого-нибудь политического трактата. Трудно представить себе историка, не занимающегося обществом или, по крайней мере, «человеком и обществом». Но при этом достаточно часто звучали и звучат заявления о том, что «социальная история умерла», проект социальной истории провалился, исследовательское поле социальной истории исчезает, ее функции оказались исчерпаны и т.д. Правда, ради политической корректности следуют разъяснения, что речь идет о классической старой социальной истории, а не о современных ее инкарнациях, будь то «новая культурная история», «культурная история социального», микроистория и т.д.

На этом фоне прогнозы о неизбежности нового обращения к классической проблематике социальной истории могут в лучшем случае показаться непонятно на чем основанным оптимизмом, а в худшем — как раз понятным ретроградством, достаточно распространенным в кругах наших историков, не обременяющих себя излишней информацией о новейших методологических исканиях.

Стоит уточнить, о каком понимании социальной истории идет речь. Есть расширительная трактовка, согласно которой социальными историками можно считать всех, полагавших, что за значимыми событиями и изменениями в истории лежат некие глубокие причины, несводимые только к игре случая или к особенностям характера исторических деятелей. В этом смысле социальную историю писали и Карамзин, и Гизо, и даже Фукидид, поскольку, как говорил Люсьен Февр, «история социальна в силу своей природы»¹.

¹ «Существует история, которая является социальной в силу самой своей природы. История, которую я считаю способом познания различных сторон

И есть более узкая трактовка, исходящая из необходимости концентрировать внимание на изучении социальных структур, социальных иерархий и процессов, чтобы тем самым выявить «глубинную», а следовательно, «истинную» подоплеку всех важнейших изменений и событий. Именно социальная история в этом узком смысле слова превратилась к середине XX века в особую субдисциплину, рассматриваемую как своеобразный залог научности истории.

Отмеченные выше инвективы адресованы в основном этому узкому пониманию социальной истории, и их нельзя назвать бесосновательными. Однако у такой социальной истории остается и немало приверженцев. При этом и «друзья», и «враги» социальной истории исходят из одной и той же презумпции: в центре научной картины прошлого лежит некое давно уже доказанное базовое знание о социальной структуре изучаемого общества. Прогресс исторической науки возможен лишь на периферии этого знания^а. Разница заключается в оценке значимости научного багажа классической социальной истории: одни считают его бесполезным балластом, другие отводят роль «золотого запаса». В обоих случаях предполагается, что знания о социальных структурах и социальных отношениях установлены раз и навсегда. Достаточно историку протянуть руку и достать их из закровов, чтобы то ли почтительно апеллировать к их авторитету, то ли с презрением отбросить прочь.

Однако сегодня становится все более очевидным, что закрома социальной истории пусты. Можно указать на такой, казалось бы, досконально изученный предмет, как социальная (классовая или сословная) структура Российской империи. При ближайшем рассмотрении выясняется, что, хотя исследователи в большинстве своем не видели здесь принципиальных сложностей¹, в источниках картина предстает несколько иной, требующей иных подходов². Что же тогда говорить о других периодах и других регионах!

деятельности людей прошлого и их различных достижений, рассматриваемых в соответствии с определенной эпохой и в рамках крайне разнообразных, и все-таки сравнимых между собой обществ (это аксиома социологии) заполняющих поверхность земли и последовательность веков... Люди — единственный подлинный объект истории» (*Февр Л.* Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 25).

¹ *Иванова Н.А., Желтова В.П.* Сословное общество Российской империи (XVIII — начало XX в.). М., 2009.

² *Каменский А.Б.* К проблеме сословности в России XVIII века (воспоминания и размышления) // А.М.П. Памяти А.М. Пескова. М., 2013. С. 79—93.

Быть может, проблемы изучения социальной структуры уже и не требуют внимания, безнадежно устарев, как и вообще все «большие понятия» социальной истории? Но оказывается, что от постоянных апелляций к «федерализирующему центру» социальной истории не в силах отказаться ни обыденное, ни научное сознание. Для того чтобы, например, доказать, что Французская революция не была ни буржуазной, ни антифеодальной, ни антиабсолютистской, а Английской революции и вовсе не было, надо для начала опереться на общепринятые на сегодняшний день представления о том, что такое буржуазия, феодализм, абсолютизм и революция. Но опереться здесь не на что, современных общепринятых понятий нет, и бороться оказывается просто не с чем.

Журналисты, политологи и историки и, что немаловажно, внимающая им аудитория не способны в своих объяснениях исторических или текущих событий не руководствоваться принципом *qui prodest*, видя в этих событиях результат действия неких сил, групп или институтов. Но для этого надо иметь четкое представление о социальных структурах, которое также отсутствует.

Почему так произошло? Надо понимать, что все важные инновации, приводившие к радикальному расширению круга привлекаемых источников и к изменению характера вопросника, изначально не являлись самоцелью, но призваны были помочь социальной истории. Вводя понятие «ментальностей», Ж. Ле Гофф и А.Я. Гуревич были уверены, что без учета этого фактора наше знание о средневековом обществе будет ущербным; когда Н. Рёлкер изучала роль женщин в распространении кальвинизма, она хотела сделать социальную историю французской Реформации более полной; когда К. Гинзбург рассматривал уникальную историю мельника-еретика, он намеревался обратить внимание на ранее недооцененные историками черты итальянского общества XVI века. В этих и других случаях речь шла об историках-практиках, накопивших солидный эмпирический материал, нуждавшийся в осмыслении. В итоге же предполагалось открытие новых возможностей, позволяющих лучше отвечать на важнейший вопрос социальной истории, сформулированный когда-то Георгом Зиммелем: «Как возможно общество?»

Однако очень скоро включались механизмы, неплохо описанные социальной историей науки: новые площади расширявшейся «территории историка» обносились заборами, за которыми высились обособленные научные школы и направления, наделенные

своим языком и своей системой авторитетов. Среди них — история ментальностей, гендерная история, микроистория, историческая антропология, климетрия, историческая когнитивистика, нарратология, потестарная имагология и многое другое. Каждое из направлений становилось все более самодостаточным. Количественные методы все чаще применялись ради количественных методов, рассуждения о методе велись ради рассуждений о методе. Что же касается классической социальной истории, то она все больше походила на короля Лира, все раздавшего неблагодарным дочерям.

Наблюдался расцвет изучения сюжетов, считавшихся ранее периферийными, при угасании интереса к работе над традиционными темами и понятиями. Это облегчало выстраивание индивидуальных научных карьер, позволяло создавать новые кафедры и научные центры, но приводило к тому, что базовым проблемам социальной истории внимания уделялось все меньше. Подобные центробежные процессы наблюдались везде, но в нашей стране они приняли стремительный и порой карикатурный характер. Стало очевидным, что фрагментация исследовательского поля была оборотной стороной распада профессионального сообщества.

Но все же можно надеяться, что дочери сами возвратят опрометчивому старику Лиру часть имущества. Ведь по правилам игры все участники по-прежнему уверены в существовании некоего центра, понимаемого как оплот традиционализма. Иначе на чем основывать собственную оригинальность? Центробежные силы предполагают наличие центра не в меньшей степени, чем силы центростремительные. В случае с медиевистами таким подразумеваемым центром является понятие феодализма в его социально-экономической интерпретации. И каково же удивление медиевистов в XXI веке, когда выяснилось, что этим понятием уже никто не занимается, там зияет пустота!^b

Становится ясно, что без постоянного обновления и постоянной работы над фундаментальными понятиями социальной истории не вырабатываются новые конвенции по их поводу, а без таких конвенций история перестает функционировать как наука, утрачивает свои функции: сначала критическую, а затем и экспертную. Из научной дисциплины она превращается в нечто другое, в объект «политики истории» или «исторической политики», осуществляемой отнюдь не историками.

Нетрудно предугадать начало усиления «центростремительных сил», и некоторые признаки позволяют сделать вывод, что этот процесс начался. По крайней мере, таковы общественные

ожидания, демонстрируемые по отношению к истории. От историков по-прежнему ждут ответа на вопросы о природе государства и сущности процессов политогенеза, экспертных заключений о причинах важнейших исторических событий, ждут написания масштабных исторических полотен. И все чаще исследователи (пока еще на индивидуальном уровне) возвращаются к пониманию необходимости работать над сюжетами, традиционно считавшимися базовыми для социальной истории.

Подобный процесс¹ является не откатом назад, но скорее возвращением долгов. Все то новое, что было создано в истории за несколько последних десятилетий, должно найти свое применение в работе над классической проблематикой социальной истории. Старые постулаты о «классах», «сословиях», «социальных структурах» и «социальных иерархиях» потому и оказываются неоперациональными, что они долгое время не пересматривались. Выясняется, что для занятия социальной историей описать общество в простых категориях и однозначных терминах попросту невозможно.

Приведем один пример, часто цитируемый медиевистами. В 1198 году жителям деревни Фильине в Тоскане пришлось признать над собой власть города Флоренции и согласиться на уплату налога. Согласно достигнутой договоренности между представителями деревни и городскими властями, от налога, который платили простолюдины-*pedites*, должны были быть освобождены проживающие в Фильине рыцари и *masnaderii* (так называли вооруженных холопов). Как несвободные, *masnaderii* не отвечали за себя в полной мере и в данном случае не подлежали обложению. Делегация Фильине, отправившаяся во Флоренцию, состояла из шести рыцарей и шести *pedites*, один из которых был старостой-подестой. Когда же пришла пора заплатить подать, то выяснилось, что сделать этого некому. В Фильине нашлось 13 рыцарей, 148 *masnaderii* и только пять *pedites*. Эти пятеро были те самые люди, кто вместе с подестой подписал от имени коммуны договор с Флоренцией. Они уже назывались *pedites* и взять своих слов назад не могли. Все остальные жители деревни, не претендовавшие на то, чтобы называться рыцарями, поголовно записались в *masnaderii*².

¹ Его можно охарактеризовать как *conglomeratio centri*, неизменно сопровождающего обратный центробежный процесс — *exglomeratio centri*, согласно терминологии Николая Кузанского, актуализированной Л.П. Карсавиным.

² Дубровский И.В. Феодализм в представлении современных медиевистов // Всемирная история: В 6 т. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока. М., 2012. С. 19.

Можно ли назвать это казусом? Вполне, если помнить, что казус — это исключительный случай, позволяющий выявить те стороны повседневной жизни, которые обычно скрыты от стороннего наблюдателя именно в силу своей обыденности. На самом деле такое случалось повсеместно и постоянно. Любой практикующий историк (и я в том числе) сможет привести немало подобных примеров для своего периода. Это не значит, что социальные обозначения были чем-то несущественным. Но они не были установлены раз и навсегда для всех случаев жизни. Их использование во многом было ситуативным; но историк часто не может учесть все интересы людей, предпочитавших фигурировать в источнике именно так, а не иначе. Человек жил, следуя обычаю, не задумываясь о своей социальной идентификации, но, столкнувшись с необходимостью обозначить себя (в суде, в конторе нотариуса, перед лицом сборщика налогов, заказывая себе надгробную плиту), выбирал форму, наиболее подходящую моменту.

Можно ли, поняв, что все было столь нестабильно, изучать социальные группы? Конечно и можно, и нужно. Но делать это с учетом как достижений «прагматического поворота», так и знания работ, посвященных когнитивной стороне исторического исследования. При этом становится все более явной роль социальной истории как единственно возможной точки пересечения всех новых направлений^с. Гендерная история, дискурсивный анализ и, предположим, имагология могут вновь сойтись между собой в одних дисциплинарных рамках, лишь предъявив свой вклад в поиск ответа на все тот же неизбывный вопрос: «Как возможно общество?»

Обновление социальной истории обусловлено не только обогащением ее понятийного аппарата, но и введением в научный оборот принципиально новых источников, а также существенным изменением круга вопросов, задаваемых давно известным документам. Новые методы работы с источниками позволяют не просто расширить, но порой и радикально изменить наше представление о возможностях того или иного типа исторического материала. Так, например, ревизские сказки и кадастры могут информировать об аксиологии изучаемой эпохи, а литургические памятники и агиография содержать немаловажные сведения о социальной стратификации. Новые подходы к процессам визуализации и к механизмам функционирования исторической памяти открывают новые горизонты в работе с источниками.

Функция социальной истории как центра исторического знания позволяет выстроить сценарий диалога с другими научными дисциплинами. В первую очередь — с социологией (какие бы трансформации ни переживала эта наука). Также — с лингвистикой, психологией, экономикой, юриспруденцией, медициной, микробиологией, палеоботаникой, палеозоологией, климатологией, не говоря уже о таких традиционных партнерах истории, как география, демография, филология, и, конечно, дисциплинах, родственных истории (археология, специальные исторические дисциплины, книговедение и др.).

Процесс обновления социальной истории представляется необходимым и в какой-то мере неизбежным, однако его успех не гарантирован автоматически. У основателей новых направлений, отпочковавшихся от классической социальной истории, имелся хороший опыт исследовательской работы в рамках именно этой истории. Но если центробежные процессы были в значительной степени делом естественным, то для запуска процессов центростремительных уповать на естественный ход событий не приходится. Историк, имеющий опыт архивной работы, изучавший, например, земельные распоряжки в русской общине, просопографию детей боярских по десятням рязанского уезда или организацию муниципального управления в Лондоне XIV века, может переключиться и на изучение гендерных проблем, на исследование дискурсивных практик или на семантический анализ языка историков. Встречное движение маловероятно: специалист по исторической когнитивистике, скорее всего, не только сам не станет квалифицированным историком-аграрником, но и не сможет (да, наверное, и не захочет) готовить таких специалистов. В этом видится основная угроза выживанию профессионального сообщества. По всей видимости, задачу подготовки нового поколения столь необходимых профессиональных историков могут решить только преподаватели, обладающие личным исследовательским опытом (желательно — успешным), при этом зарекомендовавшие себя в плане продуктивного применения новых методов исторического исследования (а не только декларирования своей приверженности таким методам). Найти таких людей непросто, но все же можно, было бы желание. Иначе трудно будет удержать сообщество историков от распада, а дисциплинарное поле истории от неминуемого захвата какими-нибудь ушлыми соседями.

Комментарий

Текст был опубликован в сборнике: В поисках истины: Сборник к юбилею академика А.О. Чубарьяна. М.: ИВИ РАН, 2013. С. 350—358. Я говорил на эту же тему в ноябре 2011 года на семинаре ИГИТИ им. А.В. Полетаева «Скучная история: conglomeratio centri»; с записью выступления и с его обсуждением можно ознакомиться на сайте ИГИТИ http://igiti.hse.ru/Meetings/Conferences/Uvarov2011_video.

Конечно, это не столько статья, сколько тезисы. Или даже что-то вроде декларации. Непосредственным поводом стало предложение декана факультета истории НИУ ВШЭ (Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики) А.Б. Каменского открыть магистратуру по социальной истории. Это было несколько неожиданно: новая структура — факультет истории — не без основания воспринималась как инновационный проект, призванный обеспечить качественно новое образование, в значительной мере приближенное к западным образцам. И вдруг — подчеркнуто традиционная проблематика, обреченная на некоторое отторжение студентов, отдающих предпочтение истории культуры.

Надо было срочно подобрать аргументы для «вышкинского» начальства, объясняющие, почему изучение социальной истории будет востребовано в скором будущем. Но сперва надо было это сформулировать для себя.

Сомнения оставались и остаются: не выдал ли я желаемое за действительное, насколько сбывается мой прогноз? Но вот подзаголовок свежего номера «Анналов»: «Statuts sociaux» — «Социальные статусы». Весь четвертый номер (октябрь—декабрь 2013 года) посвящен темам социальной стратификации и социальной идентичности. Если допустить, что «Анналы» сохранили былую славу законодателя мод, то перспективы возрождения обновленной социальной истории выглядят вполне реальными.

^a В устном выступлении я сравнивал ситуацию в исторической науке, и в частности — в медиевистике, с бубликом, у которого все самое вкусное по краям, а в центре — дырка. Но в сборнике, посвященном директору нашего института, эта метафора мне показалась недопустимой вольностью.

^b В «Истории историка» (2004) А.Я. Гуревич, возвращаясь к памяtnому для него обсуждению его учебного пособия в 1970 году, приводит высказывание Е.В. Гутновой: «Для нашей историографии всегда был характерен акцент на экономических, поземельных отношениях». «Боюсь, что и до сих пор характерен...» — иронизирует Арон Яковлевич. Увы, это была ошибка, причем весьма характерная, — в «нулевых годах» экономической историей не занимался уже никто из российских медиевистов, и почти никто — историей социально-экономической. Воевать стало теперь не с кем.

° Более того, опыт работы над «Всемирной историей» показал, что без социальной проблематики материал по истории той или иной страны или региона распадается на изолированные рассказы о династических переворотках, сражениях, шедеврах культуры.

ВОТ И ВСЕ

Когда возник план создания этой книги (лето 2013 года), мы жили по большому счету в ту эпоху, в которую и были написаны представленные тексты. Поэтому рассуждения об историках и их профессии казались мне актуальными. По разным причинам работа растянулась на более длительный срок, и сегодня (весна 2014 года) выяснилось, что прежняя эпоха закончилась, а жизнь историков той поры воспринимается сегодня неспешной и почти благодатной.

Грянула реформа РАН, введя исследовательские институты в зону турбулентности с неясными перспективами. Факультеты истории превращают в институты, в ходе министерского мониторинга университетов началась ожесточенная борьба за часы, ставки и распределение бюджетных мест. «Фабрики диссертаций» либо прикрыты, либо снизили свою активность; но зато началась непредсказуемая по своим последствиям «оптимизация сети диссертационных советов». И университетские, и академические историки окунулись в борьбу за библиометрические показатели, по которым теперь оценивается их работа. Правило Р. Мертон *publish or perish* было нам в общих чертах знакомо и раньше, но вот новая его формулировка: «Публикуйся в журналах, индексируемых в *Web of science*, или гибли» — повергла многих в смятение. Даже сами представители компании *Thomson Reuters* были несказанно удивлены тем, что их индекс цитирования распространяют у нас на гуманитариев, коль скоро их платформа для этого решительно не была приспособлена. О прихотливой судьбе прочих индексов научного цитирования и о том, как приспособливаются выживать в новых условиях, можно рассказывать часами. В целом же передовая наукометрия выполняет функцию «визатора», так, по терминологии фильма «Кин-дза-дза», называли коробочку, оборудованную световым индикатором и определявшую, кто является чатланином, а кто пацаком. Действовала она на планете Плюк примерно с той же степенью непредсказуемости, как и существующие импакт-факторы.

Но самое главное, конечно, не в этом — перемена политического градуса в нашем обществе начала наконец давать плоды на

ниве исторической политики. Взошел, но быстро исчез первоцвет «Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам в фальсификации истории в ущерб интересам России», из чего названия следовало, что исторические фальсификации иного толка могут лишь приветствоваться. Затем начались страсти по «Единому учебнику истории». Проекты новых законов об уголовной ответственности за те или иные суждения в области истории будоражат воображение депутатов с Охотного ряда, любящих при этом ссылаться на европейские прецеденты. Созданы (вернее, воссозданы) Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество, подкрепленные почти августейшим покровительством. Параллельно в муках рождается Вольное историческое общество, своим названием намекающее на подневольный статус прочих исторических обществ.

Если же говорить о моей научной биографии — второй и третий тома «Всемирной истории» были опубликованы и тут же пиратским образом вывешены в интернете, что может служить показателем определенной востребованности. Журнал «Средние века. Исследования и материалы по истории Средневековья и раннего Нового времени» благополучно попал в первый список ВАК и даже обладает по нашим временам неплохим импакт-фактором по версии Российского индекса научного цитирования. В качестве альтернативной модели исторического образования был создан факультет истории Высшей школы экономики, с которым меня пригласили сотрудничать. Как исследователя, интересующегося историей университетов, меня заинтриговала возможность воочию наблюдать «борьбу хорошего с лучшим» — стремления следовать американским моделям, сталкивающегося с силой воздействия отечественных образовательных моделей. Результаты пока неизвестны, но позиция «встроенного наблюдения» оказалась достаточно выгодной. По-своему ценный опыт дает мой статус председателя экспертного совета ВАК по истории (с марта 2013-го), а также участие в некоторых других комиссиях. Теперь многое видится иначе, чем тогда, когда я писал тексты, включенные в данную книгу. Задуманные во многом если не как инвектива, то уж точно не как апология, они неожиданно обретают теперь налет ностальгии. Это значит, что сообщество историков вступило в иной период, где правила игры — другие.

Но историки по-прежнему делятся на «лис» и «ежей».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абеляр П. 110—111
Аверинцев С. 138, 158
Аверченко А. 150
Адо А. 156
Александр I 258
Альфан Л. 42—43
Амбелен Р. 124, 126
Анкр де (Кончино Кончини), маршал 123
Арнольд Брешианский 110
Арон Р. 49
Артог Ф. 52, 56
Арьес Ф. 42, 46, 254
Асахара С. 20
Афанасьев Ю. 100, 249—250, 251—252, 253
Ахеджакова Л. 31
- Бабёф Г. 247
Бабинцев В. 254
Барнави Э. 171
Барт М. 65, 86, 90, 99
Баткин Л. 30, 80, 97, 105, 138, 159
Бахтин М. 97, 138, 155, 163, 226
Бедарида Ф. 56
Бенешевич В. 150
Бер А. 38
Бергсон А. 14, 24
Берлин И. 242
Берман Д. 71
Бессмертный Ю. 31, 65, 99, 105, 107, 112, 137—138, 142, 158—159, 170, 181, 250—252
Бессмертная О. 107, 137, 253
Бестужев-Лада В. 203
Бицилли П. 14, 97, 153
Блок М. 13, 38, 41—43, 46, 58, 61, 81, 86, 88, 115, 165, 180, 212, 248, 251, 253—254
Блондель Ш. 41
- Бобкова М. 216
Бовыкин Д. 202
Бойцов М. 18—19, 30, 202, 228
Болтански Л. 166
Болховитинов Н. 156
Бонаси П. 66
Бонгард-Левин Г. 201
Боссюэ Ж. 173
Брежнев Л. 111
Бродель Ф. 43, 45, 47, 49, 51, 59, 72, 116, 124—125, 180, 225, 247—248, 251—252
Бруно Д. 18
Бузескул В. 149
Бурдьё П. 166, 186, 203
Бушрон П. 216
Бюргер А. 46
- Валерии П. 41
Варбург А. 81, 86
Варьяш А. 77
Варьяш О. 62—67, 69—78
Васильев Г. 141
Васильевский В. 150
Вебер М. 13, 91, 136
Вейн П. 49
Вернадский В. 25
Виллар П. 66
Виноградов П. 88, 151—152, 244
Виппер Р. 153
Витаутас Великий 18
Владимир Святой 219
Вовель М. 180
Вычански А. 112, 159
- Габриадзе Р. 11, 31
Габсбурги 21
Гайдар Е. 231
Гакзот П. 42
Гарроди Р. 136, 145

- Гаспаров М. 107, 138
Гегель Г.В.Ф. 35, 61, 135, 249
Геллнер Э. 186
Генрих II 191, 203
Генрих IV 114, 124—125, 255
Георг V 152
Георге С. 19
Геремек Б. 112, 159
Геродот 30, 173, 202, 230
Герро А. 112, 159, 213
Гизо Ф. 34, 220, 261
Гинзбург К. 12, 263
Гоголь Н. 10, 27—28
Голль де Ш. 124
Голубцова Е. 201
Горький М. (Пешков А.) 26—27, 78
Грамши А. 130, 250
Грацианский 84
Грацианский Н. 65, 83
Гревс И. 151, 153
Грибоедов А. 113
Григорий Нисский 21—22, 23
Григорий Турский 33
Грин Д.Р. 145
Гринберг М. 61
Грушевский М. 220
Гумилев Л. 107, 130, 138, 160, 256—257
Гурвич Ж. 43
Гуревич А. 65, 75, 80—81, 84, 86, 88—112, 130, 138, 142, 144, 158—159, 163, 170, 179, 181, 202, 205, 216, 224, 227, 232, 250—252, 263, 268
Гутнова Е. 68, 78, 80, 92, 99, 104, 170, 268

Даймонд Д. 185, 235
Далин В. 156, 247—248, 249, 251
Данилевский И. 216
Данилов А. 93, 99—100, 101, 103—104, 105, 252
Девятайкина Н. 78
Деко А. 48
Делюмо Ж. 228
Десимон Р. 171
Дильтей В. 14—15
Добиаш-Рождественский О. 151
Добролюбов Н. 130
Довлатов С. 162
Доплер 212
Досс Ф. 47, 227, 250
Достоевский Ф. 25, 27, 242
Дрейфус А. 172
Дубровский И. 164, 217, 265
Дыго М. 164
Дымов О. 150
Дэвис Н.З. 86, 96, 186
Дюби Ж. 39, 47, 107, 179, 227, 254
Дюбур А. 255
Дюма А. 113
Дюркгейм А. 38, 219
Жанна д'Арк 39, 52—53, 113
Желтова В. 262

Закс В. 141
Збарский И. 25
Зиммель Г. 14, 263
Зингер-Полиньяк 243, 259

Ибн Хальдун 240—241
Иван Грозный 81, 192
Иванов Вяч. 19
Иванова М. 255
Иванова Н. 262
Иващенко А. 141
Иволина Л. 202
Иннокентий IV 189

Каганович Б. 77, 151
Каждан А. 111, 142, 158, 250
Казбекова Е. 189
Каменский А. 164, 262, 268
Кант И. 135
Канторович Э. 13, 19, 31, 86
Карамзин Н. 261
Карден П. 33

- Кареев Н. 244
 Карл Великий 199
 Карпов А. 172
 Карпов С. 183, 201, 217
 Карпюк С. 210, 217
 Карсавин Л. 12—24, 26, 29—30, 38,
 97, 153, 161, 265
 Каспаров Г. 172
 Каштанов С. 217
 Кеневич Я. 163
 Кине Э. 34
 Кисель М. 16
 Клименков В. 234, 257
 Кобрин В. 142
 Кобрин К. 128, 134, 138—139, 140,
 142, 144
 Ковалевский М. 244
 Коган-Бернштейн Ф. 89, 110
 Козандей Д. 236
 Козеллек Р. 134
 Козлов С. 109
 Коллингвуд Р. Д. 16, 38
 Кольбер Ж.-Б. 190
 Кондратьев Н. 138, 155
 Кондратьев С. 131
 Кондратьева Т. 131
 Кондырева И. 124
 Коновалова И. 217
 Конрад Н. 156
 Константин Багрянородный 81
 Конт О. 24, 37
 Копосов Н. 30, 107, 137, 230, 250—
 251, 253
 Корендясов Е. 255
 Кортаев А. 186—187, 234, 257—
 258
 Корсунский А. 65—66, 99, 105
 Косминский Е. 83—84, 86, 88—90,
 110, 155—156, 195, 247
 Котельникова И. 156
 Коэн Э. 75, 79
 Крих С. 109, 111
 Крузе Д. 228
 Кудрявцев О. 217
 Кузанский Н. 18, 24, 265
 Кузен В. 35
 Куланж де Ф. 37
 Кулы В. 112, 159
 Кустодиев Б. 233
 Лабрусс Э. 44—45, 47, 50, 53, 116,
 118—121, 124—125, 221—222,
 247
 Лависс Э. 39—40, 42, 45, 48
 Ладюри Э. Л. Р. 45—47, 107, 121, 223—
 224, 227, 232, 242—260
 Лангуа Ш. В. 37—38, 49, 151
 Лаппо-Данилевский А. 151
 Лаптева Т. 124
 Ле Гофф Ж. Э. 46—47, 61, 72, 93, 95,
 107, 111, 113, 179, 224—225, 230,
 247, 251, 254, 263
 Леви-Стросс К. 43, 45, 128, 186
 Левицкий А. 90
 Ленин В. 64, 233, 253
 Лепти Б. 50
 Лефевр Ж. 41
 Литаврин Г. 217
 Ломоносов М. 141
 Лосев А. 161, 249—250
 Лот Ф. 151
 Лотман Ю. 107, 130, 138
 Лучицкая С. 216, 239
 Лучицкий И. 151, 219—220, 239,
 244
 Люблинская А. 96, 126, 156, 158, 171,
 202, 245, 251
 Людовик IX (Людовик Святой) 39,
 228
 Людовик XI 255
 Людовик XIII 114, 116
 Мабийон Ж. 61
 Мазарини Д., кардинал 202
 Макиавелли Н. 189
 Макин А. 28—29, 31
 Малков А. 234
 Малов В. 190, 245—246, 251

- Мальгус Т. 249
Мальчина В. 56
Мамильяно А. 157
Мандру Р. 97, 157
Мансар Ф. 126
Манфред А. 156, 246
Мариино М. 248
Мария-Антуанетта 220
Маркс К. 23, 64, 91, 100, 110, 119,
139, 145, 249, 253
Марсель Э. 39
Маршалл Д. К. 43
Маяковский В. 25
Медведев И. 150
Медици 31
Медици Екатерина 220
Мельникова Е. 217
Мертон Р. 270
Микеланджело Б. 32
Мильская Л. 66, 80, 92, 105
Минин К. 144
Миронов Б. 184, 232—233, 240,
258—259
Миттеран Ф. 59
Мишле Ж. 32, 34, 37, 47, 254
Можейко И. (Кир Булычев) 189
Моно Г. 40
Мопассан де Г. 36
Морасс Ш. 40
Мос М. 94, 96
Мосина З. 83
Московичи С. 242
Мохаммед, пророк 235
Мунье Р. 113—127, 145, 157, 171—
172, 183, 193, 222, 239, 247
Мэтланд Ф. 81, 88—89
Мюллер-Мертенс Е. 159
- Назаров Д. 147
Неверова М. 124
Некрич А. 101, 111
Неусыхин А. 81, 86, 87—88, 90—93,
96, 99, 101, 103, 105, 110, 136
Нефедов С. 233, 258, 259
- Нечкина М. 136
Ницше Ф. 242
Новик Е. 112
Нора П. 47, 51—54, 60
Нуарьель Ж. 60, 208
- Олейник Б. 231, 240
Оливье-Мартен Ф. 114
Олланд Ф. 60
Ольденбург С. 151—152
Ор де О.Л. 150
Оттокар Н. 152—153, 164
Ощепкова М. 216
- Павел, апостол 23
Павлов В. 255
Памук О. 163
Парсонс Т. 117
Пастернак Б. 25
Пашуто В. 217
Петен А.-Ф. 48
Петр, святой 226
Петров А. 202
Петрова Н. 77
Петрушевский Д. 151, 153, 244
Пешков (см. Горький М.)
Писарев Д. 130
Пискорский А. 66
Платонов А. 25
Плутарх 230
Пожарский Д., князь 144
Покровский М. 152, 164
Полетаев А. 163, 268
Помпиду Ж. 126
Попова Г. 76
Поппер К. 134, 143, 146
Поршнев Б. 64, 85, 91, 97, 112, 117—
118, 133, 139, 156—159, 171, 202,
206, 245
Постан М. 142, 145
Про А. 42, 167, 212—213
Прокопий Кесарийский 90
Пропп М. 155
Пруссаков Д. 234, 257

- Пруст М. 29, 52
 Путин В. 203
 Пушкин А. 126, 242, 255
 Рабле Ф. 255
 Равальяк Ф. 123
 Райцес В. 65
 Рамбо А. 39
 Ранке фон Л. 35, 61, 135, 177
 Ревель Ж. 50
 Релкер Н. 226
 Ренан Э. 24
 Репина Л. 167, 202, 216—217
 Рикёр П. 49, 254
 Рише Д. 127, 171—172
 Ришелье А.Ж. дю Плесси 115, 156
 Розанова М. 182
 Розовский М. 102
 Рокфеллер 43
 Романов Б. 64, 77, 85
 Ростовцев М. 152
 Рош Д. 248
 Рублев Андрей 138, 158
 Руссо Ж.-Ж. 146
 Рутенбург В. 92
 Рыбаков В. 217
 Рыжковский В. 109
 Савельева И. 153
 Савин А. 151
 Саид Э. 142
 Салтыков-Щедрин Н. 78
 Самсонович Г. 112, 159
 Саркози Н. 59—60
 Сартр Ж.-П. 145
 Сванидзе А. 72—73, 79, 195
 Свешников А. 30
 Семенова С. 25—26
 Сен-Симон А.К. 190, 256
 Сенцов Я. 254
 Сеньобос Э. 15, 37—38, 41—44, 49,
 172—173, 219
 Сидорова Н. 92—93, 110—111,
 194—195
 Симиан Ф. 38, 41, 44, 172—173, 219
 Синявский А. (Абрам Терц) 28
 Сказкин С. 83—84, 104, 110, 112,
 158—159, 171, 202
 Слихер ван Бат Б.Х. 248
 Смирнов С. 199
 Соколова М. 90, 247, 249—250
 Соловьев В. 25
 Соловьев С. 220
 Сорокин П. 117
 Сорос Д. 143, 146, 254
 Сперанский Н. 191
 Спифам Р. 189—191, 203—204
 Сталин И. 67, 110, 154
 Стеблин-Каменский М. 90
 Степанов Б. 30
 Стам С. 78, 216
 Струве П. 152
 Стругацкие, братья 111
 Суворов Н. 191, 204
 Суприянович А. 217
 Сурков В. 147
 Сусанин И. 174—175
 Тарковский А. 158
 Тацит 89
 Тевено Л. 166
 Тереса, святая 76
 Терц Абрам (см. Синявский А.)
 Тойнби А. 156
 Токмаков В. 77
 Толстая Т. 31—32
 Толстой Л. 25, 27
 Торндайк Л. 86
 Тункина И. 149
 Тураев Б. 151
 Турчин С. 234
 Тьерр А. 34
 Тьерр О. 34
 Тьерри А. 34, 37
 Тэрнер С. 150
 Тэффи Н. (Лохвицкая) 150
 Удальцов А. 83

- Удальцова З. 93, 106
Ульянов Д. 74
Успенский 138
Успенский Ф. 150
Уэйльс Д. 9
- Февр Л. 41—42, 43, 61, 115, 212, 248, 251, 261
Федотов Г. 153
Ферро М. 46
Филипп II 43, 192
Флакк Ж. 104
Флоренский П. 250
Фоменко А. 57
Франс А. 38, 160
Фридрих II 13
Фромм Э. 145
Фукидид 261
Фуко М. 49, 68, 74—75, 135, 254
Фурье Ж. 224
Фюре Ф. 246—247, 248
- Халтурина Д. 234
Хальбакс М. 41, 51
Хамитов Р. 202
Хаммурапи 129
Хандельсман М. 164
Харальд Прекрасноволосый 94
Харитонович Д. 80, 216, 255
Хачатурян В. 217
Хвостова К. 217
Херманн Й. 159
Хоментовская А. 86
Хрущев Н. 245
Хут Л. 165—201
- Цезарь 89
Циолковский К. 25
- Чаянов А. 138, 142, 145, 155
Черкасов П. 141
Черных А. 78, 216
Черняк Е. 124
Чижевский А. 25
- Чингисхан 81
Чистозвонов А. 69, 78, 103, 105, 170, 195, 205, 252
Чубарьян А. 196, 252, 268
Чудинов А. 246
- Шарден де Т. 23—24, 29
Шартье Р. 50
Шекспир У. 242
Шишкин В. 125—126, 191
Шлоссер В. 145
Шнирельман В. 143, 146, 174, 202
Шнитке А. 158
Шовен Н. 52
Шоню П. 180
Штаерман Е. 99
- Щорс Н. 130
- Эко У. 81
Эксле О. 13
Эмар М. 249
Энгельс Ф. 87, 249, 253
Эпернон де Ж.Л. де Валет, герцог 213
- Юлихер А. 150
Юсим М. 217
- Ягодкин В. 102
Якобсон Р. 138
Ястребицкая А. 12, 30, 250

Содержание

Попытка объяснения	7
Апокатастасис, или Основной инстинкт историка	10
История, историки и историческая память во Франции	33
Пунктир ненаписанной книги.....	62
А.Я. Гуревич и советская медиевистика. Портрет на фоне корпорации	80
Ролан Мунье — историк с репутацией консерватора.....	113
Свобода у историков пока есть. Во всяком случае — есть от чего бежать. Ответы на вопросы К. Кобрин.....	128
Вот тут все и кончилось... или Фракталы российской историографии.....	148
Интервью Л.Р. Хут с П.Ю. Уваровым.....	165
«Мы теряем его!»	205
Реванш социальной истории	219
Между «ежами» и «лисами»: восприятие творчества Ле Руа Ладюри в СССР и в России	242
Фундаменталистские заметки о социальной истории.....	261
Вот и все.....	270
Указатель имен.....	272

Уваров Павел Юрьевич
МЕЖДУ «ЕЖАМИ» И «ЛИСАМИ»
ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИКАХ

Дизайнер *С. Тихонов*
Редактор *Е. Осмолова*
Корректор *Т. Озерская*
Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала
«Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва
а/я 55
Тел./факс: (495)229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 17,5. Тираж 1500. Зак. №
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
“Ульяновский Дом печати”»
432980, г.Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ИЗДАТЕЛЬСТВО



Новое Литературное Обозрение

Интернет-магазин www.nlobooks.ru

Возможность купить книги НЛО по ценам издательства,
которые значительно ниже цен в книжных магазинах

Доставка в любой регион России

Специальные сервисы для покупателей интернет-магазина:

Раздел «Раритеты»

Возможность оформить заказ на редкие книги
нашего издательства, тираж которых почти распродан.

Раздел «Print on demand»

Возможность купить книги «НЛО», которые уже давно
стали библиографической редкостью.

Мы специально издадим эти книги для Вас
по уникальной технологии «Print on Demand»,
которая позволяет напечатать любую книгу тиражом
всего в 1 экземпляр.

Раздел «Специальные предложения»

Возможность купить отдельные книги издательства
со значительными скидками